

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

*Дорогому Александру Марковичу -
устаами младенца, говорит истину,
устаами взрослых - "тысяч низких"*

ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА

ИСТИНА И ИСТИННОСТЬ В КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКЕ

*истинный
свободный
"независимый"
редакторам
наблюдая Ваи
их мнение
в культурной
модельности
Н.А. и Н.Р*

Ответственные редакторы:

член-корреспондент РАН Н.Д. АРУТЮНОВА
кандидат филологических наук Н.К. РЯБЦЕВА

Из книг
А.М. Шахнаровича



МОСКВА "НАУКА"
1995

**Книга подготовлена к печати и публикуется при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований,
инициативный проект 93-06-10941: "Логический анализ языка"**

Редакционная коллегия:

член-корреспондент РАН **Н.Д. АРУТЮНОВА**
доктор философских наук **В.В. ПЕТРОВ**
кандидат филологических наук **Н.К. РЯБЦЕВА**
академик **Ю.С. СТЕПАНОВ**

Рецензенты:

доктор филологических наук **В.З. ДЕМЬЯНКОВ**
кандидат филологических наук **В.А. ПЛУНГЯН**

Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке
Л 69 кс. – М.: Наука, 1995. – 202 с.
ISBN 5-02-011254-2

В книге освещены проблемы, связанные с концептом истины и с истинностной оценкой в языке, логических, философских, религиозных и художественных системах, в народной культуре и афористике. Понятие истины рассматривается в контексте смежных с ним категорий этики, права, суда и справедливости, знания и веры. Большое внимание уделено полю не-истины.

Для языковедов, филологов, философов, логиков, культурологов.

Л 4602000000-044
042(02)-95 186-95, I полугодие

ББК 81

ISBN 5-02-011254-2

© Коллектив авторов, 1995
© Российская академия наук, 1995

ОТ РЕДАКТОРА

В предлагаемом вниманию читателей сборнике публикуются материалы конференции "Истина и истинность", состоявшейся в Институте языкознания РАН в мае 1994 г.

Концепт истины фундаментален для всех сфер знания, и вместе с тем он лежит в основании веры. Он присутствует в обыденном сознании людей и закреплён во всех языках в слове или ряде слов, вокруг которых группируется лексикон, которым истина "говорит" в повседневной речи и в художественных текстах, в Священном Писании и в языке науки. Концепт истины является объектом двух наук (точнее, метанаук) – философии и логики. Тема истины, таким образом, проходит сквозной нитью через сознание и знание человека, через его язык, веру, восприятие и интуицию.

Истина и Бог – центральные понятия веры. Между тем вопрос о существовании истины не ставится: оно не требует доказательств. Пилат не спрашивал у Христа, существует ли истина. Он спросил: "Что есть истина?" Истина презумптивна. Напротив, вопрос о существовании Бога встаёт. Он важен и для философов, и для простых смертных. Вопрос о вере тождествен вопросу о бытии Божиим. Верить в Бога – значит прежде всего верить в то, что Бог есть. Вера не предполагает никаких доказательств. Однако доказательство бытия Божия постоянно занимает умы философов и теологов.

В известном разговоре Ивана и Алеши Карамазовых Иван говорит: "Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? (...) о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие?" И Алеша вторит брату: "Да, настоящим русским вопросы о том, есть ли Бог и есть ли бессмертие... конечно, первые вопросы" (Достоевский). Обсуждая вопрос о существовании Бога, Иван не высказывает никаких сомнений в существовании истины.

Оказывается, таким образом, что, хотя Бог неотделим от истины и даже ее объемлет, отрицание бытия Бога не имеет своим следствием отрицание существования истины.

Тезис о непреложности существования истины составляет основную предпосылку развития научного знания. Без нее не может быть логики. Однако анализу самого концепта истины она наносит урон. Априорно принятое положение о существовании истины вывело из рассмотрения вопрос о концептуальном фоне истины – о тех условиях, без которых понятие истины не может быть сформировано. Остался, в частности, вне

рассмотрения вопрос о природе познающего субъекта и его сознания, вводимых обычно в дефиницию истины¹.

Презумптивный статус истины не свидетельствует ни о первичности (абсолютности), ни об универсальности этого понятия. Он не снимает вопроса о предпосылках существования истины. Возможна ли истина в мире, в котором не существует человек, или она родилась лишь на шестой день творения? Распространяется ли понятие истины на "чистое" (неконцептуализированное) и не дающее сбоев восприятие? Или понятие истины могло появиться только после того, как Адам и Ева вкусили плодов от древа познания: "И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья и сделали себе опоясания" (Быт. 3, 7). Первая истина тем самым состояла не в ощущении, а именно в осознании человеком своей наготы и стала стимулом к действию. Но связано ли осознание с языком? Можно ли говорить об истине в мире существ, не владеющих знаковыми системами? Иначе говоря, является ли связь с коммуникацией органичной для понятия истины? Напомним слова Бл. Августина: "Истина скрыта в глубине души. Она не нуждается в органе языка, в самом языке, еврейском, греческом, и во всяком ином варварском. Она живет в мышлении моем" [1, 304].

Может быть, самым важным для выяснения концептуальных истоков истины является вопрос о той оппозиции, которая лежит в ее основе. Родилась ли истина из противопоставления земной реальности другому миру, данному человеку в откровении? Идет ли речь об оппозиции сущности (идеи) и явления? Или истина предполагает оппозицию лжи (ложному высказыванию)? Этим противопоставлениям соответствуют разные концепты истины. Есть ли у них общие черты? Их объединяют по крайней мере четыре признака: вечность, неизменность, единственность и принадлежность к идеальному миру. Истиной не может быть непрерывно изменяющаяся во времени реальность. Проблема оппозиций истины имеет еще один аспект. Исключает ли истина (ведь она единственна) своего контрагента? Означает ли признание за истину одного из членов оппозиции элиминацию другого? Для разных контрагентов истины этот вопрос решается по-разному.

Если истиной признается некий "другой мир" или Бог (таков религиозный концепт истины), то существование тварного мира (контрагента истины) предполагается. При его отсутствии понятие истины теряет свой смысл. До сотворения мира существовало Царство Божие. Само по себе духовное начало вне его отнесенности к земной (или иной) реальности не порождает понятия истины. Бытие Бога является необходимым, но не достаточным условием существования истины в религиозном ее понимании.

¹ См. определение ИСТИНЫ в "Философском энциклопедическом словаре" (М., 1983): "ИСТИНА, адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизведение его таким, каким он существует сам по себе, вне и независимо от человека и его сознания, объективное содержание чувств[енного], эмпирич[еского] опыта, понятий, идей, суждений, теорий, учений и целостной картины мира в диалектике ее развития" [2, 226]. В этом определении многое вызывает недоумение, в частности принципиальная нетождественность "познающего субъекта" и "человека и его сознания".

То же касается и философского понимания истины как ноумена, который необходимо противостоит феномену, логически с ним связан и не может его элиминировать. Иначе обстоит дело, когда речь идет о логической истине, противочленом которой выступает ложь (ложное высказывание). В этом случае члены оппозиции принадлежат одному плану – миру суждений. Выбор истинного суждения исключает альтернативы. Все ложное должно быть отброшено. Функция истины состоит в том, чтобы свести множественность к единичности.

Истина единственна, но она возможна только при условии, если мир двойствен, т.е. распадается на мир реальный и мир идеальный. Последний отражает (или моделирует) реальный мир и в этом смысле вторичен. В то же время он предопределяет реальный мир и в этом смысле первичен. В первом случае множественность сводится к единому образу, во втором – единый образ порождает множественность форм (воплощений). В креативном смысле верно второе утверждение, в познавательном – первое. В первом случае воля Божия и данный Богом человеку Закон составляют Истину и возвышаются над миром. Во втором случае Истина скрыта в глубине мира. В первом случае она открывается человеку, во втором – ее открывает человек.

Из сказанного выше следует, что первые два противопоставления – оппозиция материи и духа и противопоставление феномена и ноумена – могут быть отнесены к необходимым условиям формирования понятия истины в религиозном и философском понимании. Противопоставление же истины и лжи имеет прагматические основания и обусловлено природой человека как субъекта познания, с одной стороны, и как субъекта речи – с другой. Если бы в качестве субъекта был выбран Всеведущий и верный своему слову Бог, то нужда в понятии (логической) истины, возможно, отпала бы. Истина, таким образом, вызвана к жизни спецификой человека, его сознания, его языка, его мира. Условия ее возникновения в известном смысле прагматичны. Истина – это попытка преодолеть прагматику земного бытия, поставить субъекта познания во внешнюю по отношению к нему позицию, чтобы затем вновь погрузить истину в поток жизни и положить в основу человеческой деятельности.

Истина живет в постоянной борьбе. Она стремится преодолеть несовершенство познания мира человеком и субъективные свойства его восприятия. Ее враг не только прагматика земного бытия, но и прагматика повседневного общения между людьми. Ей столь же необходим, как и враждебен, сам язык, ибо он лукав и неопределен. В нем отложилось лукавство человека. Ему трудно выразить истину. В нем много туманных понятий (*fuzzy concepts*). Но сложна и сама реальность, о которой говорит язык. Она изменяется во времени. Ее грани неисчислимы. Знания человека о ней неполны. В этих условиях язык развивается одновременно в двух противоположных направлениях: одно из них определено стремлением к максимально полному и точному выражению истины, другое – желанием ее утаить, отстранить от себя или прикрыть ее лицо маской правдоподобия.

Язык постоянно ищет баланс между неполнотой информации и необ-

ходимостью вынести о ней истинное суждение. Он избегает категоричности. Естественный язык живет в борьбе с двузначной логикой, расшатывает ее законы, скрывает ясные смыслы, а логика борется против естественного языка и вместе с тем постоянно к нему обращается. Набор естественных языковых средств уклонения от истины очень велик. Дж. Лакофф назвал их обобщенным именем *hedges* – "смягчения" (букв. 'ограждения, страховка') [3]. К их числу, кроме модальных слов, принадлежат многообразные и многочисленные знаки приблизительности: приблизительность градуирования (*более или менее, довольно, в основном, по большей части, преимущественно*), приблизительность обобщения (*вообще, в целом, в общем, вообще-то*), приблизительность способа речи (*строго говоря, грубо говоря, вообще говоря*), приблизительность сравнения (*как если бы, как бы, как будто бы, вроде*), приблизительность, создаваемая знаками неопределенности (*как-то, какой-либо, какой-нибудь, кое-какой, нечто, некогда* и т.п.), приблизительность оценочных и неконкретных значений (ср. такие неполноценные предикаты, как *странный, особенный, необычный* и др.), количественная неопределенность (*около, приблизительно, почти, примерно, предлог с – километра с два будет*) и мн. др.

В заключение мы хотим подчеркнуть следующее. Несмотря на большое число фундаментальных исследований, посвященных истине, остается в тени концептуальный фон этого понятия, те условия, которые сделали возможным его появление. В этом смысле обращение к теме истины может быть начато *ab ovo*. Немалую роль в выполнении этой задачи должен сыграть анализ концептуальных систем, представленных древними и новыми языками.

Н.Д. Арутюнова

ЛИТЕРАТУРА

1. Бл. Августин. Исповедь. М., 1914.
2. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
3. Lakoff G. Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts // *Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics*. Dordrecht; Boston, 1975.

ИСТИНА И ИСТИНЫ

Н.Д. Арутюнова

ИСТИНА И ЭТИКА*

Истина и этика в сознании современного человека составляют отдельные и даже далекие друг от друга понятийные сферы. Истина относится к познанию мира, этика – к человеческому поведению. Между тем язык свидетельствует о взаимодействии этих сфер. Таким свидетельством в русском языке, например, является поле правды, объединяющее истинностную и этическую (деонтическую) оценки, ср.: *говорить (знать) правду* и *судить (поступать) по правде, следовать стезею правды*. Два разных и разнонаправленных отношения – отношение суждения (высказывания, текста) к действительности и отношение действия (поведения) к норме – соединяются в одном концепте – концепте правды и затем расходятся по разным компонентам деривативного гнезда, нарушая его единство. ср.: *правдивый* 'говорящий правду' и *праведный* 'поступающий по правде, соблюдающий нравственный закон'. Общее направление семантической эволюции "правды" шло от закона к истине, от этической оценки к истинностной. Отношение к установлению и отношение к миру обнаруживали в ходе этой эволюции то взаимное тяготение, то взаимное отталкивание. "Правда" – одно из ключевых понятий русской культуры, и оно в высшей степени противоречиво. Сама история его развития часто парадоксальна.

Ниже будут в общих чертах рассмотрены причины и условия взаимодействия истинностной и деонтической оценок, их сближения и размежевания в русском языке.

1

Основное значение концепта истины (мы отвлекаемся пока от выражающих его слов) состоит в устранении множественности. Истина, как и течение жизни, отбрасывает альтернативы, версии и варианты. Она единственна. "Из истины не существует выхода" (А. Платонов). Истиной может быть только одна вера, один закон, одно учение, один образ (прообраз, замысел) мира, один мир – мир духа или плоти, одно будущее, когда оно становится настоящим, наконец, один Бог, единственный для данного народа (наш Бог), а следовательно, истинный Творец и Владыка Вселенной.

Очевидно, однако, что сведение множественности к единственности не может быть осуществлено в тварном мире. Тварный мир состоит из ин-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 93-06-10941 "Логический анализ языка".

дивидных объектов, пребывающих в пространстве, и индивидуальных положений дел, сменяющих друг друга во времени. Сами по себе ни те, ни другие не находятся между собой в отношениях дизъюнкции. Между тем наличие дизъюнктивных отношений составляет необходимое условие формирования понятий истины и истинности.

Образ истины вырисовывается на фоне "другого мира", мира духа, поскольку именно в нем происходит "умножение сущностей", взаимоисключающих друг друга: мнений, учений, суждений и верований может быть сколь угодно много, но *истинно* – адекватно реальности – лишь одно из них. «Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет"; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5, 37).

Единственность истины, таким образом, достигается ценой двойственности мира: мир, доступный чувству, отделяется от мира, пронизываемого верой и разумом. Истина – знак единственности и вместе с тем знак двоения. Земной мир противостоит небесному, реальный – идеальному, временный – вечному, феномен – ноумену, онтология – метафизике, видимое – невидимому, предметный мир – миру идей (прообразов). С.Л. Франк связывал двойственность мира с христианством. «Нельзя, – писал он, – уложить смысл христианского сознания в какую-либо одну отвлеченную формулу; однако можно все же отвлеченно выразить наиболее существенный его признак. Он состоит в том, что христианскому жизнечувствию и жизнелпониманию присуще сознание коренной, "нераздельной и неслиянной", до конца мира и его чаемого последнего преображения неустрашимой двойственности сфер бытия, в которой живет и к которой причастен христианин. В каких бы словах мы ни формулировали эту двойственность – как царство "небесное" и царство "земное", как внутреннюю жизнь с Богом или "во Христе" – и жизнь "в мире", как сферу "церкви" (в основном, мистическом смысле этого понятия) и сферу "мира" или как сферу "благодати" и сферу "закона", – самый факт этой двойственности и его существенный смысл непосредственно понятен и очевиден всякому сознанию, внутренне причастному христианскому откровению» [15, 236].

Реальный мир многолик, текуч и изменчив, но он не способен к "умножению": что было, то было; что есть, то есть; что будет, то будет. "Другой мир", напротив, к этому склонен. Поэтому к нему, и только к нему применима идея выбора единственно истинного, истины.

Истинное выбирается по соответствию действительности, структуру которой определяет принцип конъюнкции (безальтернативности): данность есть данность, в ней совмещено даже несовместное. Концепт истины переносит этот принцип в мир образов, учений, верований, правил (общих суждений), высказываний, текстов.

Итак, истина выполняет свою основную функцию – сведения множественности к единственности – в пространстве идеальных миров, "перенаселенных" взаимоисключающими друг друга сущностями. Этим маркируются варианты и границы концепта истины. Они колеблются от образа (прообраза) к понятию, от истины "художественной", лежащей в основе творения, к истине эпистемической, лежащей в основе познания, от истины логической, лежащей в основе вывода, к истине фактической, ле-

жащей в основе расследования, от истины житейской, лежащей в основе практического решения, к истине деонтической, лежащей в основе нравственного выбора. Горизонт истины охватывает все виды духовной деятельности человека и определяет его жизненные пути. Истина есть одновременно условие и результат выбора.

2

Формирование понятия истины восходит к мифологическому сознанию. В нем видна изначальная связь сущего и порядка (установления, закона), ибо творение вносит гармонию в хаос, превращая его в космос. Соприутствие в понятии истины значений, относящихся к закону и существованию, подтверждается этимологиями индоевропейских слов круга права и истины (см. подробно в статье Т.В. Топоровой в наст. сб.). Закон всегда и то, что есть, и то, что должно быть. Тетическое значение в нем слито с экзистенциальным, алетическая модальность – с деонтической. Этим создается почва для сближения творения мира и законотворчества, а в перспективе – категорий мироздания и категорий нравственности, истины и этики. Исконная связь истины с культом была подчеркнута П.А. Флоренским, обратившим, в частности, внимание на значения производных от индоевропейской праформы **var*, ср.: санскр. *vra-ta-m* 'священное действие, обет', греч. *βρε-τας* 'некто почитаемое, кумир, истукан'; лат. *vereor* и *revereor*, а также *verecundia* обозначали мистический страх при приближении к священным местам; ср. также титул духовных лиц – *reverendus* 'почитаемый'. Культовые значения, в свою очередь, ассоциировались с юридическими установлениями – законом и судом: *verdictus* 'приговор', *verax* 'справедливый'. Имя *veritas* также принадлежало сначала области права, обозначая нормы, правила. Лишь Цицерон вводит его в язык философии. *Veritas* у Цицерона означает действительное (в противоположность ложному, вымышленному) положение дел, справедливость, правоту истца и лишь изредка истину [14, 19–20]. Таким образом, закон, право, суд образуют с истиной один понятийный комплекс. Близость истины и закона, суждения и суда естественна: справедливый суд нуждается в верификации суждений.

Взаимодействие истины и этики хорошо прослеживается в контексте веры, объединяющей модель мира и нравственный закон человека. Убедительное подтверждение этому можно найти в Ветхом и Новом Завете, исповедующих веру в единого Бога. Монотеизм придал понятию истины всеобъемлющее значение: вера в ее целостности была отождествлена с истиной.

Первая заповедь, полученная Моисеем, гласит: "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть" (Втор. 6, 4). В христианстве "един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус" (1 Тим. 2, 5). Идея единственности (единобожия) является основополагающей в библейских текстах: "...Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много;

Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им" (1 Кор. 8, 5–6).

Бог един и в том смысле, что нет иного Бога, кроме единого, и в том смысле, что он соединяет в себе Творца (Создателя), Законодателя, Судью и карающую Силу.

Единый Бог – могущественный Господин, Владыка и Вседержитель – выполняет все функции относительно тварного мира. Бог создал мир и дал ему закон – природный и человеческий. Познавший добро и зло человек получил нравственное установление. Оно было дано Моисею через откровение, т.е. точно так же, как дается человеку приобщение к Божественной истине. Моисей говорит, обращаясь к народу Израиля: "Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали *так...*" (Втор. 6, 1). Отступления от закона грозят карою, ибо "един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить" (Иак. 4, 12).

В Новом Завете истина обычно подразумевает Слово Божие, принесенное и проповедуемое Иисусом и его апостолами. В нем этический компонент занимает центральное место. В христианской этике Закон, внешний по отношению к человеку, был заменен (или завершен) внутренним нравственным принципом – даром любви к ближнему.

Идти путем истины (быть праведным) стало значить 'следовать заповеди любви': «Вы слышали, что сказано: "любви ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 43–44).

Таким образом, и в Ветхом и в Новом Завете этический компонент изначально входит в понятие истины. Но в первом случае он представлен скорее в юридических терминах, а во втором – в духовных (см. подробнее [11; 18]). Отождествленное с верой, понятие истины стало синкретичным.

Этическая тема в Библии занимает несравненно больше места, чем тема сотворения мира. Об этом свидетельствует название христианского учения – Закон Божий. Законом называлось и "все ветхозаветное писание, как пространное изложение закона Моисеева" [6, 193].

Небезынтересно отметить, что, по очень неполным данным Симфонии [3], в Новом Завете Бог назван Творцом всего один раз: "Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца" (Рим. 1, 25).

Только один раз Бог назван Создателем, причем в судебском контексте: "Ибо время начаться суду с дома Божия; И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро" (1 Петр. 4, 17–19). О сотворении мира в Новом Завете упоминается, по данным Симфонии [3], 17 раз, судебская же тема является сквозной. Так, о Божьем суде речь идет более 60 раз, о судном дне – 20 раз, о суде человеческом – 52 раза. Теме Божьей кары и возмездия целиком посвящено Откровение Иоанна Богослова. Судейская тема дополняется темой спасения, ибо Иисус Христос пришел не судить, но спасти мир. Слова, относящиеся к этической теме и особенно к механизмам право-

судия, обладают в Новом Завете достаточно высокой частотностью. К их числу принадлежат: *благо, праведность, заповедь, завет, вина, обвинение, оправдание, спасение, осуждение, воздаяние, наказание, гнев Божий, послушание, грех, добродетель, искупление, покаяние, помилование* и многие другие слова, входящие в одно словообразовательное гнездо с вышеперечисленными.

Это объясняется не только эсхатологической направленностью христианского учения – завершением истории мира Страшным судом, но и общей склонностью человека истолковывать постигающие его несчастья как Божию кару за грехи, а спасение от бед – как проявление Божией милости. Вопрос "За что?!" постоянно встает перед человеком осмысляющим свою жизнь как длящийся судебный процесс. В Ветхом Завете этой теме непосредственно посвящена Книга Иова.

Таким образом, и в Ветхом и в Новом Завете этический компонент входил в понятие истины (истинной веры) в качестве неотъемлемой составной части.

3

До сих пор речь шла о понятии истины-веры в библейском контексте в отвлечении от тех слов, через которые оно реализовывалось. Обратимся теперь к языковому "образу истины" в церковнославянском и русском переводах Библии.

Для греческого языка, не испытывавшего влияния монотеизма, всеобъемлющее религиозное понятие истины-веры не было характерно, а круг слов, относящихся к рациональной (постигаемой разумом) истине, и круг слов, относящихся к этике (справедливости, закону, суду), различались. В первом случае использовалось слово *ἀλήθεια* 'истина', букв. 'нескрытое' и производные от него *ἀλήθιος* 'истинный' и *ἀληθῶς* 'истинно' (см. подробнее [4]). Во втором случае центральное место занимало слово *δικαιοσύνη* 'справедливый' (от имени богини правосудия *Δίκη*) и однокоренные с ним слова: *δικαίος* 'справедливый', *δικαίως* 'справедливо', *ἀδικός* 'несправедливый', *ἀδικία* 'несправедливость'.

В греческих текстах Библии эти понятия начали сближаться (см. подробно [17, 23–41]). Это особенно сказалось на употреблении прилагательного *δικαίος* (др.-евр. *sādik, hāsīd* 'праведный'), которое означало следование Закону Моисееву, взятому в его целостности – от веры в единого Бога и верности ему до соблюдения всех законов: нравственных и ритуальных. В Новом Завете мотив веры выдвинулся на первый план: праведным назывался прежде всего человек, уверовавший в истинного Бога (т.е. "правоверный", ср. также "православный"). Идея оправдания верою, которым в Ветхом Завете Бог отметил Авраама, является одним из основных мотивов Нового Завета: «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? "Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность" (Быт. 15, 6). Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в

праведность» (Рим. 4, 2–6). *Праведник* в применении к Иисусу Христу могло означать не только 'справедливый Судия', но и 'носитель истины (истинной веры)': "Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника..." (Деян. 7, 52).

Такое употребление свидетельствует о существенном изменении, происшедшем в понятийном содержании "правды" (греч. δικαιοσύνη), которое повлекло за собой в церковнославянском и русском языках сближение понятий истины (истинной веры) и правды, в то время как в латыни и романских языках этого не произошло, ср. лат. *justitia* 'праведность' (от *jus* 'закон', *justus* 'праведный', т.е. 'следующий закону').

Основная причина, послужившая толчком к изменению понятийного содержания правды, по-видимому, кроется в изменении ценностных коннотаций. В библейских текстах, повлиявших на формирование семантики правды, в фокусе внимания постоянно находится справедливый Божий суд, а не несправедливый суд людей.

В Ветхом Завете речь идет о суде (др.-евр. *mišpāt*) единого (нашего, моего) Бога, заключившего Союз-завет с народом Израиля и его оберегающего. Суд по правде предполагает милосердие к народу, хранящему верность своему Богу; ср. "Молитву о правде": "Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого, и смирит притеснителя" (Пс. 71, 1–4).

Положительные коннотации резко возросли в Новом Завете, в котором суд по правде стал ассоциироваться с искуплением грехов человеческих Христовой жертвой. Звучала тема надежды и прощения.

На "правду" упал отблеск "благодати" (греч. *χάρις* 'добро, благо, радость'); ср. у Илариона: "Вynes Моисей с горы Синай закон, а не благодать, подобие, а не истину" [9, 47], и немного раньше: "Закон предтечей был и слугой благодати и истине, истина же и благодать – слуги будущему веку, жизни нетленной" [там же, 46]. Закон был запечатлен в сердцах людей, ибо "любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым" (Рим. 5, 5). Закон обвиняет и взыскивает, благодать оправдывает и прощает.

В синоптических Евангелиях слово *благодать* не употребляется. Оно появляется в Евангелии от Иоанна: "И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать; Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа" (Ин. 1, 16–17).

Употребление имени *правда* в значении, близком *благодати*, встречается в апостольских посланиях. Особенно ясно это значение прочитывается в посланиях апостола Павла, согласно которому подлинная правда уже не столько справедливый суд, сколько Божия милость, проявленное им милосердие (лат. *gratia Dei*): "Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась *правда Божия*, о которой

свидетельствуют закон и пророки, *Правда Божия* чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, Потому что все согрешили и лишены славы Божией, Получая оправдание даром, *по благодати Его*, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания *правды Его* в прощении грехов, соделанных прежде, Во время долготерпения Божия, к показанию *правды Его* в настоящее время, да явится Он *праведным и оправдывающим* верующего в Иисуса" (Рим. 3, 19–26); ср. также «В нем (благовествовании Христовом) открывается *правда Божия* от веры в веру, как написано: "праведный верою жив будет" (Аввак. 2, 4). Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (Рим. 1, 17–18) (курсив везде мой. – Н.А.).

Семантика *правды*, однако, не слилась со значением *благодати*: и понятия, и выражающие их слова различны. Слово *благодать* в его христианском смысле не вошло в обиходный язык и осталось богословским термином, но оно передало правде сильные положительные коннотации: правда стала высшим благом. Другой источник положительных коннотаций *правды* можно видеть в народных поверьях. Обращаясь с молитвой к востоку, древний человек имел справа юг, а слева – север. Оппозиция правой и левой стороны приобретала поэтому аксиологическую значимость. Добро ассоциировалось с правой стороной, зло – с левой. Об этом свидетельствуют многочисленные народные приметы: вставать с постели, входить в дом, обуваться и разуваться рекомендовалось с правой ноги. Связь корня *прав-* и его производных с законом и судом утратила метафоричность, *левый* же во всех производных значениях остается метафорой, и это обстоятельство нарушает их прямую оппозицию: *правда* противостоит *неправде* и *кривде*, но не *левизне*, означавшей, впрочем, в старом языке также 'неправду' [5, т. 2]. Однако *правда* сохранила положительные коннотации, вынесенные ею из ослабленного противопоставления левой стороне.

Сильные позитивные коннотации оказали решающее воздействие на семантику *правды*: *правда* постепенно утратила значение закона, бывшее для церковнославянского и древнерусского языка основным. В "Словаре церковно-славянского языка" Г. Дьяченко [6] *правда* интерпретируется через понятия, связанные с моралью, судом и прощением: 'закон, законный поступок, добродетель, или совокупность добродетелей, оправдание грешника заслугами Христовыми'. В той же статье приводится выражение *правда царя* со следующей интерпретацией: «Под "правдою" (τὸ δίκαιωμα) царя, по употреблению этого слова в св. Писании, разумеется начальническое, верховное право царя на личность и имение своих подданных, а также и право суда над ними (1 Цар. 8, 9)». Значение же истинности отсутствует совсем. Для русского слова *правда*, включенного в тот же словарь, оно дано последним: 1) право производить суд и расправу; 2) суд; 3) закон; 4) доказательство; 5) истина. Все включенные в эту статью выражения относятся к судопроизводству: *взирать в правду* 'справляться с законом', *всудить в правду* 'судить по закону' и др.

В статье *правда* словаря древнерусского языка И.И. Срезневского [1] значение 'истина' дано первым. Однако большинство примеров, приводимых под этим значением, позволяет толковать *правду* и как 'справедливость, правосудие, закон': *Блаженны алчущие и жаждающие правды*, где *правда* соответствует греч. δίκαιοσύνη; ср. также *сказать в Божью правду, целовать крест по любви в правду* и др., что значит 'поступать в соответствии с Божьим правилом', в *правде*, *по правде* — 'без обмана', т.е. тоже согласно норме. Далее Срезневский дает следующие значения (к некоторым из них мы приводим примеры в современной форме): 2) справедливость; 3) добродетель, добрые дела, праведность; 4) правота, правота; 5) доброе имя: *затерети правду* 'потерять доброе имя'; 6) честность; 7) обет, обещание: *Дал есмь правду крепкую брату своему*; 8) присяга: *Дали правду всюю землею, Мамаевы же князи... давшие ему правду по своей вере*; 9) повеление, заповедь: *в правде твоей поучуся*; 10) постановление, правило: *в правду* 'как следует, по правилу'; 11) свод правил, законы; 12) договор, условие договора; 13) права: *Ты, господине, свою правду сказываешь, а они свою* 'ты предъявляешь свои права, а они свои'; 14) признание прав; 15) оправдание: *правда дати*; этот же пример приводится и к значению 'справедливость' и интерпретируется как 'относиться справедливо'; 16) суд: *послать на правду* 'отдать под суд'; 17) право суда; 18) судебные издержки; 19) пошлина за призыв свидетеля: *А доводчику имати хоженое и езда и правда по грамоте*; 20) свидетель: *и судьи спросили правды Тимофея*; 21) подтверждение, доказательство: *правда дати* 'представить доказательство'. Значение *правды* как предъявляемого на суде права хорошо объясняет феномен "умножения правд" (принцип "у каждого Павла своя правда"), распределенность "правды" между конфликтующими сторонами (см. пример под № 13).

Приведенные Срезневским значения (они у него не пронумерованы, но каждое дано с новой строки и выделено тире) недвусмысленно свидетельствуют об общей правовой (юридической) ориентации *правды*, ее преимущественной ассоциации с человеческим судом и мирскими делами (см. также [8]). Между тем в современном языке, несмотря на живое присутствие однокоренных слов круга права и на прямую оппозицию в паре *о-прав-дание* — *о-сужд-ение*, *правда* не только утратила значение закона и суда, но и всякую ассоциацию с понятиями, относящимися к праву. Это показали письменные опросы. Поле *правды* заполняется такими словами, как *ложь, неправда, кривда, жизнь, известие, откровенность, искренность, чистота, честность, прямота; горькая, высшая, святая правда* и т.п. Интересно отметить, что *правильность* попадает в ассоциативное поле *истины*, а не *правды*. Прямые вопросы о возможности смысловых пересечений между полями *правды*, с одной стороны, и *закона* и *суда* — с другой, получали отрицательный ответ даже от филологов. Точно так же не включалось в ассоциативное поле *правды* слово *совест*, несмотря на прямую связь соответствующих понятий с нравственным началом, ср.: *судить (поступать) по правде* и *судить (поступать) по совести; в нем правды нет и в нем нет совести*.

Одной из причин разрыва смысловых связей между *правдой* и *правом* (судом) является, как отмечалось, фактор оценки. *Правда* может быть

святой, человеческий суд – никогда. Суд ассоциируется со страхом, расправой, пыткой, несправедливостью, сутяжничеством, ср. пословицы: *Где суд, там и суть* (= сутяжничество); *В суд пойдешь – правды не найдешь*; *Порешил суд, и будешь худ* и т.п. Приводя эти и другие пословицы, В. Даль делает примечание: "У нас не было ни одной пословицы в похвалу судам, а ныне я одну слышал: *Ныне перед судом, что перед Богом все равны*" [5, т. 4, 355].

Правда в аксиологическом плане ассоциируется со светом, солнцем, сиянием, святостью, Царством Божиим, идеалом, подлинностью, высшей справедливостью, милосердием (милостью) Божией. Все эти ассоциации относятся только к Божию суду – *правде Божией* и восходят к библейским текстам.

Таким образом, утрата именем *правда* первичного значения 'закон' и отчуждение ассоциаций с правом произошли под прямым воздействием религиозных концепций: противопоставления высшей справедливости людскому беззаконию.

Правда стала мыслиться как некий идеал праведности и совершенства. Как всякий идеал, правда была отнесена в план будущего. Правда превратилась в цель. Это отдалило ее от представлений о благодати. Понятие правды-оправдания видоизменяется. Правда-цель оправдывает жертвы как средства. Понятие правды как нравственной заповеди клонится в сторону правды как оправдания нарушений заповедей. Будущая правда оправдывает неправду в настоящем. Правда получает право на неправду. Ради осуществления этого права усиливается окружающий правду ореол света, влекущего к правде. Правда вошла в контекст борьбы за справедливость, за права обездоленных [1, 26–27]. Значение высшей правды, перейдя из сферы религии в область социальных отношений, подверглось демагогической обработке.

Итак, под влиянием веры и религиозных текстов правда утратила ассоциацию с законом и судом, но сохранила связь с нравственностью. Концепт правды стал обобщением нравственного закона, представлением об идеальных социальных и человеческих отношениях (3-е значение в словаре Д.Н. Ушакова).

4

Теперь обратимся к другому значению имени *правда* – значению соответствия действительности, общему у него со значением *истины*.

Значения *правды* и *истины* достаточно четко различались в древнерусском языке и церковнославянских текстах – обычно переводах с греческого, в которых отношение к действительности и отношению к норме выражалось разными словами [16]. Это различие сохранялось очень долго, несмотря на близость этических понятий к представлениям о сущности мира, их нераздельность в рамках веры в единого Бога – Творца и Верховного Судии (см. выше). Однако уже в библейских текстах наметилось сближение истины и правды. Оно было обусловлено тем, что истинным стал признаваться "другой мир" – Божественный, а не земной: истина "мира сего" тем самым перешла в Божественную сферу. Выражения *правда*

Божия и истина Божия в церковнославянских и русских переводах Библии часто не противопоставлены друг другу. В переводах Ветхого Завета оба слова, *истина* и *правда*, могли относиться к нравственному закону, справедливому суду, праведности; ср., например, в Псалтири: "Скажите народам: Господь царствует!.. Он будет судить народы по правде... Он будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей" (Пс. 95, 10, 13).

В таких контекстах *правда* и *истина* воспринимаются как слова, очень близкие по значению. Современный носитель языка не улавливает между ними разницы. Однако различие здесь есть. Суд по правде предполагает объективную справедливость. Это суд по закону. Суд по истине апеллирует к верности Бога своему народу, милости к нему. В переводах, выполненных с древнееврейского, это различие сохраняется: *āmā* переводится как 'верность': *Он будет судить вселенную правдою и народы верностию Своею* (Священные книги Ветхого Завета. Вена, 1897. Т. 2). Это же различие сохраняется и в переводах на другие языки. Так, во французском о "суде и правде" говорится в терминах справедливости, а о "суде и истине" в терминах верности: *il jugera les peuples avec équité... il jugera le monde en justice, et les peuples selon sa fidélité*. В Новом Завете в аналогичных контекстах речь идет о суде и прощении по вере (*ex fide*), а не из верности обетованию.

В современном русском языке *правда* и *истина* употребляются синонимично в значении соответствия высказывания действительности при том, что сам круг высказываний, которым дается истинностная оценка, различен [2].

Таким образом, оказывается, что в период сближения истины и этики в рамках веры язык их различал. Синонимизация *истины* и *правды* началась скорее в этической сфере. Напротив, тогда, когда сфера этики (закона, заповеди, нормы, правила, установления, суда) и сфера истины размежевались, в языке произошла синонимизация слов *истина* и *правда* на почве значения истинности (отношения к действительности). Иначе говоря, семантическое сближение *правды* и *истины* протекало параллельно с концептуальным отдалением друг от друга сфер морали и знания, этических норм и естественных законов, мира человека, подлежащего суду, и мира природы, катаклизмы которой не влекут за собой кары, разве что, вторгаясь в жизнь людей, сами несут в себе возмездие. Концептуальное размежевание и одновременное семантическое сближение отозвались противоречивостью и синкретизмом значений слов *правда* и *истина*. Этими чертами в особо большой степени отмечено слово *правда*.

Синонимизация *правды* и *истины* произошла на базе значения истинностной оценки. Второстепенное и производное в древнерусском (см. выше), оно постепенно выдвинулось на первый план и определило большую частотность употребления слова *правда* в современной русской речи [2].

Значение истинностной оценки вторично для слова *правда*. Оно, видимо, вычленилось из выражений типа *говорить по правде, по правде сказать*, т.е. 'действовать (поступать) по закону (правилу)', ср. также *говорить неправду* по аналогии с *творить неправду*, т.е. совершать противозаконное действие. Выражение *говорить правду* характеризует субъ-

екта речи как совершающего действие, согласное с правилом речевого общения (максимой качества Грайса); ср.: *Мальчик всегда говорит правду* = 'мальчик правдив'. Денотатом этого выражения (оно обычно употребляется анафорически или прескриптивно) является речевой акт или с. зокупность речевых актов. Само же слово *правда*, вычлененное из выражения и акцентно выделенное, характеризует содержание входящего в речевой акт высказывания как адекватное действительности: *Мальчик правду говорит* = 'то, что сказал мальчик, правда'.

Субъектом выражения *говорить правду* является говорящий, субъектом имени *правда* – суждение. Речевой акт говорения правды независимо от содержания речи получает положительную оценку: говорение правды (разумеется, если это не донос) "вменяется человеку в праведность". Иначе обстоит дело с содержанием высказывания. Проблема говорения правды обычно возникает в аномальных ситуациях, т.е. тогда, когда сообщение истинной информации может повлечь за собой негативные для говорящего или его адресата последствия. Поэтому правда, отождествляемая с положением дел, получает отрицательные коннотации. Выражения *скрывать правду*, *узнавать правду* обычно подразумевают сообщения об отрицательных событиях – *ужасной, трагической, жестокой, неприкрашенной, горькой правде*. То же касается и обобщенных оценок жизни: *правда о горькой жизни становится горькой правдой жизни*.

Существительное *правда* перетягивает к себе отрицательные определения жизни. *Темная (ужасная, унылая и т.п.) правда жизни* – это и правда (то, что есть), и неправда (то, чего не должно быть). Правда отдельного факта соответствует алетической оценке. Правда обобщения соединяет алетическую модальность с деонтической. "Грядущая правда" – светлая или темная – содержит только деонтическую оценку. Так, под *светлой правдой будущего* подразумевают миропорядок, который бы соответствовал этическим нормам. В обобщенной правде об актуальной жизни положительная истинностная и положительная деонтическая оценки несовместимы: о существующем порядке, каков бы он ни был, не говорят в терминах "светлой правды".

Хотя оценка истинности высказываний в терминах правды используется преимущественно в применении к отрицательным явлениям жизни, само понятие правды не становится от этого негативным: "о чём" правда не влияет на ценность правды. Правда вынесла из религиозного контекста функциональность, способность влиять на отношение к жизни и на поведение людей. Функции правды – извлекать добро из зла, оправдывать жертвы, подчинять человека нравственному императиву, отличать подлинное от мнимого. Можно сказать: "Как ни горька правда, это правда, и она во благо", или короче: "Горькая правда, но правда".

Правда связывает истину и этику, речевую деятельность и дела. Концепт правды синтетичен [10]. В следующем примере осуществлен незаметный переход от правды как 'истинного сообщения' (признания в преступлении) к правде как 'подлинности' (в противовес 'мнимому, неистинному') и от нее к правде как 'Божественному императиву, идеалу': – *Идите, говорю, – объявите правду людям. Все минется, одна правда останется... Поймут все подвиг ваш, – говорю ему, – не сейчас, так по-*

том поймут, ибо правде послужили, высшей правде, неземной (Достоевский). Признание правды становится служением Правде.

Получая обобщенное значение, *правда* указывает не на соответствие "поверхностной действительности" (фактам), а на соответствие глубинной природе вещей, подлинность в противоположность фальшивому, мнимому. Н.А. Бердяев писал о Л. Толстом: «Там [в повести "Казаки" и романах] утверждалась правда первичной народной жизни и ложь цивилизации... Повсюду и всегда Толстой изображает правду жизни, близкую к природе, правду труда, глубину рождения и смерти по сравнению с лживостью и неподлинностью так называемой "исторической" жизни и цивилизации. Правда для него в природно-бессознательном, ложь в цивилизованно-сознательном» (Н.А. Бердяев. Русская идея // Вопр. философии. 1990. № 2. С. 92).

Ситуация правды имеет, однако, и другой аспект. В период общего размежевания этики и истины, распада целостного Закона внутри концепта правды образовалась трещина, разделяющая нравственную правду (правду-справедливость) и правду соответствия действительности (правду-истину). Эта граница особенно заметна, как уже отмечалось, тогда, когда речь идет о конкретных фактах. Правда в этом случае становится "голой" (ср.: *голая правда* и *голые факты*). Она отбрасывает детали. Ее принцип: "да, да", "нет, нет", а что сверх того, то от лукавого. На следствии от свидетеля требуют "правды, только правды и ничего, кроме правды": он должен ограничиться "правдой фактов". Основываясь на ней, следствие устанавливает *истину*. Но судья вершит суд по правде. Он принимает во внимание и взвешивает все то, что смягчает или усугубляет вину. Между правдой факта и правдой человека возникает конфликт: правда факта обвиняет, правда человека оправдывает.

В "Идиоте" Аглая говорит князю Мышкину: *А с вашей стороны я нахожу, что все это очень дурно, потому что очень грубо так смотреть и судить душу человека, как вы судите Ипполита. У вас нежности нет: одна правда, стало быть несправедливо* (Достоевский).

Аглая имеет в виду "голые факты". Она пеняет Мышкину, что он подменяет правду человека правдой факта. Правда в устах Аглаи получает отрицательные коннотации. Ей противостоит милосердие, жалость, понимание душевной жизни (ср.: "У вас жалости нет"). То различие, которое имеет в виду Аглая, чаще ассоциируется с оппозицией *правды* и *истины*, должного и существующего: правде соответствует этический концепт, истине – алетический. А. Белый писал Асе Тургеневой в ответ на ее отказ в помощи: «В этом "сказании" мне Твоего отношения ко мне была "истина", но не "правда". А "истина" есть ложь правды, лежащая правда, убитая правда. Ибо истина есть абстрактное положение... "Истины" всегда правда в параличе. И вот "честной", параличной "истиною" своего отношения ко мне Ты так угодила мне в сердце». *Правде* Аглаи соответствует *истина* А. Белого. Но и в том, и в другом случае этические критерии отделяются от алетических, разделению по модальности сопутствует противопоставление по оценке. Различие в ценностных коннотациях правды в сознании говорящих не ощущается как противоречие.

Заполняя ассоциативное поле, информанты ставили рядом такие сочетания, как *горькая (худая) правда* и *святая правда, правда победит*.

Истинностная и этическая оценки распределены внутри концепта правды по разным значениям. Однако связь между ними не разорвана. Этическая оценка оказала влияние на экстенционал тех суждений, истинность которых оценивается в терминах правды. Предикат *правда* приложим только к сфере человеческой жизни, иначе говоря, этическая и истинностная оценки, выражаемые именем *правда*, совпадают по экстенционалу в том смысле, что этическая правда подразумевает нормы человеческой жизни (*поступать по правде*), а правда-истина оценивает суждения о человеческой жизни (*То, что Солженицын вернулся в Россию, правда*). В первом случае *правда* подразумевает общие суждения, во втором – эмпирические факты, конкретные события. Концепт правды неприменим к оценке явлений и законов природы. Он судит человека и о человеке (см. подробнее [1, 26–27]). Поэтому не говорят о *мертвой правде*, тогда как *мертвые истины* возможны, нет также *выводной правды*. Из двух видов истины, выделенных Лейбницом, – the truth of reasoning и the truth of fact – правда выбирает второй.

Итак, понятие правды неустойчиво и синкретично [10], аксиологически противоречиво и семантически двойственно. Оно формировалось одновременно в сфере права и веры, в законоуложениях и Библии. В Ветхом Завете понятие правды-закона эволюционировало в сторону правды-справедливости Бога и правды-праведности человека. В Новом Завете правда-справедливость приблизилась к правде как благодати Божией. Попад на почву социальной жизни, путь правды стал путем к правде, а путь к правде – путем борьбы за правду. Правда отделилась от милосердия, но сохранила высокий ценностный "рейтинг". Намеченная линия развития отражает ценностные модификации "правды". Семантическая эволюция вела правду от юридических значений к значению истинностной оценки.

Параллельно развитию концепта правды эволюционировали семантические отношения *правды* и *истины*, сохранявших в рамках единой веры сначала раздельность под влиянием греческих версий библейских текстов, затем сблизившихся, чтобы вновь разойтись: *истина* сохранила за собой сферу религии и рационального знания, *правда* оставила за собой сферу этики и получила способность сочетать алетическую и деонтическую оценки.

5

Теперь рассмотрим взаимодействие истины и этики в структуре суждения (см. подробнее [16]).

Текст, повествующий о делах людских, не может быть только дескриптивным. В нем так или иначе выражается отношение к норме, а следовательно, этическая оценка. В большинстве тех суждений, которые выносятся о жизни и поведении человека, истинностная оценка совмещена с этической или утилитарной.

Объектом оценки является одновременно и речевой и поведенческий акт. В высказывании "Ты лжешь" совмещены значения ложности и лжи. Первое выражает истинностную оценку суждения, второе – этическую

оценку поступка. Отношение высказывания к действительности и отношение этой последней к норме устанавливаются совместно. Алетическая модальность как бы слита с деонтической. Когда говорят "Этот человек совершил кражу", констатируют факт присвоения субъектом чужого имущества (алетическая модальность) и вместе с тем указывают на несоответствие этого действия этической норме, его непозволительность (деонтическая модальность). Отношение к норме вмонтировано в номинацию действия (значение предиката). К тем случаям, когда присвоение чужого имущества не нарушает этического запрета (например, если речь идет о находке и присвоении потерянных кем-либо вещей), выражение *совершить кражу* не применяется. Лексическая семантика в высокой степени ориентирована на обозначение неординарных и аномальных явлений.

Норма – общее деонтическое суждение – обычно формулируется как отрицание аномалии. Это отличает деонтические нормы от указов и инструкций, регламентирующих практические действия и социальное поведение людей. Почти все заповеди отрицательны: *...да не будет у тебя других богов пред лицом Моим; Не сотвори себе кумира...; Не произноси имени Господа всуе; Не убивай; Не прелюбодействуй; Не кради; Не произноси ложного свидетельства; Не желай дома и жены ближнего твоего*. Это запреты; ср. также "законы о справедливости": "Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды" (Исх. 23, 1–2) и т.д.

Суждения о человеческих поступках соотносятся и с действительностью, и с формулой заповеди. Истинностная и этическая оценки могут как совпадать, так и не совпадать. Если действие соответствует норме (не нарушает запрета) и суждение о нем истинно, то выстраивается следующий ряд: *не убил* (действие) – "*не убил*" (истинное суждение о действии) – "*не убей*" (этическая норма, запрет). Сквозь весь ряд проходит отрицание. Оно может быть внутренним: *соблюдать заповеди (права человека, закон, правила)* – значит их 'не нарушать', *прийти вовремя* – значит 'не опоздать'. Не преступая правил и заповедей в условиях нормальной жизни, не совершают поступка. С языковой точки зрения норма непродуктивна*. О недействии не судят, поскольку не судят за недействие.

* В семинарском докладе "Симметрия, асимметрия и семантика русских -лев- и -прав-" проф. А. Ченки (Alan Cienki) показал, что корень -прав- обнаруживает исключительную деривативную и семантическую продуктивность, образуя большие группы производных со значением: 1) пространственной ориентации; 2) направления; 3) исправления и восстановления; 4) правильности (соответствия норме); 5) права и закона; 6) суда; 7) нравственности; 8) правления и контроля; 9) истинности; 10) политической позиции. В общей сложности в современном русском языке имеется более 150 слов (некоторые из них квазиомонимы) с корнем -прав-, тогда как от -лев- образуются только производные со значением пространственной ориентации, политической позиции и незаконных действий, причем эта последняя группа слов метафорична. Всего от корня -лев- образовано немногим более 10 производных. Оказывается, таким образом, что вопрос о продуктивности нормы и аномалии решается в пользу нормы тогда, когда речь идет об общем обозначении, и в пользу аномалии тогда, когда дело касается частных разновидностей. В первом случае продуктивность проявляется в образовании деривативного гнезда, во втором – в создании многочисленных видовых обозначений.

О нем обычно и не сообщают. Оно часто лишено прямого обозначения. Недействие не имеет ни способов осуществления, ни мотивов, ни целей. Высказывание о нем с трудом разворачивается в текст. Норма – это точка отсчета, ее трудно определить. А.П. Чехов писал: "Норма мне неизвестна, как не известна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь, мы не знаем". Соблюдение норм удовлетворяет требованиям слабой этики.

В практике жизни соответствие суждения действительности регулярно совмещается с ее несоответствием норме: текущая информация и бытовые разговоры о делах людских касаются прежде всего неповседневных действий и событий. Разговор о норме не поощряется и в художественной литературе. Достоевский, даже увидев царство Истины глазами смешного человека (в "Сне смешного человека"), никогда не писал о нем в своих произведениях. По выражению В.В. Набокова, Достоевский-художник "видел истину сотворенной из крови и слез, истерики и пота". Он писал о правде жизни.

В условиях нормальной жизни суждения выносят о тех действиях и событиях, которые выходят за рамки нормы: *убил* (действие) – "*убил*" (суждение о действии) – "*не убей*" (заповедь). Суждение о нормативном поведении часто имеет отрицательную форму: *не нарушал, не преступал, не крал, не завидовал, не доносил, не клеветал, не воровал* и пр. Суждение об аномальном поступке или неординарном событии имеет форму утверждения. Утверждение легко разворачивается в текст. Из констатирующего оно становится дескриптивным, экспликативным или судейским: "что" дополняется "как" и "почему", "при каких обстоятельствах", "с какой целью", "в каком состоянии", "кто помогал или препятствовал", "каковы были последствия" и т.п. Благодаря дополнительным характеристикам классы аномальных действий начинают распадаться на виды.

В условиях аномальной жизни, напротив, сообщают о следовании этической норме: *не предал* (поступок) – "*не предал*" (суждение о поступке) – "*не предай*" (заповедь). Неуклонное следование норме в этом случае воспринимается как отклонение от поведенческого стандарта, недействие – как действие, запрет – как предписание, императив. Отрицание вновь становится сквозным. Оно не препятствует разворачиванию суждения путем реализации уступительных и обстоятельственных валентностей: *не донес, несмотря на угрозы и вопреки опасности*. Итак, отношения в приведенном ряду унифицировались благодаря дисгармонии жизни, на фоне которой слабая этика превращается в сильную, запреты заменяются императивом.

Присутствие отрицания в заповеди открывает путь к констатации факта. Для этого достаточно его устранить и заменить деонтическую модальность алетической: *не укради – украл*. Отсутствие же отрицания в суждениях об аномальных действиях открывает путь к таксономии, служащей основанием для меры пресечения.

Норма одна. Отношение к ней двузначно: она может выполняться или не выполняться. Отклонениям от нормы несть числа. Множество ненорма-

тивных действий распадается на подмножества. Акт суждения (констатация факта) оборачивается актом таксономии. Отрицание соответствия действия норме осуществляется через утверждение его принадлежности определенному виду аномалий.

Истинностная оценка выражается преимущественно грамматически (модальностью), этическая – лексически. Это естественно. Для того чтобы судить и осудить или оправдать, нужно не только установить факт совершения ненормативного поступка, но и его квалифицировать, т.е. подвести под тот или другой вид санкционируемых действий. Иначе говоря, ненормативные действия должны быть поименованы. Даже Закон Божий требует, чтобы грехи и преступления были названы.

В послании апостола Павла к римлянам содержится подробный перечень противозаконных действий, дурных помыслов и пороков: "И как они *(люди)* не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют" (Рим. 1, 28–32) (курсив автора).

Уголовный кодекс, классифицируя подсудные действия, широко пользуется лексикой естественных языков, ибо он должен быть не только доступен для понимания юристу, но и служить предостережением всем тем, на кого он распространяется. Так, завладение личным имуществом граждан может быть квалифицировано как *кража* (тайное похищение чужой собственности), *грабеж* (открытое похищение чужого имущества), *разбой* (похищение личного имущества путем насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего), *мошенничество* (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием), *вымогательство*, ныне именуемое *рэкетом* (завладение чужим имуществом под угрозой насилия или путем шантажа). Все эти виды преступных действий распадаются на категории в зависимости от того, как они осуществлены (по предварительному сговору с другими лицами, с причинением телесных повреждений), кто их произвел (новичок или рецидивист) и пр. Принципы классификации аномальных действий – их число неопределенно – включают психологические факторы (контролируемость психики, предумышленность действия), мотивы и цели действия, способ осуществления, обстоятельства и др. Подклассы аномалий неравноценны. Каждому из них сопоставляется некоторый количественный эквивалент. Их иерархия измеряется по шкале, на которой маркировано отстояние от нормы, та дистанция, которая берется в расчет при вынесении вердикта. Истинностная оценка, устанавливающая качество суждения, исключает скалярность, этическая ее предполагает. Она основана на мере: мера отклонения соответствует мере пресечения. Качественная и количественная оценки объединяются в едином суждении.

Заповедь предусмотрена. Это – надчеловеческая категория, Закон. Виды аномалий и их отдаленность от нормы (количественный эквивалент) определяются "по соглашению". Наряду с вопросом о нарушении (истинностной оценкой) ставится вопрос о мере нарушения (тяжести вины), т.е. об этической оценке. Выбор термина для обозначения аномального действия (его таксономия) во многом зависит от участников ситуации. Рядом с вопросом "Кто виноват?" встает вопрос "А судьи кто?" Истина независима от человека, судебскую оценку выносит "исторический человек", и она различна в разных социальных условиях.

Скрещение истинностной и этической оценок происходит практически всегда, когда речь идет о поведении людей и событиях их жизни. Текст человеческой жизни выстраивается по принципу судебного разбирательства, требующего верификации суждений о совершении поступков и их квалификации. Он подобен барометру, стрелка которого отклоняется то в сторону добра, то в направлении зла. Это текст правды.

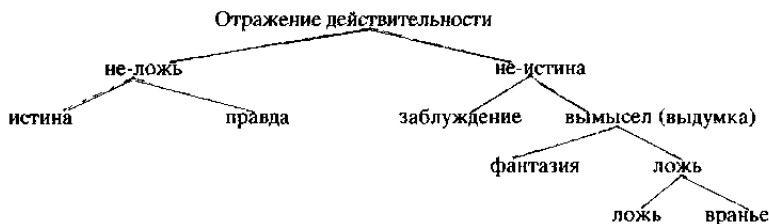
ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
2. Арутюнова Н.Д. Речеповеденческие акты и истинность / Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 2-е изд. Брюссель, 1983.
4. Гринцер Н.П. Греческая ἀλήθεια: очевидность слова и тайна значения // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т. 2; М., 1980. Т. 4.
6. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993 (репринт издания 1900 г.).
7. Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском, латинском и русском языках с историко-текстологическими приложениями. М., 1993.
8. Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. О языке древнеславянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание: VIII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1978.
9. Иларион Киевский. Слово о законе и благодати // Поляков Л.В. Философские идеи в культуре Древней Руси. М., 1988.
10. Перцова Н.Н. Формализация толкования слова. М., 1988.
11. Словарь Библейского богословия. Bruxelles, 1990.
12. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка по письменным памятникам. М., 1958.
13. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.
14. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Берлин, 1929.
15. Франк С.Л. По ту сторону "правого" и "левого" // Новый мир. 1990. № 4.
16. Арутюнова Н.Д. [Арутюнова Н.Д.] Vérité et éthique // Relations inter- et intra-predicatives / Cahiers de l'Institut de Linguistique et des Sciences du Language. Lausanne, 1993. N 3.
17. Keger D. Untersuchungen zur Bedeutungsgeschichte von Istina und Pravda im Russischen. Frankfurt a. M., 1975.
18. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament / Hrsg. von G. Kittel. Stuttgart, 1933. Bd. 1.

ИСТИНА И ЛЮДИ

Пословицы, афоризмы, суждения мыслителей разных стран, касающиеся истины, представляют собой корпус высказываний, анализ которых дает возможность выявить, какие стороны этого концепта отражаются в сознании людей, и тем самым полное раскрыть его содержание и роль, представить "портрет" истины. Прежде всего обнаруживается неравномерное членение ноэтического поля "истина" в разных языках. Так, французскому *vérité* или английскому *truth* в русском соответствуют два слова: *истина* и *правда*. Эти термины охватывают пересекающиеся понятия, но все же между ними можно провести различие, которое заключается, в частности, в том, что истина относится к модальности *de re*, указывая на верное отражение объективной действительности в сознании человека, тогда как правда входит в сферу модальности *de dicto*, показывая соответствие сказанного действительности. Это различие проявляется в употреблении обоих слов, в значениях их производных и образуемых ими словосочетаний: *изрекать истину* и *говорить правду*, *истинный друг* и *правдивый друг* и т.д.

По большей части истина характеризуется – эксплицитно или имплицитно – в оппозиции ко лжи. Рассмотрим в общих чертах типы лжи, точнее не-истины, в их соотношении с истиной (см. схему).



Представленные на схеме понятия различаются по четырем дифференциальным признакам: 1) "отражение действительности"; не-ложь – адекватное, не-истина – неадекватное; 2) "намеренность, контролируемость"; истина характеризуется ненамеренностью (ее можно отк р ы т ь, но нельзя придумать, создать), также и заблуждение – не-истина ненамеренная, неконтролируемая, результат не злого умысла, а незнания; заблуждение не придумывают; выдумке же свойственна намеренность, контролируемость; ложь, фантазию придумывают; 3) "отношение к сокрытию истины" (эта оппозиция касается выдумки): выдумка, направленная на сокрытие истины, – ложь; выдумка, не имеющая целью скрыть истину, – фантазия. К фантазии относятся фикция, утопия, искусство и т.п. Она может изобретаться ради поиска истины, ради ее смягчения, а также использоваться в людической функции. Некоторые исследователи отмечают параллелизм различий между истиной и правдой, ложью (в узком смысле слова) и враньем. Мы видим постепенность

перехода от истины к лжи. Истина и заблуждение имеют общий признак – ненамеренность. Фантазию связывает с заблуждением отсутствие намерения нанести ущерб истине.

Афоризмы, пословицы и т.п. имеют следующие семантические особенности: 1) нередко по одному и тому же вопросу они реализуют диаметрально противоположные суждения; 2) они содержат не аналитические определения, но оценочно-характеризующие; в них нельзя найти строгого определения того, что такое истина, но можно обнаружить отношение людей к этому понятию; 3) они оторваны от конкретного контекста, носят обобщенный характер, в них наблюдается нейтрализация значений слов и форм; поэтому не будет проводиться различия между *истиной* и *правдой*, также будут рассматриваться совместно виды не-истины (*ложь, заблуждение*). Несмотря на различие формы высказываний, определяемое местом, временем, индивидуальным стилем автора, во многих случаях они совпадают по смыслу. Можно выделить следующие параметры истины:

1. Общая значимость истины. Истина – самое ценное и полезное в жизни людей: *Правда дороже золота* (русская пословица); *Замалчивать истину – все равно что закапывать золото* (армянская пословица). Стремление к истине – естественное и важнейшее побуждение человека: *В нас существует потребность истины, и это и есть первая истина, к которой мы можем прийти* (Гренье); *Всеми силами души нужно стремиться к истине* (Платон). Истина выше всего, выше любых чувств: *Годы постепенно учат всякого человека, что только истина чудесна* (Метерлинк); *Платон мне друг, но истина мне больший друг* (Аристотель). Истина – в основе всего лучшего: *Там нет величия, где нет истины* (Лессинг). Истина, даже неприятная, необходима и полезна. Она исправляет, лечит: *Нельзя обижаться на истину* (Платон); *Я предпочитаю вредную истину полезному заблуждению: истина лечит болезнь, которую она могла бы причинить* (Гете); *Истина – это удар ножом, который может очистить рану, вскрыть нарыв* (Дювернуа).

2. Сила истины. Здесь выявляются два аспекта: собственная сила истины, ее преимущество перед не-истиной и значение истины как основы силы человека и общества.

Истина всесильна, неистребима: *Истина иногда затмевается, но никогда не гаснет* (Тит Ливий). Она сильнее лжи: *Истина поднимается над ложью, как масло всплывает над водой* (Страпарола); *Явилась истина, и ложь рассеивается, как легкий дым* (арабская пословица).

Истину одолеть невозможно: *Истина сама себя защитит без труда* (Цицерон); *Истина быстро повергает то, что ей сопротивляется* (Али); *Истина в пути, и ничто ее не остановит* (Золя). Насилием истину истребить невозможно: *Истина и свобода тем замечательны, что все, что делают для них и против них, им служит в равной степени* (Гюго).

Истина сильна не только сама по себе. Она дает силу людям: *Только истина может противостоять несправедливости. Истина и любовь* (Камю); *Общество сильно только тогда, когда оно ставит истину под*

яркий свет солнца (Золя); Нация умирает, когда дух справедливости и истины уходит от нее (Польян). Приверженность истине – основное условие душевного комфорта человека: Не только сама истина дает уверенность, но и одно искание ее дает покой (Паскаль).

Однако поведение и отношение людей накладывают ограничения на возможности истины: *Истина – факел, горящий в тумане, но не разгоняющий его (Вольтер). Также не может быть решен спор между насилием и истиной: Никакое насилие не может ослабить истину, оно лишь способствует ее возвышению. Никакой свет истины не способен остановить насилие, он может лишь разжечь его еще больше (Паскаль).*

3. Истина и время. Здесь отмечается ряд аспектов. Истина обладает вечностью: *Истина существует вечно (Паскаль); Сила истины в том, что она длится (египетская пословица). Истина развивается и проявляется со временем: Истина и утро становятся светом со временем (эфиопская пословица). Время работает на истину: Истина – дочь времени (Авл Геллий); Истина может ждать, так как у нее впереди долгая жизнь (Шопенгауэр); Время точит заблуждение и полирует истину (де Леви).* Но вечность истины, ее долгая жизнь имеют и отрицательную сторону: она может не проявляться в нужный момент, может запаздывать. Это выражено в известной русской пословице: *Бог правду видит, да не скоро скажет.* Польский автор М. Яструн пишет: *Должна ли истина быть вдовой времени?*, т.е. данная истина нередко объявляется тогда, когда время уже ушло.

4. Истина и нравственность. Человеческое общество живет преимущественно в обстановке догм, устарелых традиций, неискренности. Истина нарушает привычные установления и мнения и часто нежелательна: *Как ни редко встречается истина, предположение всегда превышает спрос (Г. Шоу); У старого заблуждения больше друзей, чем у новой истины (датская пословица).* Истина изображается как нечто, причиняющее боль, неприятное ощущение. Ее сравнивают с кинжалом, с острым ножом – *"правда глаза колет"* и т.п.: *Нет ничего более горького, чем истина (еврейская пословица); Истина для ушей – то же, что дым для глаз и укус для зубов (немецкая пословица); Нет истины и розы без шипов (английская пословица); Истина всегда бесстыдна (Стриндберг).* Даже если истина – свет, то это свет ослепляющий, непереносимый: *Истина, как и свет, ослепляет (Камю); Истина подобна солнцу: она позволяет видеть все, но не дает смотреть на себя (Гюго).* Люди не выносят истины: *Кто хочет высказать истину, находит двери закрытыми (датская пословица); Истина порождает ненависть (Теренций).* Не всегда следует говорить правду (истину): *Истина не всегда выигрывает от того, что показывает свое лицо (Пиндар); Не всякую истину следует говорить (Бомарше).* Говорить истину подчас опасно: *Кто говорит правду, должен держать ногу в стремях (турецкая пословица); У истины расцарапано лицо (английская пословица); Светоч истины часто обжигает руку того, кто его несет (Буаст).* Лучше всего не говорить истины: *У мудреца два языка – один, чтобы говорить истину, другой – чтобы говорить то,*

что уместно (Еврипид). Нормальный человек не станет "резать правду-матку": *Трое говорят истину: дураки, дети и пьяные* (немецкая пословица). Итак, истина обращается против человека, высказавшего ее, и только социально неполноценные лица могут рискнуть сказать правду. Как же в таком случае пропагандировать истину? К. Чапек предлагает такой рецепт: *Истину нужно продвигать контрабандой, ее нужно распространять обрывками, капля здесь, капля там, чтобы люди к ней привыкли. Но только не сразу, не единым ударом.*

Как все же люди воспринимают истину, когда она высказывается? Здесь возможны разные варианты. Прежде всего, непривычная истина шокирует: *Люди так мало привыкли к правде, что малейшая истина, даже плоско изложенная, начинает походить на наглость* (Вандерем). Или ее принимают за ложь: *Если вы хотите, чтобы вас сочли лжецом, говорите всегда правду* (С.С. Смят). И наконец, новую истину стараются дискредитировать, объявляя ее известной: *Когда открывается новая, поразительная истина, люди сперва говорят: "это неправда", потом: "это противоречит религии" и наконец: "это старая истина"* (Лайель). В заключение этого раздела отметим, что истина способна вызывать и положительные реакции: *Истина никогда не бывает безотрадной* (Ранке). Истина воспринимается в динамике: поначалу она отвергается, но со временем она становится приемлемой: *Истина подобна помету гиены: свежая – она черная, потом она светлеет* (пословица бамбара).

5. Прагматика истины. Хотя некоторые великие умы говорили, что ради истины достойно принять смерть, в обыденной жизни люди более прагматичны и склонны предпочитать полезную ложь бесполезной истине: *Я люблю истину. Я думаю, что человечество нуждается в ней; но оно нуждается еще больше во лжи* (Франс); *Истина – величайшая драгоценность; ее нужно экономить* (Твен); *Человек пользуется истиной, пока она ему нужна* (Гете). Неразумным людям она вообще не нужна: *Истина для глупцов – то же, что факел среди тумана: он светится, не разгоняя его* (Буаст). С истиной следует обращаться осторожно: *Если бы у меня рука была полна истинами, я бы поостерегся ее открыть* (Фонтенель). Истина может принести вред: *Лучше ложь, приносящая добро, чем истина, несущая зло* (персидская пословица); *Если говорить правду, можно проиграть свою игру* (французская пословица); *Кто громко говорит правду, тот рискует остаться без приюта* (скандинавская пословица); *С правдой можно пойти далеко, даже в тюрьму* (польская пословица). И вообще: *От истины не насыщаешься, от лжи – не задыхаешься* (польская пословица). Поэтому: *Истина – собака, которую отправляют на псарню, ложь имеет право устраиваться у очага* (Шекспир). Но все же истина опасна не абсолютно: *Истина, хотя она и горькая, проглатывается* (испанская пословица); *Никто не умирает нынче от смертельных истин: есть слишком много противоядий* (Нвцше). Истина в конце концов оказывается полезней лжи: *С ложью можно уйти далеко, но без надежды вернуться* (еврейская пословица).

6. Истина и свобода. Эти понятия взаимообусловлены: *Где истина не свободна, там свобода не истинна* (Превьер). Истина – условие свободы, путь к свободе: *И познаете истину, и истина сделает вас свободными* (Иоан. 8, 32). С другой стороны, свобода – условие существования истины, которая может проявляться полностью только в условиях свободы. *Раб не имеет права высказать истину, если она не по вкусу его хозяевам* (Еврипид). В условиях свободы истина торжествует: *Когда истина свободна и заблуждение – тоже, то побеждает не заблуждение* (Мартен дю Гар).

7. Качества истины. Истину следует отличать от правдоподобия: *Правдоподобие – самый большой враг истины* (Серже); *Настоящая истина невероятна* (Достоевский); *Истина не приносит столько добра, сколько ее видимость приносит зла* (Ларошфуко). Истина должна быть полной: *Если в книге 80% правды, значит, она на 100% лжива* (Ростан). Истина сохраняет свои качества лишь при наличии меры: *У истины, как и у религии, два врага: слишком много и слишком мало* (Батлер).

Выше отмечалось, что истина едина и вечна. Однако не все авторы согласны с этим, они подчеркивают относительный характер истины. Относительность может быть индивидуальной, зависеть от точки зрения: *Истина калейдоскопична и изменяется согласно той точке зрения, с которой на нее смотрят* (Милль); *Если была бы только одна истина, невозможно было бы написать 100 картин на один и тот же сюжет* (Пикассо). Но вместе с тем эти различные истины объединяются общей "гиперистиной": *Истины, которые кажутся нам различными, подобны бесчисленным листьям, которые представляются разными на одном и том же дереве* (Ганди).

Временная относительность: *У истин нет Мафусаилова века*. Истина нормальной комплекции живет обычно 17, 18, от силы 20 лет, редко больше (Ибсен). **Пространственная и этническая:** *Какую истину ограничивают эти горы? И какая ложь существует по ту сторону гор?* (Монтень); *Истина по эту сторону Пиренеев – заблуждение по ту* (Паскаль). Истина по-разному соединяется с ложью: *Истина у всех народов одна и та же, но у всякого народа есть своя особая ложь, которую он именует своими идеалами* (Ромен Роллан). В определенном контексте истина становится ложью: *Политика – последовательность следствий: всякая изолированная истина превращается в ложь в социальном аспекте* (Фьеве).

8. Выражение истины. Основной вопрос здесь – проблема "нагой истины": следует ли истину смягчать, приукрашивать или нет. Нередко подчеркивается необходимость или целесообразность определенной словесной упаковки истины, умения "истину царям с улыбкой говорить": *Истину нужно показывать не голой, а в рубашке* (испанская пословица); *Бывают обстоятельства, когда истина не должна показываться с открытым лицом* (Пиндар); *Правду надо говорить с шуткой* (армянская пословица); *Когда ты бросаешь стрелу истины, намочи ее острие в меде* (арабская

пословица). Если истину нельзя приукрасить, ее надо представить хотя бы в выгодном свете: *Истину, как и драгоценность, не нужно приукрашивать, но ее следует располагать так, чтобы она была выгодно освещена* (Сантаяна). Однако не меньше голосов раздается и против приукрашивания истины: *Нагота – лучшее украшение истины* (М. Фуллер); *Единственная вещь, которую нельзя украсить, не убивая ее, это истина* (Ростан). Украшение истины вызвано тем, что люди не в состоянии выдержать ее: *Ясно понятая истина не может больше быть изложена искренне* (Пруст).

Ясность и простота – достоинства истины: *Слова истины просты* (Эсхил); *Если хотите избавиться от истины, задушите ее словами* (Гете). Но простота и ясность могут обернуться против истины: *Истина часто бывает настолько проста, что в нее не верят* (Левальд); *Слишком ясная истина вскоре перестает быть плодотворной* (Лебон). Истину следует преподносить спокойно: *Истина часто страдает больше от одержимости своих сторонников, чем от аргументов своих противников* (Пенн).

9. Истина и деятельность. Истина должна быть основой деятельности человека: *Наивысшее почтение к истине выражается в ее применении* (Эмерсон). Истина страдает прежде всего от бездействия: *Не заблуждение противится прогрессу истины, а вялость, упорство, дух рутины – все, что ведет к бездействию* (Тьюрго).

В прагматических целях человек склонен **и с к а ж а т ь** истину в своих интересах и оценивать ее по практическим результатам: *Истина – то, что ведет к цели* (Калейб); *Успех – знак истины* (Моррас); *Никогда не изменяй правде, изменяй правду* (Лец). Искажение истины недопустимо: *Человек должен переделывать себя ради истины, истина же не может переделываться в угоду человеку. Единственное, что я требую от политиков, это то, чтобы они ограничились изменением мира без изменения истины* (Польян).

10. Поиски истины. Это – важнейшая задача, стоящая перед человеком, смысл его жизни. Поиск истины даже важнее самой истины: *Истина состоит в том, чтобы всегда искать истину* (Роллан); *В стремлении к истине главная суть заключается не в том, чтобы найти ее, а в том, чтобы ее искать* (Нордау); Человек заслуживает поощрения, даже если его поиски истины оказались безрезультатными или сопровождались ошибками: *Можно требовать, чтобы я искал истину, но не то, чтобы я нашел ее* (Дидро); *Желание постичь истину – заслуга даже тогда, когда на пути к ней заблуждаются* (Лихтенберг). Поиски истины связаны с личным участием искателя: *Истина устремляется лишь навстречу тому, кто ищет* (Минуций); *Не думай, что истина может быть обнаружена кем-то другим* (Жид); *Истина внутри нас, она не приходит извне* (Браунинг). Поиск истины – сложное дело, поскольку истина неочевидна: *Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один* (Руссо); *Истинное слишком просто: идти к нему надо всегда через сложное* (Ж. Санд); *Именно самые простые истины человек постигает позже всего* (Фейербах).

Истина ощущается как нечто, лежащее внизу, в глубине, с к р ы т о е от чужих взоров: *Легче обнаружить заблуждение, чем найти истину; заблуждение лежит на поверхности, истина – в глубине* (Гете). Истина *лежит на дне колодца* (греческая пословица). Эта пословица дала производные с дополнительными значениями: *Истина – не красавица, спрятанная на дне колодца, но робкая птица, которую можно поймать только хитростью* (Дж. Конрад); *Истина – дама, которую охотно опускают на дно колодца после того, как ее вытащили оттуда* (Дарк).

Поскольку истина часто связана с открытием тяжелых сторон жизни, то ее постижению способствует переживание, страдание: *Каждая слеза открывает смертному какую-либо истину* (Фосколо). Истина – редкость, она тонет среди заблуждений: *Заблуждение – это правило, истина есть случайное порождение заблуждения* (Дюамель). Поэтому: *То, что мы называем истиной, есть лишь устранение заблуждений* (Клемансо).

Средство достижения истины – о б с у ж д е н и е: *В спорах рождается истина* (французская пословица); *Спор – решето истины* (Гуаццо). Но в споре следует соблюдать меру: *В излишних спорах теряется истина* (Публий Сир). Ожесточение мешает истине: *Будь другом истины до мученичества, но не будь ее защитником до нетерпимости* (Пифагор).

11. Истина и не-истина. Существует три типа не-истины: ложь, заблуждение, фантазия (утопия, фикция, искусство).

Соотношение между истиной и не-истиной сложно. Отмечается как полнота этих явлений, так и отсутствие жестких границ между ними.

Истина объективна и абсолютна: *Истина существует, изобретают только ложь* (Брак); *Рождается новый Бог. Другие умирают. Истина ни пришла, ни ушла. Только заблуждение изменилось* (Пессоа).

Однако: *Один волосок отделяет истину от лжи* (персидская пословица). Нередко им дают сходные характеристики: *У истины один цвет, у лжи много* (санскритская пословица); *У истины – много лиц, у лжи – только одно* (Шеаде). Различить их нелегко: *Бывает ложная истина и правдивая ложь* (английская пословица); *Во всяком заблуждении есть зерно истины, так же как и во всякой истине есть зерно заблуждения* (Рюккерт). Истина и ложь могут "работать" друг на друга. Зерна истины делают заблуждение более опасным: *Заблуждение тем опаснее, чем больше истины оно содержит в себе* (Амьель); *Лжи не было бы, если бы истина не делала ее правдоподобной* (арабская пословица). В то же время не-истина, гиперболизируя какие-то черты истины, может сделать ее более ощутимой: *Истина, как свет, ослепляет. Напротив, ложь – прекрасные сумерки, которые подчеркивают каждый предмет* (Камю).

Истина может происходить от заблуждения, и заблуждение – от истины. Последнее имеет место при злоупотреблении истиной или ее несвоевременности: *Много заблуждений рождается от злоупотреблений истиной* (Вольтер); *Нередко заблуждение – та же истина, которой, однако, не дали созреть* (Ж. Ромэн); *Утопии часто оказываются лишь преждевременно высказанными истинами* (Ламартин).

Вместе с тем заблуждение может способствовать появлению истины: *Лгите, чтобы найти правду* (испанская пословица); *Шуба истины имеет подкладку из лжи* (датская пословица); *Утраченные иллюзии суть обретенные истины* (Мультатули).

Заблуждение со временем может стать истиной: *Судьба новой истины такова: в начале своего существования она всегда кажется ересью* (О. Гексли); *Все великие истины поначалу являются святотатством* (Дж.Б. Шоу). Фантазия может способствовать принятию истины: *У нас есть искусство, чтобы не умереть от истины* (Ницше).

12. Критерий истины. Прямое (словарное) определение истины – соответствие нашего представления действительности не может дать окончательного ответа на наш вопрос, поскольку, согласно закону дополнительности, возможен ряд индивидуальных отражений, соотносящихся с одной и той же реальностью.

В Евангелии от Иоанна читаем: *Иисус отвечал: ...Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина?* (Иоан. 18, 37–38). Вопрос Пилата вызван, по-видимому, тем, что, как римлянин, он желал бы услышать прямое, даже юридическое, определение истины, тогда как Христос дал относительное определение в соответствии со своим учением. Его высказывание выражает причинно-следственное отношение: "тот, кто придерживается истины, является последователем Христа". Но такое отношение может быть представлено в виде предложения тождества: "Носители истины – последователи Христа". Любое же предложение тождества может подвергаться обратимости без изменения семантических отношений, но с изменением тема-рематической структуры, что не всегда осознается: "Последователи Христа – носители истины". В таком случае единственным критерием истины оказывается приверженность к определенному лицу, имя которого выступает как знак, этикетка истины. Такую эволюцию прodelывает понимание истины во многих доктринах: религиозных, научных, политических. Имя руководителя и его высказывания становятся при этом единственным критерием истинности, истина получает не содержательное, а относительное определение. Оказывается более истинным не то, что сказано, а кем сказано. Может быть, в свете этого и следует понимать слова одного из персонажей Достоевского: *Если истина вне Христа, то я бы согласился лучше остаться с Христом, чем с истиной*, хотя к подлинному учению Христа это не относится, поскольку: *Истина – приказ не командира, но разума* (Чапек). Постоянно существует возможность субъективизации истины, когда она ставится в зависимость от отдельного человека, будь то какой-либо авторитет или сам данный индивидуум. В связи с этим и возникает предостережение: *Мы не можем отдать истину человеку, который хочет решить, как она должна выглядеть* (Бьерлинг). В таком случае оказывается, что истина – это то, что мы считаем истиной, и можно прийти к пессимистическому выводу: *Истина состоит в том, что нет истины* (Неруда).

"ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ"

Для указания на соответствие между содержанием речи и действительностью в русском языке существуют слова *правда* и *истина* (vs. *ложь*). Точно так же при оценке жизни человека и его поступков отрицательному термину *зло* противопоставлены два положительных – *добро* и *благо*; ср.: *На зло нужно отвечать добром; Способность забывать – это зло или благо?*

На первый взгляд кажется, что пара *добро–благо* сродни паре *правда–истина*. В обоих случаях первое слово является стилистически нейтральным, а второе – слегка книжным; можно предположить, что и семантически первый член каждой пары воплощает наивно-житейский вариант соответствующего концепта, а второй – его абсолютизированный вариант.

Однако в действительности смысловые противопоставления в парах устроены совершенно по-разному (см. [1] с дальнейшей библиографией, [2]).

Как известно, *правда* индивидуальна, относительна и множественна (*У каждого своя правда; От вчерашних правд // В доме смрад и хлам* (М. Цветаева) и т.п.), а *истина* абсолютна [1]. *Правда* не перестает быть *правдой* из-за того, что по тому же поводу существует *другая, третья* и т.д. *правда*. *Истина* же для каждого случая только одна, а если их две, то, значит, по крайней мере одна из них ненастоящая.

С этой точки зрения вторая пара устроена зеркально. *Добро* абсолютно, а *благо* относительно.

Добро признается таковым по сути своей, а не относительно того или другого человека: в современном языке невозможно **добро для него, *его добро*. Ср. устаревший пример: *Ревнуя к общему добру* (А. Пушкин). *Благо* же, напротив, всегда кому-то "адресовано", ср.: *его благо, общее благо; Да и куда пошел бы теперь доктор? Ради его собственного блага нельзя его сейчас отпускать никуда одного* (Б. Пастернак). Ср. также: *Такая женщина – требовательная и насмешливая – благо для него*. И то, что для одного человека будет *благом*, для другого может оказаться *злом*.

Благо в отличие от *добра* привязано также к ситуации. Это не всегда то, что действительно хорошо, а часто то, что в данном случае лучше, даже если само по себе это и плохо. Ср.: *Развод в этой ситуации – благо* (ср.: *зло*, но не **добро*); *В этом случае благом будет меньшее зло; Ты – благо гибельного шага, // Когда житье тошней недуга* (Б. Пастернак); *И когда разгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы* (Он же).

В современном языке невозможно говорить о *благ*е вообще, безотносительно к конкретному случаю, ср. устаревшие примеры: *Негодование, сожаленье, // Ко благу чистая любовь* (А. Пушкин); *...для души // Высокой и ко благу страстной* (Ф. Тютчев). Ср. также современный стилизованный пример: *Я выпил, оттаял и стал сентиментальным. Мне захотелось плакать от тепла, печного и человеческого, от раскаяния в дурном и алкания блага* (Воспоминания о Вен. Ерофееве – И. Авдиев. Память минувшего). О добре же очень часто говорят вообще, как о таком, хотя оно противится обобщению и рационализации. Ср.: *Кающийся грешник хотя бы на словах разделяет добро и зло* (С. Довлатов); *Никакое конкретное частное определение морального поступка из общей формулы добра получить невозможно. Такой формулы просто не существует* (М. Мамардашвили).

В своем релятивизме *благо* аналогично *правде*, и это сближает их со *справедливостью* и *пользой* – временными, конъюнктурными ценностями. Поэтому *поиск правды* и *действия ради общего блага* могут быть агрессивны и опасны для других людей. «Правда превращает "борьбу против" в "борьбу за", а своих врагов – во врагов правды. Истине служат жрецы религии и науки, правде – борцы и защитники угнетенных. Истина требует жертвы собой, правде приносят в жертву себя и других» [1, 27]. *Общее благо (благо народа, государства, родины, всех людей, а также знаменитое благо человека)* тоже часто становится знаменем диктаторов. Об этом говорится в четверостишии И. Губермана: *Во благо классу-гегемону, // чтоб неослабно правил он, // во всякий миг доступен шмону // отдельно взятый гегемон*. Вообще слово *благо* активно используется в языке политики, которая оперирует относительными ценностями, хотя часто пытается выдать их за абсолютные. Ср.: *Чего хотим мы? Блага, счастья России. Достижение новой жизни, жизни лучшей, без жертв невозможно потому, что у нас нет времени медлить – нам нужна быстрая и скорая реформа* (А. Солженицын); *Мир на Ближнем и Среднем Востоке – это благо для всех* (М. Горбачев).

В основе представлений о *добре* и *истине* лежит ориентация на иную ценностную шкалу, на иного субъекта оценки, чем у представлений о *благ*е и *правде*. *Правда* и *благо* связаны с человеческим судом, с точкой зрения людей вообще или даже отдельного человека. *Истина* и *добро* воплощают высшую, божественную точку зрения на мир. Наряду с *красотой* они являют собой абсолюты бытия и образуют краеугольные камни почти любого мировоззрения. Представление об *истине* составляет основу рационального постижения жизни, идея *добра* лежит в основе морали, а идея *красоты* – в основе эстетики.

Однако на эти слова можно посмотреть и под иным углом зрения. С другой стороны, *правда* в отличие от *истины* связана не столько с соответствием высказывания действительности, сколько с искренностью, т.е. с намерениями человека. Конечно, можно *случайно сказать правду* (Вот

так *вредишь, вредишь, да ненароком и правду совершишь*), но это крайне нетипичный контекст употребления данного слова. Об искренне заблуждающемся человеке обычно не говорят, что он *искажил правду*. При этом *погрешить против истины* в равной степени можно и злонамеренно, и по ошибке.

С намерениями связано и *добро*, тогда как *благом* может оказаться и то, что сделано не из добрых побуждений. Идея *добра* опирается на непосредственное нравственное ощущение, ср.: *А для того, чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные и которое велико тем, что делает малое* (Б. Пастернак). Можно сказать *творил добро*, *сам того не замечая*, но это не означает, что нечто было сделано случайно, без доброго намерения. Это будет значить, что желание сделать что-то хорошее другому человеку настолько естественно для кого-то, что он просто не придает значения своим многочисленным добрым делам. Подобно тому как *правда* связана с *правдивостью*, *добро* ассоциируется с *добротой*. Можно сказать: *Этот человек просто излучает добро*. Сочетание **делать себе добро* парадоксально, поскольку *добро*, как и *правда*, всегда связано с отношением к другому человеку (ср. при этом нормальное *действовать себе во благо*).

Добро всегда творит человек, а *благом* может быть нечто, не имеющее отношения к деятельности человека, ср.: *Пожар оказался благом для него: в результате стресса к нему вернулась память*. В этом отношении *добро* также аналогично *правде*, которая всегда говорится человеком человеку о человеческих делах, ср. невозможность **правды об атомах и молекулах* [1, 26]. *Истина* же затрагивает любые области мироздания.

Добро уже есть, присутствует в человеке, и он только открывает его в себе. Поэтому *добро* скорее статично, и оно в каком-то смысле не создается, а обнаруживается, тогда как *благо* динамично и устремлено в будущее, никогда не существует, а всегда осуществляется. Поэтому *благо* так часто выступает в контекстах целеполагания, хорошо сочетается с целевыми предложениями и само образует предложные сочетания *на благо* и *во благо* с целевым или бенефактивным значением. Когда человек *делает, творит добро*, это значит, что он переносит то *добро*, которое в нем есть, вовне, в мир. Точно так же и тот, кто *ищет правду, добивается правды*, на самом деле хочет внести свою, внутреннюю *правду* в мир, в жизнь.

Благо, как и *истина*, — оценка объективного положения дел, его интерпретация: *Я, признаться, в этом переселении не вижу большого блага* (Л. Гинзбург). Поэтому если *добро* обычно не используется в контексте таких слов, как *оказаться, считаться* и т.п., то для *блага* подобные употребления типичны. С другой стороны, если речь идет о поступках человека, то говорят *делать добро, творить добро*, потому что *добро* заключено в самом поступке человека, в его побуждениях. Нельзя в сов-

ременном языке сказать **делать благо*, **творить благо*, так как *благом* может считаться не сам поступок, а то положение дел, которое объективно сложилось в результате. Ср. устаревший пример: *Удались от зла и сотвори благо*, – говорил поп попадье (А. Пушкин).

Если индикатор *правды* и *добра* внутри человека, то *истина* и *благо* – вне его. Поэтому они могут ассоциироваться с чем-то холодным и враждебным человеку. Человека могут побуждать *ради его же блага* или *ради истины* сделать то, что противно его душе. А *добро* и *правда* всегда в гармонии с человеческой природой.

Таким образом, по признаку "абсолютность/относительность" *истина* и *добро* противопоставлены *правде* и *благу*, а по признаку локализации внутри человека или вне его *правда* объединяется с *добром*, а *истина* – с *благом*. Получается, что для разума гарантией абсолютности является внеположенность человеку, объективность, а для души, наоборот, гарантий абсолютности может быть только максимальная субъективность, ибо нравственный закон, как говорит Кант, внутри нас.

Интересно, что если статичность *добра* связана с тем, что оно внутри человека с его не ошибающимися сердцем и совестью, то аналогичная статичность *истины* определяется ее положением как раз вне пристрастного и заблуждающегося человека.

Важен также вопрос об иерархии ценностей. И здесь пары тоже не симметричны. В паре *добро–благо* очевидным образом более высокой ценностью является *добро*, представление о котором образует основу морали, тогда как *благо* имеет утилитарный оттенок и не является достоянием этики. А в паре *правда–истина* вопрос об иерархии не решается столь однозначно. *Истина* – это высшая эпистемическая ценность. Однако *правда* иногда бывает важнее *истины*, поскольку часто человек ценит живое движение души выше, чем любое торжество интеллекта.

Семантическая поляризация и в паре *правда–истина*, и особенно в паре *добро–благо* (здесь степень этой поляризации такова, что синонимы практически ни в каких контекстах не взаимозаменяемы), – достижение в основном последних полутора веков. Раньше различие между членами пар было в основном стилистическим, прагматическим и т.п. Можно сказать, что прямо на наших глазах осуществилось языковое оформление важнейших культурных концептов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.

2. Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В. Новый толковый словарь синонимов русского языка: Материалы. М., 1994.

ТИМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ И ИХ ВЫРАЖЕНИЕ В ЦЕЛЯХ УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ОТ ИСТИНЫ УМАЛЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ

Известно, что все основные элементы Универсума осваиваются человеческим сознанием через соотнесение с определенной (а к с и о л о г и ч е с к о й) системой ценностей, обуславливающей их положительную или отрицательную оценки, которые получают множественную интерпретацию по нравственно-этическим ("добро/благо – зло"), эстетическим ("прекрасное – безобразное") и утилитарно-прагматическим критериям.

1.0. Существует, однако, и иная система ценностей и оценок, которые оказываются по с ю с т о р о н у "Добра и Зла". Переводя аксиологическую ось, традиционно трактуемую языком и сознанием в пространственных координатах как вертикаль ("Добро/Верх – Зло/Низ"), в р а н - г о в у ю горизонталь, они объединяют на этом – новом верхнем – уровне все то, что важно, значительно, серьезно; чем нельзя пренебречь; мимо чего нельзя проходить; о чем нельзя не думать и не говорить и о чем нельзя думать легко и говорить шутя, т.е. все то, что, по слову Плотина о философии, можно назвать τὸ τίμιόν τε καὶ τιμιώτατον – "самое важное, ценное и значительное".

2.0. Этому τίμιόν τε καὶ τιμιώτατον – на этом новом нижнем уровне – противопоставлено все то, что неважно, несущественно, несерьезно; чему не следует придавать значения; мимо чего можно пройти; на что не нужно обращать внимание; о чем можно не думать и не говорить или не следует думать и говорить, т.е. все то, о чем можно сказать – *пустое (пустяк, пустяки), мелочь (мелочи), ерунда, чепуха, вздор*.

3.0. Таким образом, нам открывается если и не универсальный, то, во всяком случае, не уступающий аксиологическому по объему, широте охвата и значимости, – т и м и о л о г и ч е с к и й принцип членения, ранжирования, или стратификации, элементов мира. Именно такое членение отражено в поговорке *Делу время – потехе час*, где Дело, которому **Время**, и **Время**, которое для Дела, принадлежат верхнему уровню (Т-рангу), тогда как **потеха**, которой **час**, и **час**, который отдан **потехе**, – элементы нижнего уровня (т-ранга).

3.1. Тимиологическое ранжирование элементов мира, как и аксиологическое их членение, представляет собой совокупность традиционных, сложившихся (хотя и исторически развивающихся и изменяющихся), закрепленных в национальном и общественном сознании, национальной культуре и психологии ценностных установок, предпочтений и оценок, получающих отражение и выражение в языке.

3.2. Так, по языковым (именно языковым!) свидетельствам, для русского национального сознания фундаментальная т-/Т-ранговая тимиологическая оппозиция «несущественного, незначительного, неважного, несерьезного, "пренебрежимого" – Существенно важному, значительному,

серьезному» оказывается интегралом, который охватывает открытое множество таких частных оппозиций, как "явление – Сущность", "внешнее – Внутреннее", "форма – Содержание", "случайное – Закономерное", "преходящее – Вечное", "временное – Постоянное", "ирреальное – Реальное", "искусственное – Подлинное", "частное – Общее", "единичное – Массовое", "второстепенное – Основное", "количественно малое (*quantité negligible*) – Количественно значительное" и мн.др. За каждым из таких двучленов стоит большее или меньшее количество языковых единиц – носителей соответствующих значений, а все вместе они охватывают значительную часть русской лексики, объединяющую слова, принадлежащие к различным лексическим и тематическим группам, к различным семантическим полям и представляющие все основные части речи.

Выделение из этого лексического массива т-слов нижнего тимиологического ранга и признание их особой категориальной группой основывается на том, что объединяющая их и входящая в структуру их значений тимиологическая составляющая может получать в определенных текстовых условиях и в определенных типах высказываний материальное воплощение. Эту эксплицирующую функцию обычно выполняет местоименное по происхождению слово *так*, являющееся специализированным знаком – универсальным маркером т-ранговой принадлежности и т-оценки. Ср.: А кто он? *Так, пылинка, исторический "фон"*; То, что он написал, это не отчет, а *так, отписка*; Ну какой я писатель! Это *так, проба пера*; Это и не мультипликация, а киноапликация. *Так, простенькая*; Ты бы ей платьишко купила какое. *Так, дешевенькое*; Один и серьезно говорит, а все кажется, что он это *так, шутит*; Не обращай внимания, он это *так, притворяется*; А был ли он там? Может, мне *так, померещилось?*; – А ты почему не идешь? – Почему? *Так, не хочу*; – А зачем тебе туда ехать? – *Так, вздумалось...*

Приведенным только что случаям с приглагольным *так*, используемым, как и в приименном употреблении, со специфической интонацией, паузирвкой и акцентным выделением маркируемого глагола (*та́к* || *померещилось*; *та́к* || *вздумалось*), который называет т-действие (*шутить, притворяться, померещиться, вздуматься, не хотеть*!), противопоставлены случаи другого рода, где неакцентированный глагол называет т-нейтральное действие и где не отделяемое паузой *так* не эксплицирует, а вносит т-оценочное значение, поскольку берет на себя функцию т-мотиватора и, характеризуя действие как не имеющее достаточно серьезного причинно-целевого обоснования, низводит его в т-ранг: – Нет, нет, ничего... Это я *так* спросил... (М.В. Авдеев) – *та́к* *спросил* 'спросил, не подумав, без всякой причины, цели и намерения, без всякой задней мысли, и вы, пожалуйста, не сердитесь, не обижайтесь, не придавайте этому серьезного значения'. Ср. показательные противительные обороты типа *не ради какой-то цели, а так, чтобы развлечься; не почему-нибудь, а так, по привычке*, откуда следует, что **развлечение** – это т-цель, т.е. цель, которая недостаточно серьезна, чтобы считать ее целью, как и **привычка** – это т-причина, т.е. причина, которая недостаточно серьезна,

чтобы считать ее причиной. Это, в свою очередь, значит, что **причина** и **цель** на самом деле единицы Т-ранга, т.е. **Причина** и **Цель**, и притом непереводимые на нижний т-уровень. Ср. **повод**, который *так*, *повод*. Круг причинных и целевых наречий и наречных сочетаний, употребляемых в русском языке рядом с *так*, чрезвычайно широк (ср. *для виду*, *для видимости*, *для блезиру*, *для галочки*, *для забавы*, *для красного словца*, *для мебели*, *для отвлечения*, *для отвода глаз*, *для памяти*, *для подначки*, *для проформы*, *для смеху*, *для шика*, на [всякий пожарный] *случай*, *от нечего делать...*), и многие из них представляют исключительный интерес, поскольку могут способствовать хотя бы частичному проникновению в тайны народного миропонимания и загадочной "русской души". Ср. особенно: *так, для души* (не **для духа!*); *так, для красы* (не **для красоты!*); *так, для порядка*; *так, для себя*; *так, для страха*; *так, для удовольствия* (не **для радости!*) и т.д., которые с "русской точки зрения" все – т-цели, т.е. "недоцели" и поэтому стоят и должны приниматься в расчет не больше, чем какие-нибудь *для потехи* и *от нечего делать*.

4.0. Легко показать, что *так*-маркирование, поскольку оно отражает представления носителей языка о ранговом положении элементов мира в их соотношении с тимиологической ценностной шкалой, может осуществляться только в условиях диалога, когда обнаруживаются расхождения собеседников в т-представлениях и оценках и возникает потребность в приведении их к единству. Поэтому *так* в качестве т-маркера обычно используется в репликах-ответах и лишь в отдельных случаях – с целью предвосхищающей коррекции ожидаемой реакции собеседника – в прямом слове субъекта речи. Обращение говорящим *так*-высказываний к самому себе при внутреннем диалоге используется в целях самоопровергающей коррекции, для самоуспокоения, легко приводящего к самообману, или в малодушном порыве самоумаления, которое может обернуться самоуничтожением. Ср.: ...он находил забавным себя же опровергать: все это *так*, *пустяки*, *тени пустяков* (В. Набоков); – Фу, как я расхотелся! – сказал он сам себе. – *Ведь все еще, может быть, ничего, и я просто ее не понял, и это все только так, случайность...* (Ю. Жадовская); "*Ах, мне ли упрекать ее!.. И кто я ей, собственно говоря? Так, случайный знакомый...*" (В. Голубев).

В обычном диалоге *так*-маркирование, представляя предмет обсуждения незначительным, мелким, ничего не стоящим (*ничего* – частый спутник *так*: – *Это так, ничего; Ничего, это так...*) и не заслуживающим внимания, позволяет говорящему: 1) замять нежелательный разговор и уйти от ответа на неприятный для него вопрос: – *Ты что задумался? – Нет, ничего... Это я так...* (В. Слепцов); 2) мягко отвести адресованные ему похвалы, проявляя действительную или кокетливо-показную скромность: – *М-сье Пьер, пожалуйста, покажите ему ваш фокус! – Ах, стоит ли... Это так, пустое...* – заскромничал он (В. Набоков); 3) снять обоснованные или необоснованные подозрения, обвинения и упреки на

свой или чей-нибудь счет: — *Господи! Да ничего он мне не говорил... Мы и виделись-то так, мельком* (М. Ганина); 4) рассеять тревоги и опасения собеседника и успокоить его: — *Нет, ведь это так...* — сказала она кротко и нежно, — *женщины плачут легко, чему тут огорчаться* (Ю. Жадовская) и др.

Особый интерес представляют те, достаточно часто складывающиеся, ситуации, когда говорящий обнаруживает, что собственной силы маркера так недостаточно, чтобы помочь собеседнику (или заставить его) увидеть вещи в их истинном, как он это себе представляет, т-масштабе и осознать их действительную, как он ее понимает, т-ценность. Тогда, чтобы утвердить т-истину, которой он, по его убеждению, владеет, он использует — в качестве инструмента логического давления на чужое заблуждающееся сознание — открытое Т — т-ранговое противопоставление: *Это не преступление, а так, мелкий проступок.*

Если же броня противостоящего сознания не уступает и этому, то в дело вводятся силы ближнего боя: категорические констатации (*Это не стоит/не заслуживает внимания*), непререкаемые "учительные" рекомендации (*Этому не следует придавать значение*), апробированные заключения народной мудрости (*Всё это яйца выеденного не стоит*), прямые обращения-императивы (*Не обращайтесь внимания!; Пропускайте мимо ушей!; Смотрите на это сквозь пальцы!; Не бер. те в голову!*) и их антифразисные и иные экспрессивные иронически окрашенные варианты (*Есть о чем думать!; Было бы о чем думать!; Нашел о чем говорить!*) и др. Ироническая экспрессия этого эскорта распространяется и на центр так-высказывания, пробуждая в рациональной структуре логического противопоставления дремлющую энергию древней фигуры контраста, которая, возрождаясь, обрастает разнообразными дополнительными средствами эмоционально-экспрессивного варьирования. Т-слово собеседника подхватывается, повторяется, переспрашивается, вновь повторяется с иронической или саркастической интонацией, "обвешивается" частицами и вопросительными словами: — *Он что, твой жених? — Жених? Жених! Да что он за жених?! Какой он (там/к черту/к чертям) жених! Тоже жених! Тоже мне жених! Тоже еще жених! Видали мы таких женихов! Нашла жениха! Жених!.. Он не жених, а так, просто знакомый! Да и знакомый-то так, два раза его видела...* Эмоционально-экспрессивное напряжение, владеющее субъектом речи и пронизывающее такого рода контексты, приводит к тому, что сражающийся за установление Т-истины говорящий утрачивает контроль над силой своего воздействия на сознание собеседника и, девальвируя чужое Т, чтобы "опустить его с небес на землю", сам же и промахивается, проваливаясь ниже запланированного т-уровня. Понятно, что чем большей и чем менее оправданной была высота Т, тем большей оказывается сила реактивного давления и тем ниже т-уровень. Так действует механизм "преувеличенного умаления". Ср.: — Мне говорили, что там *прекрасный лес, вековой бор*, а я приехал и нашел *так, жалкий лесишко* (Ф. Крюков), где представлен сходный эффект "обманутого ожидания".

5.0. Так происходит расщепление т-Т-уровней на подуровни (T_1 и T_2 , t_1 и t_2), которые представляют переходы от Верхнего к Высокому и от нижнего к низкому. Уровни с индексом (1) – результат рациональных, имеющих логические основания операций ранжирующего – взвешивающего – распределения. Для элементов t_1 -уровня – это ментальная операция, называемая глаголами *пренебречь*² – "оставить без внимания что-л. как незначашее, несущественное" [2, т. 3, 380] и *игнорировать* – "не принять (не принимать) во внимание что-л. ..." [там же, т. 1, 627]. Уровни с индексом (2) – результат осложнения тимиологии аксиологией. Так, для элементов t_2 -уровня характерно соединение рационального взвешивания с эмоционально-экспрессивной отрицательной оценкой, которая легко захватывает господствующее положение в семантической структуре слова. Тимиологическое у м а л е - н и е - п о н и ж е н и е превращается в п р и н и ж е н и е и у н и - ж е н и е. Это как раз и выражается в глаголе *пренебречь*¹ – "отнестись к кому-, чему-л. с презрением, высокомерно, без уважения" [там же, т. 3, 380]. Так в борьбе за тимиологическую истину, как это обычно и бывает, истину как раз и теряют. Мера в высокомерии – ложна. Поразительно, что именно 'высокомерие' и 'презрение' выдвинулись на передний план в семантике *пренебрежения* и исторически вторичное значение заняло первое место, еще раз подтверждая древнюю мудрость: "низшее сильнее высшего".

И если рациональное пренебрежение (*пренебрежение*² в словаре) естественно оборачивается отстранением (ср. отстраняющее себе в случаях типа *А я сижу себе и ничего не слышу* и обычное в литературном языке начала – середины XIX в. *так себе* в значении т-маркирующего *так* при новом *так себе* с оценочным значением 'неважно'), то экспрессивное пренебрежение (*пренебрежение*¹ в словаре) естественно находит себя в отчуждении. Не случайно, что в контексте *так* в подобных случаях появляется отчуждающее *там* [1].

Понятно, что в отношении этого низшего уровня, уровня высокомерного пренебрежения и отчуждения, об истинности оценок вообще не может быть и речи. Истина добывается трезвым, спокойным умом и "умным" любящим сердцем, а не захлебывающимся от неприязни чувством.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пеньковский А.Б. О семантической категории "чуждости" в русском языке // Проблемы структурной лингвистики 1985–1987 М., 1989.
2. Словарь русского языка. 2-е изд. М., 1981–1984. Т. 1–4.

"БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ", "ЛЮБОВЬ ЕСТЬ БОГ". ОТНОШЕНИЯ ТОЖДЕСТВА – КОНСТАНТА МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ*

I

Термин "отношения тождества" – это лишь условное название для целого класса довольно разнообразных отношений, существующих в действительности, и для целого класса типов предложений, существующего в том или ином наборе в каждом естественном языке. Тем не менее, будучи условным, это название не случайно, поскольку отражает нечто действительно присущее и отношениям, и предложениям, их выражающим.

В класс отношений тождества, или, точнее, "отношений типа тождества", входят отношения, открытые в самых разных науках: в математике – тождество в самом прямом смысле (знак "равняется" – "="); отношения равенства и типа равенства; отношения наличия общей меры (общего множителя и др.), пропорции; отношения параллельности двух прямых; уравнения и каждый отдельный этап в решении уравнения; отношения подобия, симметричности, конгруэнтности и т.д.; в биологии – подведение особи под таксон, вид, род, класс; вообще – классификация; в лингвистике – подведение звукотипа и аллофона под фонему, вообще – отождествление аллофонов как вариантов одной фонемы; соответствующие процедуры в морфологии и грамматике; в логике – определения различных видов; эквивалентности выражений и т.д. Такая важнейшая проблема современной логики, теоретической лингвистики и философии науки, как проблема аналитического и синтетического, также имеет прямое отношение к проблеме тождества, более того – в некотором смысле может рассматриваться как ответвление последней. Это является и лейтмотивом данной статьи.

Обзор некоторых математических понятий, относящихся к этому классу, в философском контексте можно найти в работе С.А. Яновской 1936 г. [16]. Что касается класса предложений тождества, то применительно к русскому языку он описан в работе Н.Д. Арутюновой [2].

Исключительно важную роль играют отношения тождества в морали и этике (вообще в науке о морали). Предложения тождества, в том числе и приведенные в заголовке нашей статьи, часто служат формой того или иного морального принципа, вообще – формой утверждения некоторой истины. (Этим, между прочим, объясняется и появление темы тождества в настоящем сборнике.)

Ярким примером, более чем примером – этапом, соединения и синтеза проблем тождества, истинности, аналитического и синтетического знания с

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 93-06-10941 "Логический анализ языка".

вопросами этики является их сочетание в русской культурной истории в период так называемого русского Возрождения 1910-х годов. Выражением этого стал цикл работ Андрея Белого, объединенных темой символизма. Фрейбургская (или Баденская) школа, пишет А. Белый в "Эмблематике смысла", утверждает в качестве одного из своих теоретических оснований: "Истинное есть ценное" ("Истина есть ценность"). Она объединяет этим суждением, собственно, два суждения – "Истинное есть должное", "Должное есть истинное", откуда следует: "Истинное есть ценное". Но, продолжает Белый, "во-первых, где в приведенном суждении субъект и где предикат? Суждение может быть прочитано и наоборот: ценное есть истинное. Во-вторых, есть ли приведенное суждение суждение синтетическое или суждение аналитическое в кантовском смысле?.." и т.д. [3, 67]. И далее А. Белый разворачивает с помощью этой критики собственную концепцию символизма. Конечно, рассуждение А. Белого не является логическим анализом, но нельзя отрицать, что в своеобразной форме "квазилогического" построения выступает оригинальная философско-этико-эстетическая доктрина.

В чистом виде отношения типа тождества, или просто "тождество", это, конечно, лишь тавтология "А есть А". Поэтому некоторые авторы не считали тождество интересным объектом изучения, особенно Л. Витгенштейн: "Между прочим: сказать о двух предметах, что они тождественны, бессмысленно, а сказать об одном предмете, что он тождествен самому себе, – значит ничего не сказать..." [5, 5.533]. Но такая точка зрения возможна только в абсолютно "синхронной" (в структуралистском смысле) системе, какова система Л. Витгенштейна. Если же система охватывает динамику, "диахронию", процесс, процедуры (в частности, процедуры открытия и доказательства), то тождество – это заключительный этап некоторой предшествующей серии отношений и выражающих их операций. В этом смысле тождество – интереснейший, более того, необходимый объект исследований.

Исторический "пик" этих отношений и операций связан с учением Лейбница, и рассуждение, которое прямо относится к нашей теме, т.е. к отношениям тождества, у Лейбница включено в этическое рассуждение (называемое "отрывком") "О свободе". Оно начинается словами: "С древнейших времен человеческий род мучается над тем, как можно совместить свободу и случайность с целью причинной зависимости и провидением. Исследования христианских авторов о божественной справедливости, стремящейся к спасению человека, еще больше увеличили трудности этой проблемы" [10, 312]. Решение Лейбница, коротко говоря, состоит в следующем. Во всяком истинном суждении, т.е. в суждении, выражающем как необходимую (логическую) истину, так и истину факта (относящуюся к индивидуальной вещи), предикат заранее присутствует в субъекте, поэтому всякое истинное суждение представляет в расчлененной форме субъект и соответствующий ему предикат, т.е. является аналитическим. (Строго говоря, в системе Лейбница синтетических суждений в собственном смысле термина вообще нет.) "Когда я все более сосредоточивал мысль, не давая ей блуждать в тумане трудностей, мне пришла в голову своеобразная аналогия между истинами и пропор-

циями, которая, осветив ярким светом, все удивительным образом разъяснила. Подобно тому как во всякой пропорции меньшее число включается в большее либо равное в равное, так и во всякой истине предикат присутствует в субъекте... Точно так и в анализе истин на место одного термина всегда подставляется равнозначный ему, так что предикат разлагается на те части, которые содержатся в субъекте. Но точно так же, как в пропорциях, анализ когда-то все же исчерпывается и приходит к общей мере, которая своим повторением полностью определяет оба термина пропорции, а иногда анализ может быть продолжен в бесконечность, как бывает при сопоставлении рационального и мнимого числа или стороны и диагонали квадрата, аналогично этому истины иногда бывают доказуемыми, т.е. необходимыми, а иногда – произвольными (*liberae*) либо случайными, которые никаким анализом не могут быть приведены к тождеству, т.е. как бы к общей мере" [там же, 316].

Таким образом, то, что в системе Лейбница можно было бы назвать синтетическими суждениями, – это также аналитические суждения, но только с таким анализом, который представляет собой бесконечный ряд разложения, никогда не могущий быть завершенным.

Значительно позже, почти двести лет спустя после того как Лейбниц сформулировал свое решение проблемы тождества и проблемы аналитических суждений, что было одновременно фактом культуры и метафизики, эти же проблемы, в частности и их лейбницево решение, стали предметом философской логики. И здесь они быстро прошли несколько этапов. Сперва у Л. Кутюра и других авторов начала XX в. они обсуждаются в рамках логической системы (см. об этом, в частности, в превосходном изложении П.С. Попова [11]). Позже центр обсуждения смещается в сторону "семантической системы" и связывается с проблемами языка и метаязыка науки – см. завершающую целый период итоговую работу Е.Д. Смирновой [13]. И наконец, в наши дни те же вопросы заново поднимаются в связи с темой "научных парадигм" целых эпох – см. в книге В.Н. Катасонова [9, 4, 26 и след., 138].

Особенно интересен цикл вопросов, связанных с "семантической системой". Вывод Е.Д. Смирновой гласит: "О суждении, взятом вне той или иной семантической системы, бессмысленно спрашивать, аналитическое оно или синтетическое" [13, 362]. Какова семантическая система? Этот вопрос можно задать и относительно системы Лейбница (в которой синтетических суждений нет), и относительно системы Канта (в которой деление суждений на аналитические и синтетические проведено очень последовательно и в которой к тому же выделяется базисный класс "синтетических суждений априори", на котором основывается, по Канту, философия как наука). Новый свет проливает на эту проблему исследование обычных словарей, которые могут рассматриваться как модель семантической системы и в которых действует "закон приращения смысла" (термин Ю.Н. Караулова). Закон этот состоит в том, что для описания слов, составляющих словарь, необходимо большее количество слов, чем количество слов, составляющее словарь. При этом добавляется и новый смысл, не содержащийся в описываемых словах. "Открытый характер лексики, ее непосредственная связь с бесконечностью реальности и

является первопричиной того, что словарь порождает добавочный смысл, который находит отражение в появлении на выходе слов, не включенных в исходный набор" [8, 85 (раздел "Закон приращения смысла")].

Но мы здесь, по соображениям ограниченности места, вынуждены оставить эту проблему в стороне, лишь только обозначив ее как весьма существенную и новую.

Сказанным обрисовалась тема тождества как "константы культуры". Контуры ее – это "логическое" в "историческом", в истории культуры. Речь идет не о том, что у науки логики, как и у всякой науки, есть своя история, и не о том, что есть наука об истории культуры – культурология. Контуры "константы" задаются не в рамках наук, а иным, еще мало исследованным явлением: почти всякий раз, когда в логике (как науке) формулируется какая-либо проблема, оказывается, что эта проблема уже возникала, но, конечно, не в логической форме – в реальной жизни, в истории культуры, зачастую в отдаленном прошлом, а иногда возникала в культуре в какой-то момент, лишь в будущем наступивший после соответствующего открытия в логике. Речь идет о культурно-логическом параллелизме, и параллелизм этот – не синхронный и, может быть, вообще не лежащий во времени, а вневременной или же всевременной, панхронический.

II

Вернемся к древнейшему пику отношений тождества в их внешнем выражении, к тому, который иллюстрирован двумя предложениями нашего заголовка, и рассмотрим их более подробно в том же культурно-логическом параллелизме – сначала как факты культуры, выраженные в культурных текстах, а затем как факты науки логики, выраженные в логических системах различных авторов.

1

Мэри Бойс в начале своей книги о зороастрийцах пишет: «Протоиндоиранцы почитали также нескольких "абстрактных" божеств, у них вообще была склонность олицетворять то, что теперь мы назвали бы абстракциями, и считать их могучими, вездесущими божествами. Вместо того чтобы определять божественную персону изречением типа "Бог – это любовь", индоиранцы начинали свою веру с того, что "Любовь – это бог", и постепенно создавали на основе этого представления божество. Как далеко заходил процесс обрастания "абстрактного" божества отличительными особенностями и мифами, зависело от того, насколько это божество было связано с жизнью людей и религиозными обрядами и насколько популярным оно от этого становилось» [4, 17–18]. Примером может служить Митра, который, будучи сначала олицетворением договора, договорных отношений, – от того же индоевропейского корня и рус. *мир*, – затем стал почитаться как божество справедливой войны, великим судьей, приобрел облик солнца и т.д.

То, о чем говорит здесь М. Бойс, – особенность не только индо-

иранской, но индоевропейской культуры вообще, лишь обостренно проявившаяся у индоиранцев. «Что такое вообще индоевропейские "малые боги"?» – спрашивает А. Мейе и отвечает так: "Это природное или социальное явление, которому придают особое значение. Божество – это не лицо, имеющее собственное имя, это само явление, его сущность, его внутренняя сила" [19, 30]. А.А. Потебня хорошо показал это в своей работе "О Доле и сходных с нею существах" [12]. Некоторые индоевропейские языки и культуры показывают, как далеко может зайти этот процесс. Так, древние латиняне при одном только виде работ – при пахоте – почитали около двух десятков богов: бог первого боронения почвы – Uervactor, бог второго боронения – Reparator, бог третьего и окончательного боронения – Inporcitor, бог бросания семян – Insitor, бог запахивания после разбрасывания семян – Obarator и т.д. [21, 76].

Конечно, здесь гипостазировается, возводится в сущность, функция божества – это общеизвестно. Но для нашей темы очень важен принцип гипостазирования, а это одновременно и принцип именования, или отождествления. Бог бросания семян – это "засеватель" = "тот, кто засеивает"; бог запахивания – это "запахиватель" = "тот, кто запахивает", и т.д., или, говоря иначе, "засеватель засеивает", "запахиватель запахивает" и т.д. В общем виде: постоянный предикат становится, в форме имени (в номинализованной форме), именем божества и его сущностью: у сущности божества в этом ряду нет иных признаков, кроме одного-единственного, того самого, который выделен и назван. Мы увидим далее тот же принцип рассуждения уже в науке – у средневековых схоластов, согласно которым "Разум понимает", «Воля хочет ("волит")», "Зрение зрит", "Любовь любит" и т.д. (Ранее мы рассмотрели этот принцип в общей форме, см. [14, 17–19].)

Иначе обстоит дело с "великими", "личными" божествами уже в развитых языческих культурах. Так, например, Аполлон в соответствии с различными функциями, которые ему приписываются, может быть "отвратителем беды", "отвратителем зла", "заступником", "целителем болезней", "попечителем" и т.д. Здесь действует совсем иной семиотический принцип: функция, предикат и имя (эти три элемента по-прежнему, как и в предыдущем случае, совпадают) уже не исчерпывают сущности божества: сущность представляется чем-то более общим, непознаваемым и иногда даже неизвестным. (Древние римляне обращались к некоторым из своих божеств так: "Кто бы ты ни был, мужчина или женщина...") По отношению к сущности называемые признаки – лишь сопутствующие, "не сущностные". И точно так же имена: все имена в таких случаях называют лишь одну сторону божества, само же оно, несводимое к своим предикатам, именуется – если вообще именуется – лишь собственным, "личным" именем. (Мы увидим далее, что именно против такого понимания "сущности" бурно выступал Б. Рассел уже в рамках науки.) Отражение этих воззрений мы видим и в православном христианстве, где имеются различные святые, каждый со своими функциями, и где сама Богородица может быть и "благословляющей в дорогу" (Одигитрия), и "кормилицей" (Млекопитательница), и т.д.

Имена богов, таким образом, выступают как мо-

дель отождествления в культуре вообще. Обратимся теперь к некоторым другим конкретным проявлениям-применениям этой модели.

В исламе имеется канонический список "Девяноста девяти имен Бога" (на арабском языке):

1. al-Rahmān – Сострадатель
2. al-Raḥīm – Милосердец
3. al-Malik – Царь
4. al-Quddūs – Святой
5. al-Salām – Источник мира
- ...
47. al-Wadūd – Любящий, Любвеобильный
- ...
93. al-Nūr – Свет
- ...
99. al-Ṣabūr – Терпеливый.

Этот список, с одной стороны, – "закрытый", так как в нем именно и только 99 предикатов (два из них в разных исламских традициях представлены вариативно, но эту деталь мы сейчас не рассматриваем), а с другой – достаточно обширный, чем навеивается мысль, что он не исчерпывающий в каком-то отношении. Но в каком именно? Как соотносится список имен бога с его сущностью? Этот вопрос, относящийся прежде всего к логике, исторически оказался в самом деле предметом теологических разысканий. "Главные дискуссии на протяжении VIII–XII вв. вызывала проблема качеств (атрибутов) Аллаха и их соотношения с его сущностью" [7, 19].

Обратимся теперь к христианству и посмотрим, в каком контексте, и еще точнее – в каком тексте, возникает это определение: "Бог есть любовь". Это, как известно, "Первое соборное послание св. ап. Иоанна Богослова".

"О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни, – Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше общение – с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы" (1 Иоан. 1, 1–5).

И далее: "Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь" (там же, 7–8).

И наконец: "И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем" (там же, 16).

Весь этот текст как бы пронизан предикатами – здесь и "слышать", и "видеть", и "осязать", и "пребывать в свете", и, наконец, "любить". Из

всех предикатов Бога выделяются два – "Бог есть свет" и "Бог есть любовь". И стихи 7 и 16 гл. 4 показывают связь Бога и человека через эти предикаты: Бог есть свет, и человек, вступая в этот свет, пребывает в Боге; Бог есть любовь, и человек, познавая любовь, пребывает в Боге и Бог в нем. Таким образом, здесь гипостазирован предикат, который как бы охватывает, обнимает собой и Бога, и человека, но источник этого предиката – Бог. Применительно к этому случаю наглядно видна истинность утверждения Лейбница: все суждения аналитичны. Предикат "любовь" заранее принадлежит Богу как субъекту, поэтому аналитично предложение "Бог есть любовь". Если же человек определяется как "пребывающий в любви", то и предложение "Пребывающий в любви пребывает в Боге" также аналитично, уже по определению субъекта "человек".

2

Давайте теперь мысленно воссоздадим всю логическую цепочку, которая могла привести к таким результатам, т.е. к таким концептам, которые упомянуты в предыдущем разделе. Конечно, мы должны все время не упускать из виду, что "результат" – это факт культуры, засвидетельствованный культурологическим анализом текстов, а иногда и прямо древними текстами, между тем как "цепочка, или процесс" – это "логическое", а не "историческое", это мысленная реконструкция, "конструкт". Эта цепочка такова:

(1) Бог любит → (2) Бог есть любящее → (3) Бог есть любовь → (4) Любовь есть бог.

В этом ряду фигурирует концепт "Бог" – нет необходимости говорить о том, что это понятие высшей сложности и уж, во всяком случае, не наглядное (не допускающее остенсивного определения). Сделаем поэтому следующий шаг в формировании нашего конструкта – "цепочка": заменим здесь слово "Бог" словом "Я", означающим нечто гораздо более очевидное; порядок и все конструкции предложений сохраним при этом прежними:

(1а) Я люблю → (2а) Я есть (собственно, есмь) любящее → (3а) Я есть (есмь) любовь → (4а) Любовь – это я.

И наконец, сделаем еще один шаг в сторону наглядности, заменив "Я" на "это", а "любить" на "краснеть, краснеться" (в смысле представлять взгляду человека как "нечто красное", как в рус. *Смотри, что-то там краснеет в траве*). Действительно, ничто не запрещает нам представлять себе "это" в виде указания на какое-нибудь конкретное явление, данное "мне – здесь – сейчас", например на ягоду земляники, краснеющую среди зеленой травы. Цепочка примет такой вид:

(1б) Это краснеет(ся) → (2б) Это есть краснеющее(ся) или (что то же) Это есть красное → (3б) Это есть краснота → (4б) Краснота есть это или (может быть) Краснота есть здесь и сейчас.

Когда эти ряды выписаны, мы замечаем, что в действительной истории мысли – в логике и философии прежде всего – каждое из звеньев было предметом анализа, хотя лишь в "свое время". Таким образом, факты действительной культурной истории (например, представления о боге) и

логико-философские проблемы образуют два параллельных ряда, что само по себе уже достаточно интересно. Рассмотрим теперь второй из этих рядов – логико-философский. (Разумеется, нам придется лишь указывать на ту или иную философскую концепцию, не разбирая ее "изнутри", т.е. оперировать концепциями как "блоками".)

3

Эквивалентность, позволяющая соединить типы предложений (1) и (2), т.е. тождество этих типов, впервые установлена в логике Аристотеля, где "Я иду" рассматривается как тождественное "Я есть идущее". Рассмотрим в этой связи одно очень важное место из его "Метафизики" (кн. 5, гл. 7, 117a 22–31):

«Бытие же само по себе приписывается всему тому, что обозначается через формы категориального высказывания, ибо сколькими способами делаются эти высказывания, в стольких же смыслах обозначается бытие. А так как одни высказывания обозначают сущность вещи (в данном издании менее точно: "суть". – Ю.С.), другие – качество, иные – количество, иные – отношение, иные действие или претерпевание, иные – "где", иные – "когда", то сообразно с каждым из них те же значения имеет и бытие. Ибо нет никакой разницы сказать: "человек есть здоровый" или "человек здоров", и точно так же: "человек есть идущий или режущий" или же "человек идет или режет"; и подобным образом во всех других случаях» [1, 156].

"Категориальное высказывание" здесь означает высказывание, предикат которого принадлежит к одной из Категорий, Аристотелем же и установленных. В здесь же приводимом списке, т.е. в системе "Метафизики", их – 8, в других сочинениях Аристотеля их число – 9 или 10. Что касается парных выражений, которые Аристотель здесь уравнивает, считает тождественными, то в греческом языке его эпохи они передаются соответственно одно – причастием, другое – глаголом (например, "Человек есть здоровый" содержит причастие *hygiainōn*, а "Человек здоров" – глагол *hygiainei*).

4

Эквивалентность типов предложений (2) и (3), "Бог есть любящее" и "Бог есть любовь", и подобные пары стали предметом не только рассмотрения, но и прямой полемики между Декартом и Гоббсом, т.е. тысячелетия спустя после Аристотеля.

Это содержание "Второго возражения (Ко второму "Размышлению: О природе человеческого духа)". "Размышления" принадлежат Декарту, а "Возражения" – Гоббсу. Последний начинает свое "возражение" так: «"Я – мыслящая вещь" (это было тезисом Декарта. – Ю.С.). Это верно; именно из того факта, что я мыслю или – будь то наяву или во сне – воображаю, следует, что я нечто мыслящее, ведь предложения я мыслю и я – мыслящая вещь означают одно и то же (это следовало еще из системы Аристотеля. – Ю.С.). Из того, что я нечто мыслящее, вытекает, что я

существую, ибо то, что мыслит, не есть ничто. Однако, когда Декарт продолжает, *т.е. дух, или душа, или ум, или разум*, у меня возникают сомнения. Ибо вряд ли можно считать правильным такое умозаключение: *я емь нечто мыслящее, следовательно, я емь мышление; или я емь нечто понимающее, следовательно, я емь разум*. Ибо таким же образом я мог бы сказать: *я емь нечто прогуливающееся, следовательно, я емь прогулка*» [6, 414].

"Ответ" Декарта, приводимый тут же, показывает все превосходство гения. Но Декарт демонстрирует и "классическую" образованность, и универсальность мышления: его ответ как бы в точности резюмирует то, как рассуждали и исламские теологи, говоря об Аллахе (см. выше), и Аристотель, говоря о "сущности". "Так как мы не можем познать субстанцию непосредственно из нее самой, а в состоянии сделать это только на основании того, что она является субъектом определенной деятельности, то вполне последовательным является тот общеупотребительный метод, согласно которому субстанциям, которые познаются нами как субъекты явно различных деятельностей, мы даем также различные названия, а затем проверяем, обозначают ли эти различные названия разные вещи или одну и ту же вещь" [там же, 416–418]. И далее Декарт настаивает на своем различении двух субстанций – "тела" и "духа, разума".

5

Эквивалентность предложений типа (3) и (4) стала предметом обширного исследования Бертрانا Рассела в его так называемых "Вильям-Джеймсовских лекциях в Гарвардском университете" 1940 г. (впоследствии они составили книгу "Разыскание о значении и истине", а наш вопрос – главу VI этой книги, см. [20]). В действительности Рассел рассматривает только предложения типа (3б) и (4б) и именно потому, что его главной задачей является опровергнуть понятие сущности (в латинских текстах, в частности в цитате из Декарта, приведенной выше, этому соответствует слово "субстанция", которое надо понимать именно как "сущность"), но его рассуждение проливает свет и на все остальные звенья, т.е. на (3а) и (4а), (3) и (4).

Представим себе, говорит Рассел в упомянутой главе VI, что в Америке была бы построена еще одна Эйфелева башня, абсолютно тождественная парижской. Должны ли были бы мы считать эти две башни двумя "вещами" или "одной вещью"? Для тех, кто признает "сущности", стоящие за наблюдаемыми качествами, – да, это две разные вещи. Для тех же, кто, как сам Рассел, в традициях "английского эмпиризма", никаких "сущностей" не признает и считает "вещами" лишь то, что он наблюдает, т.е. "совокупность свойств, существующих в данном месте в данное время", эти две башни "одна и та же вещь". Конечно, добавляет Рассел, в число "свойств" нужно включить также координаты времени и места, каковые точно такие же наблюдаемые факты, как и все другие свойства. Если будет доказано (т.е. "наблюдено"), что у двух башен разные системы координат, то мы должны будем – при всей их тождественности – признать их "двумя вещами".

Из этого рассуждения Рассел делает решающий лингво-философский вывод: "Неразличимое – тождественно" ("Indiscernibles are identical"), а само это утверждение является аналитической истиной. ("I should claim it as the principal merit of the theory I am advocating that it makes the identity of indiscernibles analytic" [20, 103].) Это положение Рассела противопоставляется наличию (Расселом отрицаемому) синтетических суждений априори, которыми, например, Кант обосновывал категории пространства и времени, категорический императив в морали, а также само существование метафизики как науки.

Здесь мы достигли самого важного, решающего пункта в нашем рассуждении, а именно: мы уже знаем (это достаточно общее положение в наше время), что понятия "синтетическое" и "аналитическое", в смысле знаний или истин, не могут мыслиться вне системы языка, т.е. они соотносительны с системой языка и являются различными в различных системах (см. об этом в работе Е.Д. Смирновой [13]). Таким образом, языковая система Рассела, в рамках которой он проводит свое рассуждение, и языковая система Аристотеля, Декарта, а также Лейбница (см. [15, 157]) совершенно различны.

Но вместе с тем все эти великие авторы мыслят и пишут на одних и тех же индоевропейских языках, более того – привлекают в помощь своим эпистемологическим анализам формы этих языков. Как объяснить это – действительное или кажущееся – противоречие?

6

Вернемся еще раз к примерам Рассела. Рассматривая предложения типа "Это – красное" (англ. "This is red"), он говорит: «Это – не субъектно-предикатное предложение, а предложение формы "Краснота есть здесь" ("Redness is here"); "красное" ("red") – это имя, а не предикат; а то, что обычно называют "вещью" есть не что иное, как пучок сосуществующих качеств, таких, как "краснота", "твердость" и т.п.» [20, 97]. Все существо дела здесь в том, что предложение типа "Это – красное" сводится, по Расселу, к предложению "Краснота есть здесь". Но ведь это же самое реконструируется и в логической цепочке "культурных фактов" (см. выше).

Более того, история индоевропейских языков показывает, что именно такая редукция – но только в обратном логическом порядке – имела место в действительности. В архаической латыни в такой, например, ситуации, когда спрашивали о некотором тексте или предписании "Что это?", ответом было не "Это – закон", а предложение существования "Закон существует, закон есть" в значении "Это есть закон, это – закон" ("Quid est?" – "Lex est" вместо "Id est lex" [17, 184–185]). Анна Г. Хэтчер обнаружила такой же тип логической связи, т.е. предложений тождества, в старофранцузском языке. Приведем полностью один ее пример: "Кто это здесь? – спрашивает она. – "Господь Бог?" И отвечает благородный Персеваль: "Девушка, я емь Персеваль" (вм. "Нет, это не Господь Бог, это – я, Персеваль") ("Qui est che la", – fait ele, – "Dieu?" Et dist Perchevaus li gentieus: "Pucele, je suis Perchevaus") [18].

Проведенный краткий обзор отношений и предложений тождества показывает, в частности, что естественный язык (в данном случае – индоевропейский) является естественной средой возникновения метаязыковых (логических, метафизических) систем, притом самых различных – как таких, где имеются понятия "сущностей", так и других, где таких понятий нет; как таких, где имеются синтетические суждения и даже "синтетические суждения априори", так и других, где предполагаются лишь аналитические суждения различных видов и где, в частности, положение "неразличимое тождество" является аналитической истиной.

При всех этих радикально различных формулировках сам естественный язык, в рамках которого эти формулировки и создаются, не испытывает никаких радикальных преобразований, а лишь как бы "мягко поддается" различным использованиям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1976. Т. 1.
2. Арутюнова Н.Д. Тождество и подобие: (Заметки о взаимодействии концептов) // Тождество и подобие: Сравнение и идентификация / Ин-т языкознания АН СССР. Проблемная группа "Логический анализ языка." М., 1990.
3. Белый А. Эмблематика смысла // Андрей Белый: Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.
4. Бойс М. Зороастрийцы: Вера и обычаи: Пер. с англ. М.: Наука, 1987.
5. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат: Пер. с нем. М., 1958.
6. Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. М.: Мысль, 1965. Т. 1.
7. Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991.
8. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976.
9. Катасонов В.Н. Метафизическая математика XVII в. М.: Наука, 1993.
10. Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1982. Т. 1.
11. Попов П.С. История логики Нового времени. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960.
12. Потебня А.А. О Доле и сходных с нею существах // Древности / Тр. Моск. археолог. об-ва. М., 1865. Т. 1, вып. 1.
13. Смирнова Е.Д. К проблеме аналитического и синтетического // Философские вопросы современной формальной логики. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
14. Степанов Ю.С. В мире семиотики // Семиотика / Сост. Ю.С. Степанов. М.: Радуга, 1983.
15. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М.: Наука, 1985.
16. Яновская С.А. О так называемых "определениях через абстракцию" // Яновская С.А. Методологические проблемы науки. М.: Мысль, 1972.
17. Draeger A. Historische Syntax der lateinischen Sprache. 2. Aufl. Leipzig, 1881. Bd. 2.
18. Hatcher A.G. From "ce sui je" to "c'est moi" (the Ego as subject and as predicative in Old French) // Publications of Modern Languages Association. 1948. Vol. 63, N 4.
19. Meillet A. La religion indo-européenne // Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. P., 1948.
20. Russell B. An inquiry into meaning and truth: The William James lectures for 1940 delivered at Harvard University. L.: Unwin Paperbacks, 1980.
21. Usener H. Götternamen: Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung. Bonn, 1896.

ДРЕВНЕГЕРМАНСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВЕ И ПРАВДЕ

1. В мифопоэтической модели мира понятие *права* как юридического института, регулирующего жизнь коллектива, ассоциируется с идеей *правильности*, закономерности, упорядоченности и восходит к схеме творения, важнейшим элементом которой является *установка*, кодированное "тетическим" глаголом – и.-е. **dhē-* 'наделять объекты существованием' (ср. др.-инд. *dhāman* 'закон', греч. *θέσις* 'право, закон', др.-исл. *dómr* 'суд', рус. *суд*) и всегда имеющее положительные коннотации (ср. этимологическую связь и.-е. **es-* 'быть, существовать' и **esu-* 'хороший'). Право формируется по образцу универсального космологического закона, управляющего вселенной, ср. авест. *aša-* 'право (особенно божественное)' наряду с др.-инд. *ṛta-*, др.-перс. *arta-*, лат. *ars, artus, ritus*, обозначающих 'порядок, гармоническое устройство частей целого' [3, 379]. Право или предшествующее ему состояние, так называемое *предправо*, в значительной степени ориентированы на создание *меры* в социальном устройстве (ср. умбр. *mers* 'право', оск. *med-diss* 'judex', др.-ирл. *mess* 'суд' < и.-е. **med-* 'мерять'); они подобны определенной организации, свойственной космозированной вселенной. В мифопоэтической традиции оппозиция "право–отсутствие права" равноценна антитезе "космос–хаос", именно поэтому право или его основные атрибуты могут осмысляться как 'начало, исходный пункт развития' (ср. ст.-слав. *законъ*, производное от *конъ* 'начало'). Поскольку учреждение права и космогонический акт выполняют сходную функцию – построение идеальной модели бытия, они обладают общим признаком – сакральностью (ср., например, происхождение лат. *ius* 'право' из сакральной формулы или связь древнеисландских юридических терминов с магико-религиозной сферой: название ограждения тинга (место суда в Скандинавии) – др.-исл. *vé-hqnd* букв. 'священные узы', *heilagr* 'находящийся под защитой права' при обычном употреблении *heilagr* в значении 'священный' [9], принадлежность др.-англ. *æw*, д.-в.-н. *ēwa* 'закон' к области культа и права).

2. Результаты демиургической деятельности – *правила*, нормы служат основой для создания *права*, аналога космического закона в десакрализованной сфере, соединяющего первоначальное установление с его субъектом – этносом.

3. *Правда* представляет собой развитие понятия *права* в моральной сфере. Не случайно сосуществование значений 'право', 'правильный', 'правда', например, в др.-исл. *réttr*, брет. *gwir*, лит. *teisė*.

4. Рассмотрим семантические мотивировки (СМ) понятия "правда" в древнегерманских языках:

а) др.-исл. *réttr*, Adj., N. 'правильно, в соответствии с правом', *réttr* 'право', 'прямой', < и.-е. **reg-* 'прямой; располагать по прямой, прости-

пать' [7, 854] (ср. др.-исл. *rekja* 'расстилать, простирать', ср.-н.-н. *reke* 'ряд, порядок'; словосочетания типа др.-исл. *rekja lög* букв. 'протягивать закон' или *rétta lög* имплицитно подразумевают потенциальные способы конституирования юридических терминов). Семантический переход "прямой" > "правильный", наблюдаемый в и.-е. **reg-*, зафиксирован в возводимых к этому корню авест. *rašta-*, греч. *ὀρεκτός*, лат. *rectus*; он имеет типологическую параллель в лит. *tiesus*, ст.-слав. *правъ*, тох. *kārme*, алб. *dreite* [4; 5, 34]. Представления о "прямом" праве отражены также в древнегреческой концепции о прямизне (εὐθεία), сущности *θεμῖς* 'права' [6, 233]. Антитетичный семантический переход "кривой" > "неправильный" обнаруживается, например, в др.-исл. *rangr, skakkr*, гот. *wraiqs*, др.-англ. *wōh*, греч. *οκολιός*, лат. *prāvus*, слав. *кривъ* [7, 1181]. СМ 'сгибать' (т.е. 'делать кривым') отражена в обозначениях лжи – др.-исл. *lygi* < и.-е. **leug-* 'сгибать', др.-ирл. *gau* < и.-е. **geu-* 'гнуть'. Противопоставление "прямой" правды и "кривой" лжи, встречающееся во многих индоевропейских языках, по-видимому, имеет мифопоэтические истоки, ср. славянские персонифицированные образы Правды и Кривды [1, 328];

б) гот. *sunja* 'истина', *sunjeis* 'истинный', др.-исл. *sannr* 'истинный, правдивый' < и.-е. **snt-*, Part. Praes. < **es-* 'быть, существовать'. СМ правды как 'сущей' актуальна на древнегерманской стадии – ср. гот. *hi sunjai* 'действительно, воистину', др.-исл. *sand-bani* 'действительный убийца', др.-швед. *sandær þiuwer* 'настоящий вор' [10, 232], гот. *bi-sunjane*, G. Pl. '(существующих) вокруг' [там же, 16]. Представления о правде – 'сущей' имели индоевропейские истоки – ср. др.-инд. *satya* < **sntyā* 'правда' – *san, satas* 'сущий', греч. *τὸ ἕὸν* 'правда', *ὄν, ὄντος* 'сущий', лат. *sons* 'виновный' ('действительный, сущий' > 'действительно виновный'). Уместны аналогии с древнегерманской концепцией права, отождествляемого с обычаем (др.-англ. *þeaw* 'право' – д.-в.-н. *thau* 'привычка, обычай'), с происходящим, в конечном счете – с реальным, сущим. Древность, исконность права, существование от века определяли задачи судьи (нем. *Urteilsfinder*, ср. др.-англ. *to rihte findan* 'находить право'). Справедливо высказывание: "Zwar ist jedes Recht ein Sollen, und doch kann man sagen, dass der Akzent nur beim modernen Recht auf diesem Sollen liegt, beim alten aber auf dem Sei n" [8, 8] ("На самом деле каждое право выражает должествование, и все же можно утверждать, что только в современном праве акцентируется момент должествования, в древнем же праве – момент бытия");

в) др.-англ. *trēow* 'вера, верность, правда', ср.-англ. *trewe*, н.-англ. *true* 'истинный, правдивый', гот. *triggws*, др.-исл. *tryggr* 'верный, надежный', гот. *triggwaba* 'крепко, прочно', *triggwa* 'договор, союз', *trauins* 'доверие, надежность', *trauan* 'доверять', др.-исл. *trúa* 'верить' и др. < и.-е. **dreu-* < **deru-* (гот. *triu* 'дерево', рус. *дерево*, греч. *δρῦς* 'дуб'). В кельтских языках, как и в германских, данный индоевропейский корень зафиксирован как в материальной (др.-ирл. *daur, dair* 'дуб', кимр. *derwen*), так и в духовной сфере (ирл. *drūi*, галльск. *Druides* < **dru-uid-*). И.-е. **der-υ-*, **dr-*

ей- вызвал многочисленные лингвистические дискуссии. Э. Бенвенист отверг гипотезу Г. Остхофа о тождестве значений 'быть верным' – 'быть крепким как дуб' и акцентировал внимание на вторичности значений 'дерево' и 'вера', возводимых им к значению 'быть крепким, твердым, здоровым'. Однако в дальнейшем предпринимались попытки ревизии тезиса Бенвениста, в частности предлагалось семантическое обоснование развития смысла 'вера' из 'дерева' как образа мира "с характерным переходом – 'название объекта почитания' → 'почитание (религиозное)' → 'вера'" [2, 383–384];

г) др.-сакс., д.-в.-н. *wār* 'истинный, правдивый' – др.-исл. *værr* 'приятный', *Vár* 'имя богини', *várar*, N. Pl. 'клятвы, обеты', др.-англ. *wærr* 'договор, верность, защита', д.-в.-н. *wāra* 'договор, мир', гот. *tuz-wērjan* 'сомневаться' <и>-е. **uēros* 'внушающий доверие, истинный' [7, 1165], ср.лат. *vērus*, др.-ирл. *fir*, кимр. *gwir*; ц.-слав. *вера*.

На основании анализа СМ можно сделать некоторые выводы:

1. В номинации *правды* отражены два аспекта: ее восприятие с точки зрения объекта ('сущая' – гот. *sunja*) и субъекта ('правильный, правдивый' – др.-исл. *réttr* 'внушающий доверие', др.-англ. *trēowe*, д.-в.-н. *wār*). Ср. СМ греч. ἀλήθεια 'истина' как 'нескрытая' (λανθάνω 'прятать', свойство объекта) и 'незабвенная' (λήθη 'забвение', отношение субъекта) [11].

2. В древнегерманских обозначениях правды доминируют семантические компоненты 'крепость, твердость, прочность, надежность' (др.-англ. *trēowe*, д.-в.-н. *wār*). Неизменность, незыблемость, стабильность и статичность *правды* коренятся в ее отождествлении с обычаем, происходящим, реальным, сущим (гот. *sunja*), возведенным в ранг нормы в результате демиургического акта.

3. СМ правды указывают на ее неразрывную связь, с одной стороны, с юридической (др.-исл. *réttr* 'правильный, правдивый' – *réttr* 'право', гот. *sunja* 'истина' – *gasunjon* 'свидетельствовать (в суде)', др.-англ. *trēowe* 'истина' – гот. *untriggws* 'несправедливый', д.-в.-н. *wār* 'истинный, правдивый' – *wāra* 'договор, защита, мир'), а с другой – с магико-религиозной сферой (др.-англ. *trēow* 'правда' – др.-исл. *trúa* 'веровать', д.-в.-н. *wār* 'истинный, правдивый' – др.-исл. *Vár* 'имя богини'), истоки которой кроются в отсутствии противопоставления внешнего и внутреннего императива в поведении коллектива (т.е. в единстве права и правды) и в сакральности, унаследованной от прецедента – установления меры при первотворении.

4. В нравственной сфере *правда* изофункциональна всеобщему космологическому закону, управляющему вселенной, и поэтому в качестве ее символов фигурируют универсальные репрезентанты модели мира – *мировое древо* (др.-англ. *trēow* 'правда' – гот. *triu* 'дерево') и *праздник* (д.-в.-н. *wār* 'истинный' – др.-исл. *ql-værr* 'от пива веселый', *verðr* 'пир', греч. ἑορτή 'праздник').

1. Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2.
2. Топоров В.Н. Прусский язык: Словарь А-Д. М., 1975.
3. Benveniste E. Indo-European language and society. L., 1973.
4. Buck C.D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago; London, 1949.
5. Frisk Hj. Kleine Schriften zur Indogermanistik und zur griechischen Wortkunde. Göteborg, 1966.
6. Leist B.W. Alt-arisches jus gentium. Innsbruck, 1978.
7. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959. Bd. 1, 2.
8. Rehfeldt B. Recht, Religion und Moral bei den frühen Germanen // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. 1954. Bd. 71.
9. See K. von. Altnordische Rechtswörter. Tübingen, 1964.
10. Seebold E. Germanisch *sanþ-/sund-* 'seiend, wahr' // Die Sprache. 1969. Bd. 15.
11. Snell B. Der Weg zum Denken und zur Wahrheit: Die Entwicklung des Wahrheitsbegriffs bei den Griechen // Hypomnemata: Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben. Ruprecht; Göttingen, 1978.

А.Д. Шмелев

ПРАВДА VS. ИСТИНА В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

(Краткая заметка)

Ряд исследований последних лет, среди которых в первую очередь следует отметить работы Н.Д. Арутюновой, показал, что русским словам *истина* и *правда* соответствуют различные концепты. *Правда* принадлежит человеческому миру, она существует постольку, поскольку она известна людям [1, 26; 2, 8]. Сказать *правду* – значит сказать то, что тебе известно; об ученом можно сказать, что он стремится к познанию истины, но к нему неприменимо выражение *узнать правду* [2, 21–22]. Ту правду, которую человек знает, он стремится донести другим людям, и в этом смысле правда идет изнутри во внешний мир. *Истина* существует независимо от людей, которые лишь пытаются познать ее, и в этом смысле ее движение направлено из внешнего мира к познающему субъекту. Она принадлежит не сфере повседневной человеческой жизни, а сфере абстрактной науки или Божественному миру. В каком-то смысле *истину* знает только Бог. Утверждение *Истину говорят только пьяные, дети и дураки* (в этом переводе В.Г. Как цитировал немецкую пословицу) говорит о пьяных, детях и дураках как о людях, которым только и доступно познание высшей истины (другие люди обычно делают ложные утверждения)*; утверждение *Правду говорят только пьяные, дети и дураки* (более вероятный перевод) указывает на то, что пьяные, дети и дураки не могут скрыть правды (другие люди не говорят правды, даже если знают ее).

* Ср. изречение: *Устами младенца глаголет истина*.

Однако данные, приводимые Б.А. Успенским [3], свидетельствуют, что в языке древнерусских памятников соотношение понятий "правда" и "истина" было едва ли не противоположным: *правда* воспринималась как принадлежность Божественного мира (*Божья правда*), а *истина* относилась к человеческому миру. Как же могло получиться, что соотношение *правды* и *истины* оказалось инвертированным?

Более внимательный анализ показывает, что имеет место не инверсия, а лишь некоторый сдвиг в указанном противопоставлении. Дело в том, что *правда* и *истина* противопоставлены не по одному, а по двум признакам: кроме принадлежности к Божественному или человеческому миру (носитель истины) существенно также, связывается ли истинность с соответствием действительности или с соответствием правилам, правильностью (*источник истины*).

О. Павел Флоренский, анализируя слова со значением "истина" в различных языках, пришел к выводу, что греческое *aletheia* и стоящее за ним понятие предполагает "нескрытость", т.е. явленность человеку и может пониматься как соответствие воспринимаемой человеком действительности. Латинское слово *veritas*, будучи по происхождению юридическим термином, предполагает соответствие законной процедуре выявления истины, относясь тем самым, как и греческое понятие, к человеческому миру, но отличаясь от него тем, что существенным оказывается не соответствие действительности, а законность, правильность. Еврейское понятие истины, как и латинское, основано на соответствии закону, но речь здесь должна идти не о человеческом законе, а о Законе Божием. Наконец, современное русское понятие "истина" предполагает соответствие действительности, не зависящей от ее явленности человеку, действительности, которую может знать только Бог. Действительность (а не закон) как источник истины сближает современное русское понимание *истины* с греческим, а Бог (не человек) как носитель истины – с еврейским. Можно видеть также, что русское *правда* оказывается сходным с латинским *veritas*, относясь к человеческому миру и предполагая соответствие норме, справедливости, идеалу (недаром *правда*, как и *veritas*, является по происхождению юридическим термином).

По-видимому, в языке древнерусских памятников дело обстоит несколько иначе. **Истина**, как и в современном языке, предполагала соответствие действительности, но целиком принадлежала человеческому миру (не случайно именно это слово, как указывает Б.А. Успенский, служит в памятниках переводом греческого *aletheia*). **Правда**, как и в современном языке, была ориентирована на соответствие идеалу, но идеалу, имеющему Божественное происхождение. Таким образом, в современных словах *правда* и *истина* сохранилось свойственное языку древних памятников противопоставление источников истины; изменилось лишь представление о носителе истины для каждого из этих слов. Сказанное можно обобщить в виде таблицы.

Носитель истины	Источник истины	
	действительность	правила, закон
человек	греческое <i>aletheia</i> истина (древние памятники)	латинское <i>veritas</i> <i>правда</i> (современное русское)
Бог	<i>истина</i> (современное русское)	еврейское <i>āmēt</i> правда (древние памятники)

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
2. Арутюнова Н.Д. Речеповеденческие акты и истинность // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
3. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

ИСТИНА И ИСТИННОЕ

Т.Б. Алисова

КОНЦЕПТ ИСТИНЫ У ДАНТЕ

В XIII в. Западная Европа переживала "осень средневековья". Всплеск духовной активности, стимулированный переводами на доступную любому грамотному человеку латынь трактатов Аристотеля "Метафизика", "Этика", "О душе" и комментариев к ним Аверроэса (Ибн Рушда), привел к обновлению теолого-философской картины мира. Идущее от Августина порицание научного любопытства (*libido experiendi noscendique*) уступает место культу разума (*ratio, intellectus*). Сама теология рационализируется путем возведения Аристотеля в ранг официального католического философа. В то же время благодаря научной активности аверроистов-натурфилософов (медики Болонского университета, логики-модисты Сигер Брабантский, Боэций Дакийский и др.) философия, как светская наука, получает право на существование, независимое от теологии. В связи с этим понятие истины раздваивается на "истину научную", основанную на опыте и на доказательствах, вытекающих из естественных причин (*per causas naturales*), и "истину теологическую", основанную на вере. Между ними помещаются общие суждения, высказывания авторитетов и врожденные идеи (*vera per se nota*), относительно которых Фома Аквинский задается вопросом, являются ли они также объектом веры (*objectum fidei*).

В сочинениях философов и теологов XIII в. концепт истины и связанные с ним понятия добра, совершенства, красоты, формы и материи, разума и интуиции, знака и означаемого рассматриваются с неодинаковых позиций, восходящих к авторитетным источникам разных эпох. Поэтому наиболее точное определение истины в синхронии может быть получено только при рассмотрении этого концепта в языке какого-либо одного репрезентативного автора рассматриваемой эпохи. Таким автором, замыкающим средневековый культурный горизонт, был Данте – творец литературного итальянского языка, поэт, философ, филолог, политик и пророк, для которого поиски истины были основной творческой и жизненной задачей.

В сочинениях Данте [2] истинностная оценка затрагивает три области:

1) модальную установку к сказанному (*истинно, истинно говорю я вам*), где "истине" (*verità*), имплицитующей знание, противопоставлены, с одной стороны, "ложь" (*menzogna*) и "заблуждение" (*errore*), а с другой – "мнение" и "сомнение" (*opinione, dubbio*);

2) ценностную характеристику содержания "предмета", "вещи" (*res*), т.е. пропозиции или только ее именных актантов, где "истина" относится как к потенциальным свойствам предметов, так и к их актуализации в индивидуе (*настоящий мужчина, истинный артист, праведный суд*). Здесь

оценка истинности сближается или сливается с интенсификаторами положительных качеств предмета и связана с понятиями цели (*fine*) и совершенства (*perfezione*). Истинности в этом смысле противопоставлены понятия несовершенства и бесцельности, бесполезности;

3) отношение знака к его смыслу (истинный смысл, настоящее значение, правильное понимание или толкование), где предыдущий вариант "истины" осложнен тем, что знак – "вещь" особого рода, имеющая означаемое, означаемое и денотат.

Итак, "истина" в текстах Данте семантически членится на *veritas de dicto*, *veritas de re*, *veritas de signo*. Различные смысловые модификации концепта "*veritas*" происходят у Данте также в зависимости от позиции этого концепта во фразе и в тексте, которая предопределяет выбор лексем и их морфологию.

Рассмотрим теперь лексические, синтаксические и текстовые проявления *veritas* во всех трех областях на материале итальянских и латинских сочинений Данте.

I. *Veritas de dicto*. Первичная синтаксическая позиция – эксплицитный модус, вводящий дополнительное придаточное – диктум.

Истинность суждения, замыкающего ряд логических доказательств, представлена безличным модусом *è manifesto* 'очевидно' и его развернутыми вариантами, включающими глагол *vedere**: *manifestamente adunque può vedere chi bene considera che...* (Conv., I, I, 6) – "итак, с очевидностью сможет увидеть каждый, кто хорошо посмотрит..." Добытая через логические рассуждения научная истина – предмет восхищения и зависти. Так, в 10-й Песни "Рая" Фома Аквинский представляет Данте Сигера Брабантского как того, кто вывел завидные истины: *si logizzò invidiosi veri* (Par., X, 138). Такое "посмертное признание Фомой заслуг своего идейного противника" было достаточно смелым подтверждением их истинности со стороны Данте.

В позиции модуса чужой речи, вводящего истинностное суждение, находится ссылка на авторитет (Св. Писание, отцы церкви, Аристотель, Цицерон). Такая фраза обычно предвзвешивает цепь последующих рассуждений, см., например, начало "Пира": *Si come dice lo Filosofo nel principio de la Prima Filosofia, tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere* (Conv., I, I). – "Как говорит Философ в начале Первой Философии, все люди по своей природе стремятся к знанию". То, что мнения Аристотеля и его последователей – перипатетиков достойны максимального доверия, Данте считает необходимым доказать и среди доказательств приводит аргумент почти всеобщего их приятия (Conv., IV, VI, 7).

Между научной истиной и истиной, основанной на всеобщем мнении, доверии к авторитетам и на вере, существует модальное различие: первая, как вывод из ряда силлогизмов, подается категорически; вторая более субъективна и допускает плавный переход от веры к мнению, тем более что оба этих модуса вводятся одним глаголом *credere* 'верить; считать, полагать'. Ср. у Данте: *...me degno a ciò nè io nè altri crede* (Inf.,

* Здесь и далее сохранено правописание первоисточников.

II, 33) – "ни я, ни другие не считают, что я этого достоин"; *a guisa del ver primo che l'uom crede* (Par., II, 45) – "Там то, во что мы верим, станет зримо, / Само понятно без иных мерил; / Так – первоистина неоспорима" (пер. М. Лозинского).

II. *Veritas de re*. Определение этого вида истины имеется в письме XIII (к Кан Гранде), где Данте, приводя формулировку Аристотеля, дает ей собственную интерпретацию: *Sicut dicit Philosophus in secundo Metaphysicorum, "sicut res se habet ad esse, sic se habet ad veritatem", cuius ratio est quia veritas de re, que in veritate consistit tanquam in subiecto, est similitudo perfecta rei sicut est* (Ер., XIII, 14) – «Как говорит Философ во второй части Метафизики, "как вещь относится к бытию, так же она относится к истине", что означает, что истина о вещи, содержащейся в истине как в своем субъекте, есть совершенное подобие вещи, как она есть».

Обычная форма выражения для "истины о вещи" – прилагательное *vero* или наречие *veramente*, а также их многочисленные синонимы. Основной из них – *perfetto*, входящий в определение истины.

Существительные *verità, il vero* часто находятся на полпути между *veritas de re* и *veritas de dicto* (например, *la presenza restringe lo bene e lo male in ciascuno più che il vero non vuole* (Conv., I, IV, 12) – "Присутствие человека преуменьшает как хорошие, так и дурные его качества больше, чем то соответствует истине". Четкое и устойчивое значение "*veritas de re*" имеют синонимичные существительные *bontade, virtude, nobilitade*, обозначающие высшую степень положительных качеств, которые предназначены для определения полезной человеку цели: *ciascuna cosa è virtuosa in sua natura che fa quello a che ella è ordinata; e quanto meglio lo fa tanto è più virtuosa. Così lo sermone, lo quale è ordinato a manifestare lo concetto umano, è virtuoso quando quello fa, e più virtuoso quello che più lo fa; onde, con ciò sia cosa che lo latino molte cose manifesta concepute ne la mente che lo volgare far non può, sì come sanno quelli che hanno l'uno e l'altro sermone, più è la verità sua che quella del volgare* (Conv., I, V, 12) – "всякая вещь хороша по своей природе, когда она делает то, к чему она предназначена; и чем лучше она это делает, тем более она хороша... Так и язык, предназначенный для выражения человеческих мыслей, хорош, когда он это делает, и тем более хорош, чем лучше он это делает; поскольку же латынь способна выразить многие мысли, которые нельзя передать на народном языке, ее достоинства выше, чем достоинства итальянского".

Разнообразие названий для оценки предмета по максимальному соответствию образцу объясняется тем, что "достоинства" (*virtù*) различных вещей должны удовлетворять различные потребности (*appetitus*) людей, чувственные и интеллектуальные. При этом совершенная вещь должна удовлетворять потребности максимального количества людей. Если достоинства вещи удовлетворяют лишь избранных или оказываются невостребованными, они имеют несовершенное существование или остаются в потенции – *la bontade in potenza che non è essere perfettamente*

(Conv., I, IX, 6). И Данте, после того как он дал высокую (по сравнению с *volgare*) оценку латыни, исходя из ее внутренних качеств – структуры, стабильности, неизменности во времени и в пространстве, обнаруживает ее несовершенство в плане коммуникативном. Кроме того, ее красота – создание искусственное, а не природное свойство. В последних главах "Пира", и особенно в *De Vulgari Eloquentia*, он считает родной *volgare* более благородным, чем латынь, так как *volgare "naturalis est nobis, cum illa potius artificialis existat"* (*De V.E.*, I, 1, 4). Многие возможности *volgare*, однако, оставались до Данте скрытыми, например "способность выражать высокие и новые мысли не менее полно и соразмерно, чем латынь" (Conv., I, X, 12). И Данте, движимый любовью к родному *volgare*, пишет свой ученый комментарий к канцонам – "Пир", где обнаруживается величие (*grandezza*) родного языка и его способность *manifestare la concepata sentenza* (Conv., I, X, 9).

Actio agentis, сообщающая вещи полноту бытия, является "благим деянием" (*virtuosa operazione*), которое наряду с познанием истины составляет "высшее благо" (*summum bonum*), т.е. цель жизни человека. "И тот, кто лишен этого блага, – пишет Бозций Дакийский, – пусть знает, что он несовершенный индивид своего вида и действия его не человеческие" (цит. по [1, 91]). Те же слова Данте вкладывает в уста своего Улиса: *fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza* (Inf., XXVI, 119) – "вы созданы не для животной жизни, а для того, чтобы стремиться к блаести и познанию".

Благое деяние (*virtuosa operazione*) имеет целью приносить счастье наибольшему количеству людей. Эта конечная цель, по мысли Данте, может быть достигнута только в условиях единовластия, приносящего всеобщий мир (*pax universalis*), являющийся тем путеводным знаком (*signum prefixum*), к которому сводятся все рассуждения, как к очевиднейшей истине (*tanquam in manifestissimam veritatem*; Моп., I, IV, 6). Идея "истины", таким образом, складывается из почти чувственно воспринимаемого "очами разума" "путеводного знака" и чисто рациональной "конечной цели". Динамичный характер истины у Данте связан с воспринятой им аверроистской концепцией потенциального интеллекта (*intellectus possibilis*), который проявляется полностью только в роде человеческом, взятом вместе (*genus humanum simul sumptum*), и распределяется по индивидам неравномерно. Этот глобальный процесс актуализации интеллекта объединяет людей через их разумные действия, например такие, как создание общего языка *volgare illustre* и всеобщей монархии. В зависимости от их способностей полноценные индивиды предназначены Богом к жизни созерцательной или к жизни активной и в своей деятельности как бы дополняют друг друга. Например, "монарх должен прислушиваться к советам мудреца, чтобы править по справедливости" – *congiungasi la filosofica autoritate con la imperiale, a bene e perfettamente reggere* (Conv., IV, VI, 18).

III. *Veritas de signo*. Данте в трактате "О народном красноречии" определяет знак как двустороннюю единицу, одновременно чувственную и рациональную: *nam sensuale quid est, in quantum sonus est;*

rationale vero in quantum aliquid significare videtur ad placitum (De V.E., I, III, 3). Философия знака, воспринятая Данте от Аристотеля, Августина (см. [5]) и Исихора Севильского, во многом совпадает с трактовкой знака в современной семиотике (см. [3, 260]), хотя и содержит множество типично средневековых представлений, из которых можно выделить два, так или иначе связанных с античными теориями о происхождении языковых знаков *physei* или *thesei*, т.е. по природе или по договору.

1. Положение Аристотеля о том, что человек не может ничего понять без чувственно воспринимаемых образов – *phantasmata*, называемых Фомой Аквинским также *figurae*, – приобретает в языке отцов церкви гипертрофированные формы. За каждым словом и за каждым предметом тянется шлейф его метафорических смыслов, которые нужно раскрыть с помощью интерпретации. Хорошо известно фигуральное прочтение Ветхого Завета, события и персонажи которого предсказывают события Нового Завета. Возникают тексты, похожие на парады, как, например, отрывок из рассуждений Августина, приводимый у Ф. Маццони: *p e s a n i m a e recte intelligitur a m o r; quicum pravus est, vocatur cupiditas aut libido, cum autem rectus, dilectio vel charitas* (Enarr. in Ps., XII, 3–5) – «"нога души" означает на самом деле "любовь"; если любовь несправедлива, она называется "страсть" или "похоть", если она праведна, то это "привязанность" или "милосердие"» [4, 96]. Этой цитатой Ф. Маццони уточняет смысл стиха первой песни "Ада": *si che'l piè fermo sempre era'l più basso* (Inf., I, 30), где "опора на оставшуюся внизу, т.е. левую, ногу" означает "преобладание в душе идущего низменных видов любви – *cupiditas, libido*, от которых ему нужно было освободиться". Как видно из комментариев Маццони, почти каждое слово первой песни "Ада" была скрытой отсылкой к текстам Священного Писания или к Августину, где можно найти глубинное значение текста Данте. Это глубинное значение метафизично. Ближе к поверхности находятся значения назидательное и моральное. Наконец, буквальное значение тоже имеет право на самостоятельное существование. Сам Данте так объясняет в "Пире" (Conv., II, I, 1) соотношение этих смысловых слоев: "Следует знать, что текст может быть понят и объяснен самое большее в соответствии с четырьмя смыслами. Один из них называется буквальным (*litterale*), и он не выходит за пределы обманчивых слов (*parole fitizie*), как, например, в сказках поэтов. Другой смысл называется аллегорическим, он скрывается под покровом этих сказок, и это – истина, скрытая под красивой ложью (*è una veritate ascosa sotto bella menzogna*)... я разберу сначала буквальный смысл, а потом перейду к аллегорическому, т.е. к скрытой истине (*la nascosa veritate*)". В письме к Кан Гранде, где разбираются четыре смысла "Божественной Комедии", Данте определяет свое сочинение как много-смысленное (*polisemos, hoc est plurium sensuum*; Ep., XIII, 20) и предназначает его для комментирования, изучения и поучения.

2. Практика парафразы и метафорической зашифровки смысла, существовавшая начиная с поздней античности вплоть до позднего средневековья, парадоксально соседствует у Данте с древним представлением об органической связи имени (знака) и обозначаемой вещи: *nomina sunt*

consequentia rerum (V.N., XIII, 4). Ради установления причинно-следственной связи между означающим и означаемым Данте в трактате "Пир" решительно отвергает (*è falsissimo che...*) правильную этимологию слова *nobile* – "благородный" как происходящего от *cognoscere* – "знать" и предлагает его произвольное "аналогическое" толкование как *non vile*, т.е. "не низкий" (Conv., IV, XVI, 7).

Наконец, существует и четвертый тип истины, никак не представленный в философских комментариях самого Данте, но присутствующий в его поэтических сочинениях. Это истина художественная, присущая "живому образу", о котором Микельанджело (кстати, большой поклонник Данте) говорит в своем философском сонете: *Negli anni molti e nelle molte prove cercando, il saggio al buon concetto arriva d'un'immagine viva...* – "После многолетних поисков мудрец приходит к правильному замыслу живого образа..." Воплощение же замысла под силу лишь "истинному артисту (*l'ottimo artista*), чья рука повинуется интеллекту", – как пишет тот же Микельанджело в другом столь же знаменитом сонете. Такую творческую силу Данте в себе ощущал и называл "неким божественным даром" (*divinum quoddam munus*; Ep., XIII, 47). Подобно Богу, он сотворил живущие по сей день образы. Однако живы они именно благодаря буквальному смыслу слов, из которых они созданы, и содержание этих образов не может быть пересказано в другой форме без ущерба для их истинности. Так то, что Данте называл "красивой ложью", оказалось художественной правдой, и Данте-поэт одержал верх над Данте-философом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Corti M. Dante a un nuovo crocevia. Firenze, 1981.
2. Dante. Tutte le opere di Dante, Milano, 1965.
3. Eco U. Il problema estetico in Tommaso d'Aquino. 2 ed. Milano, 1982.
4. Mazzoni F. Saggio di un nuovo commento alla Divina Commedia: Inferno, canti I, II, III. Firenze, 1967.
5. Rief H. Augustin über Semiotik und Sprache. Berb. 1981.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Conv.	– Dante. Convivio.
De V.E.	– Dante. De Vulgari Eloquentia.
Enarr. in Ps.	– Augustinus Aurelius. Enarratio in Psalmos.
Ep.	– Dante. Epistole.
Inf.	– Dante. La Divina Commedia: Inferno.
Mon.	– Dante. Monarchia.
Par.	– Dante. La Divina Commedia: Paradiso.
V.N.	– Dante. Vita Nuova.

МАГИЯ И ЛОГИКА ИСТИННЫХ ИМЕН

Истоком современных логических исследований имен как особого вида языковых выражений можно считать работы Б. Рассела в области теории дескрипций и исследования Г. Фреге, связанные с разработкой им метода отношения именования. Многие проблемы, возникшие при анализе имен, до сих пор являются объектом широких обсуждений, например проблема жестких и нежестких десигнаторов, кроссидентификации, характер отношения именования, референциального и атрибутивного использования имен, трактовка утверждений тождества, проблема смысла простых имен-ярлыков и т.п.

Задача, которую мы здесь ставим, состоит в том, чтобы выявить специфику ряда этих проблем на материале, который ранее не был объектом логических исследований, а именно сакральных текстов и религиозно-магических учений. Подчеркнем, что мы не обсуждаем здесь вопрос о самой возможности и эффективности магического воздействия на действительность. Для наших целей достаточно, что на протяжении тысячелетий в человеческом обществе существовала и до сих пор существует вера в действенность магии и в существование различных сверхъестественных сил, которая нашла выражение в особом понимании языковых знаков, в частности имен, и в выявлении или приписывании им особых свойств, некоторые из них релевантны для нашего анализа.

Имя играет важную роль во многих культурах и религиозных учениях. Так, по поверьям жителей Древней Месопотамии и Древнего Египта, личное имя человека является одной из его "душ", одной из духовных составляющих человеческой сущности. Имя может выступать в качестве "оберега", отгоняющего от его носителя злых духов путем обмана последних (например, *Заратуштра* – "Староверблюдый" или "Тот, чьи верблюды стары"), или обеспечивать человеку покровительство божества, ангела, святого и т.п. за счет вхождения в имя человека имени соответствующего существа (*Эхнатон* – "Угодный Атому") либо же полного совпадения имени человека и имени его покровителя (*Георгий*, *Мария*). В ряде учений утверждается что имя человека может определять его характер, отношения с окружающими, его личную судьбу и даже быть связано с рядом культурно-исторических событий (см., например, [7]).

Несмотря на разнообразие религиозно-магических учений, во многих из них прослеживаются общие черты в трактовке слова и имени. Одна из важнейших особенностей этого подхода – дифференциация языка на священный, элементами которого и являются истинные (подлинные, настоящие и т.п.) имена, и обыденный язык, элементами которого будут неистинные имена (неподлинные, обычные и т.п.). Для священного языка характерно совершенно иное, нежели для обыденного, отношение к действительности: с его помощью мы не просто описываем действительность, но творим ее, воздействуем на нее. Характеризуя отличие священной речи (мантра) от обыденной (шабда), известный немецкий ориенталист

Г. Циммер пишет в книге "Вечная Индия": "Мантра суть сила, а не обычная речь, которой наш разум способен противиться или может избежать. То, что своим звучанием выражает мантра, существует, случается. Именно здесь, а не где-нибудь слова являются деяниями, проявляющимися непосредственно" (цит. по [4, 201]).

Сравнивая истинные имена с неистинными, мы видим: и те, и другие могут обозначать одни и те же объекты, но характер референции между истинным именем и его денотатом особый, так как истинное имя связано с сущностью именуемого. И связь эта такова, что вербальная манипуляция именем есть реальная манипуляция денотатом. Отсюда знание истинного имени дает посвященному власть над именуемым. Поэтому неудивительно, что истинные имена часто хранились в тайне. В качестве иллюстрации можно привести миф об Исиде, которая хитростью выведала у бога Ра его истинное имя, благодаря чему ей удалось добиться победы на суде богов, возглавляемом Ра.

Надо заметить, что имена богов, в силу высокого статуса их носителей, играют особо важную роль в теологических изысканиях и построениях. Так, весь "Гимн Ахура-Мазде" в Авесте практически полностью посвящен именам верховного бога Добра и их мистическому значению. Значительная часть усилий каббалистов была посвящена отысканию истинных имен Бога и ангелов. В исламе мы находим учение о девятиности девяти "прекрасных именах Аллаха" и его сотом – тайном – имени. В христианстве тема божественных имен проходит красной нитью через все мистическое богословие от Дионисия Ареопагита (Псевдо-Дионисия), Григория Паламы, Григория Нисского, Максима Исповедника и т.п. до П. Флоренского, С. Булгакова, А. Лосева и др. То обстоятельство, что проблема имени была объектом теоретических исследований в различных религиозно-магических учениях, делает возможным их сравнительный анализ с пониманием имени, существующим в современной логике.

Поскольку истинные имена трактуются обычно так, что их скорее можно отнести к единичным именам (собственным именам, личным именам, ономам, сингулярным термам и т.п.), то мы, за неимением места, оставляем в стороне всю проблематику, связанную с общими (нарицательными) именами, и в дальнейшем под термином "имя" будем иметь в виду только сингулярные термы.

Как ни парадоксально, но до сих пор одной из важнейших проблем логического анализа имени является его определение; наиболее распространено следующее: "Имя – это слово, реже сочетание слов, называющее, именующее вещь или человека" [5, 175]. Основная проблема, связанная с такого рода определениями, состоит в их эффективности. Отличить имена от других выражений можно тремя способами. Во-первых, действуя в пределах синтаксиса, мы можем указать отличительные черты знаков, которые будем относить к классу имен. Во-вторых, обратившись к семантике, мы можем выделить множество всех тех и только тех объектов, знаки которых будем считать именами. И, в-третьих, можно задать точные характеристики самого отношения именования, для чего, возможно, потребуется учет и некоторых прагматических факторов.

При построении формализованного языка можно избрать любой из этих

трех путей. Но естественный язык предстает перед исследователем как данность, поэтому, когда речь пойдет о синтаксической специфике имен, мы можем только искать, обладают ли те выражения, которые мы интуитивно относим к классу имен, какими-либо универсальными характеристиками, присущими только им. Но "морфологические отличия имен от слов других классов не универсальны и не поддаются обобщению, они могут вообще отсутствовать" [там же]. Правда, те свойства знаков, которые релевантны для логического синтаксиса, не сводятся к морфологическим, но могут включать в себя еще и грамматические (скажем, место в предложении), просодические (ударение, тон – в тональных языках) и, возможно, другие показатели. Но и в таком случае в естественном языке мы не только не находим универсальных признаков, отличающих имена от других выражений, даже внутри отдельных языков вряд ли можно эффективно распознавать имена.

Второй путь – выделение множества объектов, которые именуются, – представляется неплодотворным: именовать можно любой объект – свойство, отношение, процесс, теоретический конструкт и т.п., а не только вещь или человека. Кстати, специфика рассматриваемого нами материала уже требует расширения приведенного выше определения, так как вряд ли богов, демонов, ангелов и т.п. можно причислить к вещам или людям, но никто еще, кажется, не высказывал сомнений в том, что теонимы являются именами. Так что вместо термина "человек", по-видимому, лучше использовать "существо", что позволит учесть и животных. Но возможность такого расширения определения "по случаю" не лучшим образом характеризует сам этот путь. Поэтому неудивительно, что основное внимание исследователи обращают на изучение отношения именования (номинации).

Фундаментальный для современной логики подход к отношению именования задается через принципы и понятия фрегевского метода отношения именования. Ключевую роль при этом играет понятие смысла, потому что смысл имени – это способ задания значения (см., например, [1]).

Но если для дескриптивных имен информация об обозначаемом объекте, заключенная в имени, позволяет выявить, выделить, "вычислить" именуемый объект, то для простых имен-ярлыков дело обстоит иначе. И будем ли мы их интерпретировать по Расселу как скрытые дескрипции или же придерживаться фрегевского подхода, в любом случае само такое имя информации о своем денотате не несет. Некоторую информацию о денотате можно получить из контекста использования данного имени, какую-то информацию о денотате может ассоциировать с данным именем его пользователь, но все, что обычно усматривается в самом имени-ярлыке, это то, что данный объект так называется. В результате либо именно эту "характеристику" имен-ярлыков мы должны считать их смыслом, как в свое время предлагал А. Черч, либо должны признать, что такие имена вообще не имеют собственного смысла. Но тогда на чем основано для них отношение именования? Каким образом оно устанавливается и за счет чего поддерживается?

Известны два пути установления отношения именования для имен-ярлыков: это остенсивное определение и утверждение тождества " $a = b$ ",

где a – имя с неизвестным нам денотатом, а b – с известным. Но если b – это опять-таки имя-ярлык, то для него встанет та же самая проблема. А если b – сложное дескриптивное имя, то, по принципу интенциональной композиции, его смысл зависит от смысла входящих в его состав простых имен. Возможность дурной бесконечности устраняется только обращением к остенсивному определению. Оно рассматривается как устанавливающее отношение именования, и вполне можно согласиться с Б. Расселом, что по-настоящему жесткими десигнаторами являются только имена, содержащие указательное местоимение *этот* или *тот*. Но можно говорить и об использовании любых имен как жестких десигнаторов в остенсивном определении типа "Это есть a ", где a – имя.

Однако теперь мы оказываемся перед проблемой эссенциализма (см., например, [2]). В интересующем нас аспекте ее можно сформулировать следующим образом: после того как отношение именования установлено, как оно в дальнейшем поддерживается между тем же именем и тем же объектом? Как будет проводиться кроссидентификация обозначаемого объекта в возможных мирах, различных ситуациях, в разные моменты времени, особенно при изменении свойств данного объекта?

Ситуация, когда с помощью остенсивного определения задается отношение именования между именем-ярлыком и неизвестным ранее объектом, соответствует в терминологии Б. Рассела "знакомству", но не "знанию" об этом объекте. Но в таком случае, при восприятии этого объекта, в нас происходит (часто неосознанная) фиксация признаков этого объекта, выделение "пучка свойств", о котором говорил Дж. Серль. И дескриптивные имена данного объекта, которые мы теперь можем продуцировать, как раз и будут базироваться на этих впечатлениях, разворачивая их в определенную систему "знания". И уже от контекста будет зависеть референциальный или атрибутивный характер использования этих имен.

Но если по отмеченным нами признакам данный объект совпадает с другим, то мы можем спутать соответствующие объекты, приняв один за другой, как приняла Алкмена Зевса за своего мужа: для нее в ту ночь отношение именования существовало между именем *Амфитрион* и Зевсом, принявшим облик Амфитриона. И аналогично, если объект изменился, мы можем не узнать его, как не узнала Пенелопа Одиссея, вернувшегося из дальних странствий. Тогда для имени-ярлыка просто не имеет места отношение именования к такому объекту (для данного субъекта, в данный момент времени и т.п.), а если имя дескриптивно и содержит признаки, которые объект уже утратил, то возникает возможность парадоксов (антиномий отношения именования). Но обычно люди предпочитают с этим мириться: в романе Г. Маркеса "Сто лет одиночества", только начав страдать от забывчивости, его герои стали писать на вещах, животных, людях их имена, введя в свой обиход действительно жесткие десигнаторы. В обычных же условиях только на научных конференциях их участники носят на груди таблички со своими именами.

Указанные выше проблемы связаны с трактовкой имен как чисто условных знаков, символов – по классификации Ч. Пирса. Иную природу имеют истинные имена.

К религиозно-магическим концепциям характеристика условных знаков менее всего приложима. С рядом оговорок можно усмотреть в них черты индексов, хотя и не вполне корректно говорить, что означаемое является причиной имени, порождает имя, ибо истинное имя есть скорее часть означаемого. Поэтому о порождении имени-следствия денотатом-причиной можно говорить скорее в аспекте узнавания этого имени каким-то субъектом (в том числе и носителем данного имени).

Ближе всего – из всех выделенных Ч. Пирсом типов знаков – к истинным именам подходят иконические знаки, но и здесь есть своя специфика. Сходство между именем и именуемым осуществляется скорее через наличие у них общей сущности, общей природы, что и порождает их подобие. Причем подобие играет важную роль в магических действиях, ибо по законам симпатической магии сходные объекты взаимосвязанны. В этом смысле манипулирование истинным именем – подобием именуемого аналогично манипулированию с восковой фигуркой – подобием человека. (При этом имя часто оценивается как носитель большего "сходства", нежели физическая модель. Поэтому при колдовстве с восковыми фигурками для усиления "сходства" фигурка обязательно нарекается именем человека, которого хотят заколдовать.) Именно наличие у истинного имени и именуемого им объекта общей сущности и является наиболее специфической чертой такого рода знаков. Поэтому классификация Пирса нуждается в добавлении четвертого вида знаков, которые мы назвали бы "сопричастными".

Для религиозно-магических представлений слова, в особенности священного языка, уже на уровне простых составляющих связаны с означаемым. Связь эта может быть непосредственной, например произнесение, скажем, звука [л] заставляет вибрировать, отзываться, реагировать все сущности, которым сопричастен звук [л]. (Близкая к этому концепция имеет место у Платона [6].) Второй способ связи – опосредованный: когда произнесение или восприятие человеком соответствующего звука действует на его психические силы, которые, в свою очередь, могут воздействовать на бытие (см., например, [4]).

Эта сопричастность отдельных звуков (или графических составляющих имени) некоторой именуемой сущности делает само имя носителем свойств, которыми обладает именуемый объект, т.е. в определенном смысле каждое истинное имя автологично. И использование истинного имени одновременно реализует принцип предметности и автонимно (рассуждения об именах Бога есть рассуждения о самом Боге). Отношение истинного имени к внеязыковым сущностям больше похоже на отношение знаков метаязыка к языку-объекту, причем метаязыка, погруженного в язык-объект.

То обстоятельство, что элементы, составляющие имя, порождают в нем некоторые свойства, превращает простое имя в скрытую дескрипцию.

На уровне семантики в мистических представлениях об истинных именах мы также сталкиваемся с весьма своеобразными явлениями. Так, можно говорить о проявлении или реализации здесь принципа "семантической абстракции отождествления"; например, в каббале, где провозглашено тождество трех Серафимов – числа, звука и буквы, при

применении метода гематрии можно говорить о тождестве значений всех имен, суммы цифр которых тождественны (см. [3]). Аналогичный подход в суфизме, где происходит отождествление значений всех слов, имеющих одинаковое написание в арабской системе письменности. Еще один интересный вариант "семантического тождества" мы находим в египетской "Книге мертвых", где (в 17-й книге) душа умершего (его Ка) называет себя именами различных богов. И установление здесь отношения именования есть отождествление души умершего с соответствующими богами.

На уровне прагматики наиболее характерной особенностью истинных имен является их использование: назвать правильно имя означает позвать его носителя. И возможность употребить правильно имя поэтому связана с рядом условий ситуации использования: временем, местом продуцирования, личностью субъекта, называющего имя, и т.п.

Все отмеченные выше характеристики истинных имен делают их похожими на жесткие десигнаторы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. М., 1989.
2. Крипке С. Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. Вып. 13: Логика и лингвистика (проблемы референции).
3. Лайтман М. Каббала: Тайное еврейское учение. Новосибирск, 1993.
4. Лама Анагарика Говинда. Психология раннего буддизма: основы тибетского мистицизма. СПб., 1993.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
6. Платон. Кратил // Платон. Сочинения: В 3 т. М., 1968. Т. I.
7. Флоренский П. Имена. М., 1993.

М.А. Дмитриевская

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ "ИСТИНА" И "СМЫСЛ" В ТВОРЧЕСТВЕ А. ПЛАТОНОВА

В настоящей работе ставится задача на основе сравнительного изучения раннего (начало – середина 20-х годов) и зрелого (с конца 20-х годов) периодов творчества А. Платонова проследить эволюцию взглядов писателя на познаваемость мира и продемонстрировать тесную связь гносеологической и собственно антропологической проблематики в его произведениях. Вопрос о познании мира неотделим у него от вопроса о человеке и его месте в мире, о предназначении человека, его целях и смысле жизни. В основе проведенного исследования лежит анализ значения и употребления таких часто встречающихся у Платонова и важных в смысловом отношении слов, как *истина*, *смысл* (жизни), а также ряда смежных с ними понятий: "тайна", "сознание", "мысль", "труд" и т.д.

Тема познания мира и связанная с ней тема "восстания на вселенную", ее преобразования в процессе труда является одной из центральных в творчестве раннего А. Платонова. Она находит свое отражение в стихах, публицистике, рассказах и повестях писателя. Следует отметить, что указанная тема имела широкое распространение в литературе 20-х годов (см. [15]), однако у Платонова она обнаруживает свою специфику, связанную с глубоким видением философских корней и оснований проблемы.

С первых же шагов в литературе Платонов начинает размышлять о связи человека с природой. С одной стороны, Платонов отмечает родственность человека всему окружающему. "Я родня траве и зверю / И сгорающей звезде", — писал он в поэме "Мария" [8, 35]. С другой стороны, Платонов в статье 1921 г. "О любви" отмечает, что единство человека и вселенной распадается с появлением у человека сознания, вследствие чего возникает потребность в "объяснении и понимании мира и жизни" [11, 175]. Человеческое сознание, мысль ищут себе "соответствия, равновесия с миром" [там же], ибо человека томит образ утраченных целостности и единства.

С выделением человека из природы мир стал ему враждебен, и человек осознал, что он смертен. Поэтому усилия человека должны направляться, во-первых, на борьбу против смерти и, во-вторых, на борьбу против *тайны мира*, т.е. всего *непостигнутого, неизвестного, непонятного, скрытого* (ср.: [6, 398, 412]). Покуда человек не овладел тайной, он находится "в смрадных логовищах рабства перед миром" ("К начинающим пролетарским поэтам и писателям", 1920; см. [13, 42]). Соотношение понятий "смерть" и "тайна" у Платонова неоднозначно. Например, в стихотворении "Сын земли" они рассматриваются как рядоположенные, ср.: "Глубы на дороге, *смерть* и тени *тайн*" (здесь и далее курсив в цитатах наш); "До конца сын будет с *смертью*, с *тайной* биться" [8, 23]. Однако в статье 1920 г. "Культура пролетариата" Платонов говорит о тайне как о более сложной задаче, стоящей перед человеком: "А мысль уже открыла еще более важного врага — *тайну*. Если бы человек убил *смерть*, то этот враг — *тайна мира, тайна всего* — все же осталась бы" [11, 30]. В статье 1921 г. "Пролетарская поэзия" конечной целью объявляется именно "постижение сущности мира" [там же, 44].

Понятие истины у раннего Платонова обнаруживает тесную связь с понятием тайны. Мир тайный — это мир чужой недолжный, от которого отторгнут человек. Мир истинный — это мир, с которым человек восстановит былое единство. Чтобы достигнуть истины как истинного состояния мира, нужно уничтожить тайну. Путь к этому лежит через работу сознания, работу мысли. Сознание, интеллект объявляются Платоновым "душой пролетариата", "сущностью самого пролетария" ("Культура пролетариата"; см. [там же, 31]), "душой будущего человека" ("Пролетарская поэзия"; см. [там же, 45]). С приходом пролетариата к власти сознание становится средством борьбы с враждебной природой и тайнами мира. Пролетарская революция должна привести к "царству сознания" ("Слышные шаги (Революция и математика)", 1921; см. [там же, 38]).

Почему же сознание может служить орудием постижения тайны и, следовательно, истины? Это возможно потому, что истина, согласно Пла-

тонову, не только характеризует скрытую сущность мира, но и составляет саму сущность сознания. Мозг, разум в процессе работы рожают истину – только потому и становится возможной победа над тайной, ср.: "...наш жесточайший враг – *Тайна*, ибо сущность и душа самого сознания, сущность самой мысли нашей есть *Истина*" ("Культура пролетариата"; см. [там же, 31]). "Только *истина* есть стихия сознания", – утверждает Платонов в статье "Пролетарская поэзия" [там же, 45]. Понятие истины, таким образом, обнаруживает у раннего Платонова две области погружения: с одной стороны, истина находится в мире, с другой стороны, она порождается и проявляется в мире благодаря деятельности человеческого сознания (ср. [1, 24; 5, 64]).

В связи с задачей раскрытия тайн мира и достижения истины Платонов рассматривает возможности научного знания. Наука возникает как средство снова приблизиться к природе. В 1934 г., развивая свои более ранние взгляды, Платонов писал в письме к жене: "Наука родилась в тот момент, когда человек почувствовал себя отделенным от вселенной, когда природа извергла из себя это существо и человек захотел снова слиться с ней для своего спасения" [12, 584]. Но может ли наука обеспечить желаемое единство с миром? Платонов внимательно анализирует этот вопрос в статье "О любви" и отвечает на него отрицательно. Выделившийся из природной жизни человек движим намерением "уравновесить *истиной* голодное человеческое сознание" [11, 176], но при этом человеку нужна "вся истина" целиком, поэтому наука с ее частными результатами – "частью истины" – не может его удовлетворить: "...удовлетворить мысль сможет только *истина*, а не *осколки истины* (*часть истины* – всегда *ложь*, только *вся истина* – *истина*), *вся истина*" [там же, 175]. Что же касается религии и наук, то они создают только "обманчивые видения", "*миражи истины*" [там же, 176]. Поскольку на путях научного познания добыть "всю истину" невозможно, то чисто гносеологическая установка трансформируется у раннего Платонова в познавательную-практическую задачу по преобразованию вселенной, овладению ею, – в этом видится ему возможность воссоединения с миром.

Подобная ориентация раннего Платонова на преобразование мира с помощью мысли и труда влечет за собой его негативное отношение к чисто теоретической познавательной деятельности. В статье "Культура пролетариата" Платонов со всем жаром революционной убежденности обрушивается на буржуазную науку, в основе которой, по его словам, лежит идеализм, и противопоставляет ей материалистическую науку как правильный путь к познанию мира. У Платонова резкое возражение вызывает то, что идеализм тяготеет к постановке общих проблем и поиску общих теорий, претендующих на объяснение вселенной как единого целого. Все эти теории, согласно Платонову, априорно являются ложными, потому что всю вселенную невозможно обнять сознанием. Идеализм является "*врагом научной истины*" [там же, 25]. Что же касается материалистической науки, то она ставит своей целью изучение частных вопросов, постоянно проверяет полученные данные результатами опыта и уже потом идет к синтезу и постепенно "*завоевывает... истину*, которой не добился идеализм" [там же].

Платонов отстаивает свое понимание того, что сознание должно направляться не на абстрактное понимание мира, а на практическую деятельность, на труд по его преобразованию. В статье "Пролетарская поэзия" он говорит: "Путь человечества в смысле его деятельности – от отвлеченности к конкретности, от так называемого духа к так называемой материи" [там же, 44]. В соответствии с этим сама истина не может быть абстрактным понятием, она должна иметь конкретную реализацию и воплощение: "Но разве истина не отвлеченное понятие? Нет. Истины теперь хотят огромные массы человечества, истины хочет все мое тело. А чего хочет тело, то не может быть нематериальным, духовным, отвлеченным. Истина – реальная вещь. Она есть совершенная организация материи по отношению к человеку" [там же, 46].

Стремясь преобразовать мир и работая в этом направлении, человек сталкивается с сопротивлением мира и материи. Это сопротивление должно быть побеждено. У раннего Платонова звучат мотивы восстания на вселенную, или, что то же самое, восстания на истину. Познание мира и его покорение выстраиваются в один ряд: человек стремится "овладеть истиной мира для его покорения", поскольку "познанный мир все равно что покоренный" ("О любви"; см. [11, 176]). Так поиски истины связываются у Платонова с задачей "завоевания мира" и "завоевания истины", а само понятие истины сопрягается с понятием практики. В повести "Эфирный тракт" об истине в эпоху победившего пролетариата говорится следующее: "Истина стала не сердечным покоем, а практическим завоеванием мира" [9, 361]; "...вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преображаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины" [там же, 362].

В признании важности не просто теоретической, а познавательно-практической деятельности человека ощутимо влияние на раннего Платонова идей К. Маркса. В "Тезисах о Фейербахе" Маркс писал: "Вопрос о том, обладает ли мышление предметной истинностью, – вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, посюсторонность своего мышления" [7, 56]. Следует отметить, что Маркс под практикой понимает революционную деятельность, направленную на переустройство общества, на изменение общественных отношений. Именно эта мысль звучит в его знаменитом 11-м тезисе: "Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его (курсив автора. – М. Д.)" [там же, 59]. Платонов, для которого в начале 20-х годов социальное переустройство общества уже было данностью, основным направлением практической деятельности человека считает изменение вселенной, борьбу с ее тайнами: «Социальная революция неминуемо должна перейти в техническую, в "стихию" культуры» ("Огни Волхостроя", 1925; см. [13, 229]).

Вера Платонова в неограниченные возможности человеческого сознания и преобразования мира находит свое отражение в часто встречающейся в его произведениях метафоре преодоления преграды (в основном стены).

Познание (завоевание) мира парадоксальным на первый взгляд образом мыслится Платоновым во взаимоисключающих терминах любви и ненависти. Однако здесь нет противоречия: человек стремится к слиянию с миром, которое часто мыслится как брачное единение жениха и невесты, но, наталкиваясь на сопротивление мира, направляет свои усилия на его уничтожение. Молодой Платонов проникнут страстным желанием гибели вселенной, ибо только это может обеспечить достижение окончательной истины. Пролетариат не может удовлетвориться частными результатами работы по пересозданию вселенной, его цель – "постройка *истины* – *общей, последней и завершающей*" ("Культура пролетариата"; см. [11, 31]). Истина должна совпасть с преображением мира, его пересотворением, уничтожением пространственной бесконечности и вечности времени, концом истории. Борьба за истину, за преобразование мира может привести к его гибели, и Платонов только приветствует это: "Пусть будет *истина* *гибелью*, все равно – да здравствует *истина*" ("Пролетарская поэзия"; см. [там же, 45]).

Ценностная ориентация раннего Платонова является очевидной. В его произведениях звучит гимн сознанию и труду. Именно в работе по познанию и перестройке вселенной видит молодой писатель *цель и смысл жизни* трудящихся масс. Вопрос о смысле жизни ставится им как вопрос социальный. С ростом значимости сознания относительно других чувств работа сознания становится "*целью жизни*" человека ("Культура пролетариата"; см. [11, 28]), а "борьба с окружающими тайнами его *смыслом* и *благом жизни*" [там же, 31]. Деятельность сознания, направленная на познание и покорение природы, должна дать людям "*горячий ведущий смысл жизни*" [9, 368]. Так думает Михаил Кирпичников, герой повести "Эфирный тракт". В этом произведении, написанном в 1927 г., во многом отразилась полемика молодого Платонова со своими идейными противниками в начале 20-х годов, когда Платонов стремился доказать, что революция имеет высшие цели и способна вооружить пролетариат "*великой всепоглощающей идеей*", "*высшим смыслом*" ("О нашей религии", 1920; см. [13, 87]). Противопоставляя цели буржуазии и пролетариата, Платонов говорит: "*Смысл буржуазии* – она сама. Наш же *смысл* – победа всего человечества над природой" ("Борьба мозгов", 1920; см. [там же, 91]). В этом заключается новый символ веры пролетариата.

В конце 20-х – начале 30-х годов характер решения гносеологических вопросов у А. Платонова резко меняется. Наиболее ярко это отражено в повести "Котлован" (1929–1930). Обостряется ощущение чужеродности как природного, так и социального мира человеку, их трагической разъединенности. В связи с этим во всей остроте встает вопрос о смысле жизни в его экзистенциальной постановке. Тайной является уже не просто сам мир, но место в мире человека ("*тайна жизни*" вместо "*тайны мира*").

Поиски *истины* и *смысла жизни* связаны в повести "Котлован" в первую очередь с образом Вощева. Вопрос о смысле своей, индивидуальной жизни он ставит в связи с вопросом о смысле жизни вообще, об осмысленности всего существующего мира – со всем тем, что Платонов называет *истиной*. В черновиках повести "Котлован" есть замечание

Вощева, обращенное к профсоюзному деятелю: "Вы, товарищ оратор, говорите про *смысл жизни*, а надо сначала искать *истину*, без нее *смысла* чувствовать нельзя" (ИРЛИ, ф. 780, ед. хр. 7, л. 23 (13), цит. по: [3, 148]). Уже в самой постановке вопроса о смысле жизни Вощев соединяет свою жизнь с жизнью мира, стремясь преодолеть тем самым свою оторванность от него.

Решить вопрос о своей, личной жизни Вощев мог бы, только определив свое место в мироздании. Но он не знает, "полезен ли он в мире или без него благополучно обойдется" [10, 80] (далее ссылки на повесть "Котлован" даются по этому изданию с указанием номера страницы), а не зная этого, не может обрести силы жить дальше, ср.: "...он почувствовал *сомнение* в своей жизни и слабость тела *без истины*, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, *не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться*" (82). Однако сам факт существования мира вселяет в Вощева надежду: существующее одновременно должно быть сущим, заключать в себе высший смысл и ценность – в этом залог наличия смысла жизни человека, ср.: "Его радовало и беспокоило почти вечное пребывание камешка в среде глины, в скоплении тьмы: значит, ему *есть расчет там находиться, тем более следует человеку жить*" (99).

Постановка вопроса о смысле жизни на уровне устройства всего мироздания подчеркивается Платоновым при помощи ряда языковых средств. Весьма показательным здесь является употребление прилагательных *общий, всеобщий, всемирный*, а также местоимения *весь*. Так, Вощева интересует план "*общей жизни*" (81), он хочет открыть "*всю всемирную истину*" (182), "*истину всего существования*" (93), "*истину всемирного происхождения*" (186), "*всеобщий, долгий смысл жизни*" (84), хочет иметь веру "*в общую необходимость мира*" (88) и найти "*спасение от неизвестности всеобщего существования*" (141). Вощев хочет понять, "*есть ли что особенное в всеобщем существовании*", но никто ему не может "*прочесть на память всемирного устава*" (131). Чрезвычайно значимым является также употребление Платоновым наряду со словом *жизнь* слова *существование*, в котором больше подчеркнута бытийственная, а не биологическая сторона явления. Хотя слово *существование* встречается гораздо реже, чем слово *жизнь*, содержательно оно является более нагруженным, особенно в таких словосочетаниях, как "*вещество существования*" (87, 88), "*смысл существования*" (91), "*истина всего существования*" (93).

Сказанное выше объясняет тесную связь понятий истины и смысла жизни у Платонова и частичную синонимизацию соответствующих слов. Это достигается, во-первых, за счет сближения сочетаемости слов *истина* и *смысл*, ср. выражения "*смысл жизни*" и "*истина жизни*" (115), "*смысл существования*" и "*истина всего существования*" (другие случаи будут рассмотрены ниже). Кроме того, слова *истина* и *смысл* могут выступать в роли однородных членов или просто встречаться рядом, в одном или соседних предложениях, образуя своеобразные "целочки" употреблений, ср.: "...*вся всемирная истина, весь смысл жизни* помещались только в нем [активисте] и более нигде" (182); "зачем ему [Вощеву] теперь нужен *смысл жизни и истина всемирного происхождения*, если нет маленького,

верного человека, в котором *истина* стала бы радостью и движением?" (186); "Хотя они [землекопы] и владели *смыслом жизни*. . вместо покоя жизни они имели измождение. Воцев... наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя *истину*: он уже был доволен и тем, что *истина* заключалась на свете в ближнем к нему теле человека" (88) и др.

В повести "Котлован" Платонов окончательно распрощается с иллюзиями молодости насчет того, что истина может быть завоевана в процессе труда, направленного на переделку мира. Сама задача преобразования вселенной снимается, а ставится задача преодоления жизни. Оценка Платоновым роли труда совершенно изменится – это хорошо видно на примере Воцева и землекопов.

Рытье котлована первоначально связывается в сознании Воцева с поисками истины. Если истина есть, то она должна где-то находиться; возможно, она спрятана в глубинах земли. В силу этого выражение "*добыть истину*", которое является стершейся метафорой, получает у Платонова буквальную интерпретацию, ср.: "Воцеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел *добыть истину* из земного праха" (91). "Может, природа нам что-нибудь покажет внизу", – думает он. Но Воцев скоро убеждается в несбыточности своих ожиданий: в процессе рытья котлована истину добыть невозможно: "Воцев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей земли еще много остается – еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвением и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте *истину всего существования*" (93). Ранний Платонов делал свой выбор в пользу труда и отрицал возможность познания истины в целостном охвате мира. В повести "Эфирный тракт" он писал о том, что "*догадаться об истине нельзя*, до нее можно *доработаться*" [9, 362]. В повести "Котлован" звучит прямо противоположное утверждение. Воцеву, понимающему всю бессмысленность труда для поисков истины, остается надеяться только на внезапное озарение или догадку: "Может быть, легче *выдумать смысл жизни в голове* – ведь можно нечаянно *догадаться* о нем или коснуться его печально текущим *чувством*" (93). Обращаясь к Сафронову, Воцев говорит: "...лучше я буду *думать без работы*, все равно весь свет не разроешь до дна" (там же). Платонов показывает, что труд на котловане ведет к физическому истощению людей, не давая им ни чувства удовлетворения, ни какого-то подобия жизненного смысла.

В лице другого героя повести, инженера Прушевского, Платонов показал ограниченность науки и полную бесперспективность ее притязаний на познание истины, понимаемой не как достижение частных научных результатов, а как постижение полной истины о мире. В ответ на просьбу Воцева объяснить ему, "отчего устроился весь мир", Прушевский говорит: "Нас учили какой-нибудь *мертвой части*: я знаю глину, тяжесть веса и механику покоя, но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего *целого* или что *внутри* – нам не объяснили" (102). В этих словах Прушевского звучит полный отказ Платонова от своих прежних взглядов. Как уже отмечалось выше, в статье 1921 г. "Культура пролетариата" Платонов критиковал "буржуазную науку" за ее

стремление к целостному, общему взгляду на мир. Молодой Платонов считал, что на страже научной истины стоит материализм, суть которого заключается "в отвержении какой бы то ни было *метафизики, теории сущего, общей ...идеи мира*" [11, 25]. Материалистическая наука "изучает *части, подробности мира, а не все целое*" [там же, 26], она имеет дело с "материальными, действительными фактами... не возвышая этих фактов ни в какую *общую идею*" [там же, 25]. Спустя десять лет Платонов в лице своего героя Прушевского заявит о недостаточности изучения "частей" и о важности постижения "целого". Ограниченность научного познания символически изображена Платоновым в образе стены, которую ощущает перед собой Прушевский.

То знание истины и смысла, которого хотели бы достичь Воцев и Прушевский, не относится к теоретической деятельности рассудка, а связано с "сердечным знанием" (в терминологии С.Л. Франка). В силу этого слова, описывающие у Платонова ментальную деятельность, не указывают на рациональный характер понимания, а подчеркивают полную вовлеченность человека в мыслительный процесс. Это демонстрирует употребление таких слов, как *дума, думать, подумать, задуматься, размышление*. Работа ума сопрягается Платоновым с работой души и чувств. Так, Воцеву нужен "*душевный смысл*", поэтому он решает "напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума" (82). Чрезвычайно показательно также то, что слова *истина* и *смысл* сочетаются не только с глаголом *знать*, но и с глаголом *чувствовать*. Соответствующие употребления можно считать синонимичными, ср.: "...*истину* она [душа] перестала *знать*" (83); "Воцев... *не чувствовал истины жизни*" (115); "Так вот отчего я *смысла не знал!*" (182); "Может, ты *смысла жизни не чувствуешь...*" (146) и др. (ср. [2]).

В зрелый период творчества резкому изменению подвергаются также взгляды Платонова на сознание. Хотя в начале 20-х годов Платоновым и была заявлена тема сознания как источника мучений и человеческого страдания (в статье "О любви"), однако это осталось на уровне простой фиксации явления; нигде в своих ранних произведениях Платонов не сделал это предметом художественного рассмотрения. В повести "Котлован" Платонов показал, что сознание обрекает человека на мучения; оно рождает вопросы, которые в принципе неразрешимы, а это ведет к обесмысливанию мира. Так связываются Платоновым сознание, мысль, дума, с одной стороны, и мучение, бессмыслица – с другой. Например, Воцев лежит без сна "в сухом напряжении *сознательности*" (т.е. сознания) (80), и тело его истомлено "*мыслью и бессмысленностью*" (91) (ср. [4, 143]).

Однако сознание не только причиняет человеку страдание. Именно наличие сознания делает возможной саму постановку вопроса о смысле жизни, а это означает, что человек, мучаясь от недолжного состояния мира и своей отторгнутости от него, одновременно знает о наличии истинного состояния и определяет его как идеал и конечную цель своих стремлений. О человеческом сознании как источнике интуиции искомого смысла писали Е.Н. Трубецкой и С.Л. Франк в работах с одинаковым названием "Смысл жизни". Е.Н. Трубецкой указывал: "Уже давно замечено, что

искание истины невозможно без некоторого о ней знания... Это – признаки полноты и всеединства" [16, 50, см. также 84–86]. С.Л. Франк отмечал, что человек наделен сознанием сверхэмпирического бытия, где "непосредственно открывается... самоочевидное и в себе утвержденное бытие самой Истины" [17, 180]. Сознание наличия истины и смысла и одновременно невозможность их прояснить порождают у человека противоположные чувства: с одной стороны, надежду, с другой стороны, сомнение и отчаяние. Через сознание тщетности всех попыток постоянно пробивается луч надежды, но тут же гаснет, наталкиваясь на невозможность достижения желаемого смысла. Так человеческое сознание и работа мысли порождают надежду, но сами же ее и уничтожают. Платонов подчеркивает эту связь мысли как с надеждой, так и с отчаянием. Так, Воцеву "тайная надежда мысли" обещает "далекое спасение от неизвестности всеобщего существования" (141), но одновременно ему приходится "жить без надежды в смутном вождлении *тщетного ума*" (186). Надежда и сомнение постоянно соперничают и сопровождают друг друга; ср. в черновиках к повести "Котлован": "От мысли Воцев стал *надеяться*, а от *совести* медленно *затосковал*" (ИРЛИ, ф. 780, ед. хр. 7, л. 26 (14), цит. по: [3, 148]). Надежда никогда "не может сбыться" [10, 489], поэтому человек постоянно вынужден возобновлять поиски новых путей спасения.

Решение проблемы истины и смысла жизни зрелый Платонов видит в отказе от установки постичь их в познании мира и в обращении к другому человеческому "я", к "ты". Об этом красноречиво свидетельствует финал повести "Котлован": Воцев, подняв умершую Настю на руки, "с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал" (186). Чагатаев, герой повести "Джан", после всех жизненных испытаний убедился, что "помощь к нему придет лишь от другого человека" [9, 651]. Истина находится не внутри другого человека, не "в веществе тела другого" (91), как первоначально полагал Воцев, а сам другой человек является истиной. Сарториус, герой романа "Счастливая Москва", будучи ученым, бьется над разгадками тайн природы и хочет "открыть в самом течении человеческого сознания мысль, работающую в резонанс природы и отражающую поэтому всю его *истину*" [14, 27]. После встречи с Москвой Честновой он понимает всю неужность своих прежних планов, истина природы его уже не интересует. Вся его дальнейшая жизнь превращается в стремление к соединению с Москвой Честновой как с "*живой истиной*" [там же, 24]. В романе "Чевенгур" проблема смысла жизни тоже решается через обретение "другого".

Сравнение раннего и зрелого периодов творчества А. Платонова чрезвычайно показательным. Нельзя сказать, чтобы ранний Платонов не знал и не чувствовал того, что стало предметом его художественного изображения в зрелый период творчества. Исходные позиции – разрыв со вселенной и стремление к всеединству – были общими. Но ранний Платонов стремился решать эти проблемы в духе идеи "восстания на вселенную", в то время как зрелый Платонов поставил в качестве центрального вопрос о человеке. Здесь гносеологические воззрения писателя обнаруживают более тесную связь с антропологической проблематикой и дают толчок к построению системы этики.

1. Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
2. Вознесенская М.М., Дмитриевская М.А. О соотношении *ratio* и чувства в мышлении героев А. Платонова // Логический анализ языка: Ментальные действия. М., 1993.
3. Корниенко Н.В. История текста и биография А.П. Платонова (1926–1946) // Здесь и теперь. М., 1993. № 1.
4. Левин Ю.И. От синтаксиса к смыслу и далее ("Котлован" А. Платонова) // Семиотика и информатика. М., 1990. Вып. 30.
5. Лукин В.А. Концепт истины и слово *истина* в русском языке // ВЯ. 1993. № 4.
6. Любушкина Ш. Идея бессмертия у раннего Платонова // Russian Literature. 1988. Vol. 23, N 4.
7. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. С прил.: К. Маркс. Тезисы о Фейербахе. М., 1986.
8. Платонов А.П. Голубая глубина. Краснодар, 1922.
9. Платонов А.П. Избранные произведения. М., 1984.
10. Платонов А.П. Ювенильное море: Повести, роман. М., 1988.
11. Платонов А.П. Возвращение. М., 1989.
12. Платонов А.П. Государственный житель. Минск, 1990.
13. Платонов А.П. Чутье правды. М., 1990.
14. Платонов А.П. Счастливая Москва // Новый мир. 1991. № 1.
15. Семенова С.Г. Преобразование мира в поэзии 20-х годов // Семенова С.Г. Преодоление тегедии. М., 1989.
16. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. Paris, 1979.
17. Франк С.Л. Смысл жизни // Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992.

Хольгер Куссе (Германия)

ИСТИНА И ПРОПОВЕДОВАНИЕ.

"ЖИВОЕ СЛОВО" АРХИЕПИСКОПА АМВРОСИЯ

(КЛЮЧАРЕВА, 1820–1901)

И СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ГОМИЛЕТИКОЙ И РИТОРИКОЙ

"Живое слово" и вопросы гомилетики

1. В 1892 г. было опубликовано "Живое слово" архиепископа Харьковского Амвросия (Ключарева, 1820–1901) – краткое пособие будущим проповедникам его епархии, написанное с целью распространения и укрепления практики проповеди в Русской Православной Церкви (РПЦ). К этому времени автор был уже хорошо известным проповедником (см. [12, 99–169]), и "Живое слово" получило форму описания собственного опыта проповеди (см. [2, 55]). Однако при этом обсуждаются принципиальные для теории проповеди вопросы [там же, 12].

2. Главные проблемы, которые обсуждались в гомилетической литературе с середины XIX в. и вплоть до Поместного Собора 1917–1918 гг., отражены в статье "Гомилетика" в энциклопедии Брокгауза и Ефрона 1893 г. В ней профессор гомилетики Н. Барсов так обрисовал задачи теории проповеди: "Главный вопрос, которым прежде всего занимается [гомилетика], – это вопрос о существе, или природе, проповеди.

Одно ли и то же, по своей природе, проповедь церковная и ораторское искусство вообще, составляет ли церковная проповедь лишь вид ораторства вообще? В каком взаимоотношении находятся естественные способности к ораторству и благодать при проповеди?" [3, 161]. Обсуждение природы проповеди должно было определить ее задачи в распространении проповедования в РПЦ. Однако и вне определенного исторического контекста немаловажное значение и для практики проповеди, и для разных гомилетических теорий имеет вопрос о том, является ли проповедь ораторским жанром или она противоположна по своей сути всем светским *genere orationis*. Влияние на практику проповеди оказывает, например, то, каким образом воспринимается признание самого проповедника: считают ли его пророком или лишь излагателем истины Евангелия. В первом случае нередко наблюдается отказ от сознательной обработки проповеди. Ведь "неумение говорить" является типичным для пророчества топосом, как бы гарантией непосредственного обращения Бога к человеку устами его пророка. Так, например, говорит Бог Моисею: "Я буду при устах твоих, и научу Тебя, что тебе говорить" (Исх. 4,12); или пророку Иеремии: "Я вложил слова Мои в уста твои" (Иер. 1,9).

Риторика и гомилетика

Спор о значении риторики для гомилетики, и сегодня нерешенный, похож на "спор философии и риторики" (см. [14; 6, 3–13]).

1. В христианстве риторике противопоставлено положение о том, что божественная истина не нуждается ни в украшении, ни в особых средствах убеждения. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам: "И когда я приходил к вам, братия, приходил возвестить вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости... слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы..." (1 Кор. 2,14). Однако в пользу риторики говорит мотив "ловца человека" (см. Мк. 1,17), ловящего людей словом, как рыб сетью. Кроме того, христианский риторик может сослаться на призыв Евангелия от Матфея (Мф. 25, 14–30) не скрывать данный "талант", а умножить его. Именно об этом говорит и Амвросий в "Живом слове": "Наша обязанность отыскивать способности в себе и других и взаимно поощрять друг друга к служению славе Божией и благу человечества, помня, что, по притче Спасителя, получивши от Господа и один талант, мы будем осуждены, если зароем его в землю" [2, 54].

2. В религиозной и богословской полемике о риторике спор философии и риторики обостряется по мере того, как соотношение между познанием и словесным его выражением, между истиной и языком, приобретает существенное значение для жизни человека. Вопрос об истине становится вопросом о спасении. Вопрос об условиях возможности постижения и передачи истины поставлен не только благодаря стремлению к познанию, но и вследствие заботы о земном и небесном благе. Эта основная корреляция религиозных понятий "истина", "спасение" и "благо" представляет собой начало проповедования и учения о нем. Она отражается в русской гомилетике XIX в. в таких определениях проповеди, как, например, "речь

или живое свидетельство о нашем спасении и о средствах к его достижению..." [9, 9]. В начале нашего века гомилет Михаил Тареев писал: "Цель проповеди – призвать слушателей благовествованием ко спасению" [11, 60].

3. Однако гомилетический дискурс отличается не только корреляцией понятий истины и спасения. Колебание христианства между принятием риторики в проповедовании и отрицанием ее обусловлено и особенностями религиозного употребления языка. Оно связано как с общим феноменом религиозной речи в смысле функционального варианта литературного языка, так и с богословскими рассуждениями о языке (богословие слова).

Язык и религия

Задача религиозного употребления языка, которая состоит в приведении его в максимальное соответствие религиозному опыту и основным истинам веры, как в случае более или менее отвлеченного дискурса (богословие), так и в случае непосредственных религиозных действий (молитва, литургия и т.д.), приводит к пределу выражаемости (см. [18, 142]). В этом отношении уместно исходить из широкого понимания религии, предлагаемого такими религиоведами, как Рудольф Отто [17], Густав Меншинг [15, 10], Фридрих Гейлер [13, 562]. Они определяли религию как соотношение между опытом СВЯТОГО и отвечающим этому опыту религиозным поведением. Понятие содержания веры имплицитно транскцендентно, для которой требуемое соответствие имманентного языка *a priori* недостижимо. И для "отвечающего поведения", в том числе для религиозного употребления языка, характерно стремление к выражению невыразимого. Возникающие на фоне этого парадокса словесные и текстуальные формы выражения являются одновременно следствием и предпосылкой религиозного опыта (см. [18, 236–241]).

1. В христианской религии, которая основана на опыте откровения личного Бога и в которой все религиозные действия по крайней мере сопровождаются словом, "проблема языка" получает принципиальное значение.

СЛОВО Божие в смысле религиозной категории вечной, творящей и сохраняющей силы (Быт. 1, 1–3; Пс. 32, 9; 118, 89; см. о премудрости: Притч. 8, 22–31), которое в христианстве обозначено греческим философским понятием *логос*, воплощается в Христе (Иоан. 1) и выражается человеческим языком, например, в пророческом служении, в Священном Писании. Таким образом, вопрос об условиях познания трансцендентных истин и возможности их выражения посредством языка приобретает новое качество: понятие "истина" включено в понятие "Бог" (см. Иоан. 14, 6). И Бог, в отличие от идеи Платона и рационально-логической истины или "книги природы", не только пассивный "предмет", не только объект познания, но, согласно религиозному убеждению, и его субъект, сам себя открывающий познанию (относительно различения религиозного и эпистемического понятия истины см. [1]). Следовательно, предпосылки возможности религиозного познания – предпосылки возможности восприятия откровения.

Мистерия воплощения и веры в откровение СЛОВА через человеческий язык допускает и гомилетическое принятие риторики, и ее отрицание: или Бог становится человеком, принимая "снисхождением" и человеческое слово (см. [16, 559]), тогда риторика получает как бы "божественное одобрение". Или своим воплощением Бог противопоставляет с в о е слово человеческому, и тогда человеческое слово как бы преодолевается смертью и воскресением воплотившегося л о г о с а. Первый взгляд иллюстрирует следующая цитата одного современного немецкого гомилета: "Человечности проповеди свойственна теологическая глубина (theologische Tiefendimension): она связана с воплощением Бога в Иисусе Христе" [20, 93]. Из второй же интерпретации мистерии воплощения следует, что человеческие усилия, направленные на убеждение, отвлекают от непосредственного восприятия откровения божественного слова. К этому направлению принадлежит и немецкий гомилет Э. Турнейзен: "Церковная кафедра должна быть могилой человеческих слов, ибо на ней идет речь о воскресении, о Боге" [19, 101]. В этом отношении любопытно следующее заявление Лютера: "Рот и слово проповедника, слушанные мною, не его слово и проповедь, но Святого Духа, который таким внешним средством дает веру и благословляет" [14, 111–112].

За Словом от Бога для верующего следует слово к Богу (молитва) и слово о Боге (богословие), так что возникают вопросы о возможности р а з л и ч е н и я божественного и человеческого слова, о с о о т в е т с т в и и употребления языка религиозной ситуации и об и с т и н е сказанного. Главные ответы на эти вопросы в истории христианства следующие:

1) *lingua sacra*: Особые я з ы к и (еврейский, греческий, латинский и в некотором смысле церковнославянский) должны быть особенно пригодными для передачи религиозного содержания;

2) призвание: Только определенные л и ц а считаются полномочными "проводниками" божественной истины;

3) инспирация: Определенные т е к с т ы (Священное Писание и – в православном вероучении – священное предание) считаются одухотворенными (см. 1 Петр. 1,21). Они в религии суть божественное слово.

2. Указанные попытки "защиты" религиозных истин в первую очередь касаются и проповеди, поскольку она представляет собой и непосредственное религиозное действие, и метадискурс о религии. Она – речь о Боге и к Богу, и в гомилетике обсуждается, в каком смысле она является словом от Бога.

Употребление священного языка отвергается указанием на то, что "в интересе общедоступности проповеди, который прежде всего и должен иметься в виду, необходимо, чтобы проповеди были излагаемы чистым, правильным русским языком..." [8, 15]. Однако идея *lingua sacra* еще чувствуется, когда от проповедника требуется особый стиль, достойный его высокого предмета. По словам В.Ф. Певницкого, "язык проповеднический должен иметь свои специфические особенности, которые оттеняют и отличают его от того языка, каким пишутся светские сочинения и журнальные статьи" [9, 199].

Так как понятие призвания связывалось с понятием церкви, являю-

щейся в религиозном смысле вероучения избранным носителем божественного откровения, уже VI Вселенский Собор (680 г.) распространил право религиозного провозглашения (в том числе литургийной проповеди) только на лиц, носящих церковный сан. Наиболее "церковный" аргумент этого ограничения – таинство священства. Вслед за вышеупомянутым гомилетом Н. Барсовым церковь "усматривает в литургийной П[роповеди] функцию благодатной жизни, т.е. находит... что главная продуктивная сила П. есть благодать, даруемая в таинстве священства... Вот почему церковь в своих канонах усваивает право литургийной П. только лицам, имеющим благодать священства..." [4, 458]. Таким образом вопрос о существовании проповеди становится вопросом о существовании проповедника. РПЦ только на Поместном Соборе 1917–1918 гг. решила "для большего... усиления и развития православно-христианского благовестия, сообразно с требованиями настоящего времени... привлекать к делу... и способных к проповедничеству мирян" [10, 10].

Различные точки зрения существуют и относительно одухотворенности, богодухновенности проповеди. Среди них решительную позицию занимают, например, швейцарский реформатор Буллингер (1504–1575), который писал: "Praedicatio verbi Dei est verbum Dei" [16, 534], и современный греческий богослов Христос Йаннарас, который утверждает: "Провозглашение церкви не слово о Боге, а СЛОВО БОЖИЕ" [21, 137]. Тогда встает вопрос о том, одухотворена ли проповедь вследствие того, что в ней обсуждаются священные, т.е. одухотворенные, тексты или она – дело непосредственного вдохновения Святого духа. В связи с этим проповедь как л и ч н о е слово проповедника оказалась в своеобразной конкуренции с провозглашением священной литургии, т.е. со словом, определенным ц е р к о в ь ю (см. [7, 289]).

3. Из сказанного выше следуют несколько оппозиций в принципиальной гомилетике:

- СЛОВО самовыражается в проповеди / Проповедник лишь излагает слова (тексты), которыми выражается СЛОВО;
- СЛОВО выражается непосредственно Святым Духом / СЛОВО выражается лишь в Священном Писании;
- Проповедь имеет характер таинства / Проповедь – ораторство;
- Таинство – непосредственно одухотворение / Благодать проповеди дана в таинстве священства.

"Живое слово"

1. Дискуссии о природе проповеди, т.е. дискуссии на уровне принципиальной гомилетики, к концу XIX в. достигли определенной вершины. При этом проблема истины в проповедовании в основном обсуждалась с позиций антириториков, между тем как гомилеты-риторики, как правило, подчеркивают только важность проповедования для религиозного просвещения. В гомилетические обсуждения проникали элементы пророчества, росла убежденность в самодействии исходящего от Бога слова. Вследствие этого улучшение проповедования, достижение "живого слова" на церковной кафедре ожидалось от неподготовленных письменно проповед-

нических слов, возникающих прямо во время богослужения. В этом смысле гомилет Михаил Тареев писал, что проповедь "есть живое слово потому, что в ней слово Божие применяется к состоянию слушателей и делается современным для них, понятным для каждого. Она есть живое слово и с внешней стороны, как живая изустная, сердечная речь, чуждая всякой искусственности" [11, 13]. Один из главных документов гомилетического дискурса этого направления – "Живое слово" архиепископа Амвросия.

2. Название "Живое слово" является программным. Амвросий обосновывает свои гомилетические взгляды в богословии слова, согласно которому животворящая сила СЛОВА, в смысле религиозной категории божественной энергии, передается и людям средствами человеческого языка. По его убеждению, понятие "о живом слове могло сложиться во всей полноте и ясности только в христианском мире и, без сомнения, заимствовано из Библии. По буквальному смыслу оно есть слово дающее, возбуждающее и направляющее жизнь" [2, 16]. В наиболее развернутом виде животворной силой обладают верующие во Христа (см. [там же, 17]), но по причине сотворения человека по образу Божию она принципиально принадлежит каждому человеку: "Животворная сила слова сообщена от Бога и самим людям, в виде им лично усвоенного дара... так как дары Божии, сообщенные человеку при сотворении его по образу Божию и после повреждения грехом, не совершенно им утрачены и не остаются в нем без действия и благотворного движения при доброй воле" [там же, 17–18]. Заявляя, что Бог – "первоисточник животворного слова" [там же, 19], от которого "творческой силы сообщается благодать Святаго Духа мощное влияние слову христианскому" [там же], Амвросий ссылается на послание Иакова, в котором понятия "истина", "слово" и "вера во Христа" определяются как взаимосвязанные силы сотворения: "Всякое деяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов... Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий" (Иак. 1,17–18).

3. Животворная сила, даруемая в человеческом языке, принадлежит особенностям у с т н о м у слову: "Слово писанное, в лучшем своем значении, есть озеро воды, собранной веками и заготовляемой для будущего; слово же устное есть ключ живой воды, бьющий прямо из источника, журчащий и сверкающий перед глазами путника и с особенною силою манящий его к утолению жажды; поэтому слову устному принадлежит название слова живаго по преимуществу" [2, 21–22]. Следовательно, истинная проповедь, являющаяся настоящим живым словом, – это импровизация, т.е. письменно неподготовленное слово. Главный совет Амвросия будущему проповеднику: "Выходи на кафедру и говори" [там же, 80]. Соблюдая "это правило", проповедник следует примеру Иисуса Христа, который всегда излагал истину путем устной, импровизированной речи. Задача проповедника, – доверяясь управлению Святого Духа, стать достойным средством божественного откровения. Амвросий напоминает своим читателям о том, что они ученики и посланники Христа, "которым сообщен и Дух помазания в священном рукоположении, которым, наконец, прямо обещано и благодатное содействие в трудных случаях проповеди евангельского учения и свидетельства о нем" [там же, 80].

Импровизация не только излагает слово Божие соответственно ситуации и, следовательно, "ближе к жизни" [там же, 33] слушателей, чем "кабинетное рассуждение", но и приближает мышление слушателей к источнику слова, давая им возможность следить за возникновением его у проповедника: "они жили жизнью оратора, сами участвовали в его возбуждении, проникались его ощущениями" [там же, 37].

Амвросий разрешает конфликт между литургией и проповедью. Они уже не мешают друг другу, а истина священной литургии молитвенным движением чувства вливается в импровизацию, когда возникают мысли проповеди во время литургии: "В душе одновременно происходит два течения, не мешающие одно другому; где-то там в глубине головы возникают, сортируются, складываются мысли, а в другой стороне идет молитвенное движение чувства, еще подогреваемого прошением помощи Божией в деле проповеди и озарения от благодати Таинства" [там же, 101].

4. Кажется, что Амвросий в своей гомилетике занимает антириторическую позицию. Правила риторики, согласно различным замечкам архиепископа, не годятся для импровизированной речи: "Долго перед литургией я ходил по комнате в размышлении, и во время богослужения был в волнении и беспокойстве о том, как бы чего не забыть и не перепутать. К удивлению и огорчению моему, никогда исполнить таким образом обдуманный план мне не удавалось... И вот мы, как говорится, ломаем головы большей частью совершенно напрасно..." [там же, 111–112]. Однако "Живое слово" представляет собой компромисс: отрицая риторические правила, Амвросий подтверждает положение риторики о том, что и вечная божественная истина является познаваемой и передаваемой лишь словом конкретного человека конкретным людям. Он спрашивает: "Почему же не надеяться, что будут и свои Демосфены и Златоусты? Надо их поискать" [там же, 6]. Компромисс между "реализмом и идеализмом": проповедование – ораторство, которому присуща надежда на то, что им выражается божественная истина.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные концепты. М.: Наука, 1991.
2. *Архиепископ Амвросий. Живое слово*. 2-е изд. Харьков, 1903.
3. Барсов Н. Гомилетика // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1893. Т. 9.
4. Барсов Н. Проповедь // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1898. Т. 25.
5. Барсов Н. К учению о существе или природе христианской литургийной проповеди: опыт полного курса гомилетики // Несколько исследований исторических и разсуждений о вопросах современных / Сост. М. Чепик. М., 1899.
6. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. М., 1991.
7. Булгаков С. Православие: Очерки учения православной церкви. М., 1991.
8. В.Г. О преподавании гомилетики в наших духовных семинариях. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1990.
9. Певницкий В.Ф. Церковное красноречие и его основные законы. 2-е изд. СПб., 1908.
10. Священный Собор Православной Российской Церкви: Собрание определений и постановлений. М., 1918. Вып. 1–4.

11. *Tapeev M.* По вопросам гомилетики: Критические очерки. Троице-Сергиева Лавра, 1903.
12. *Felmy K. Chr.* Predigt im orthodoxen Russland: Untersuchungen zu Inhalt und Eigenart der russischen Predigt in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Göttingen, 1972.
13. *Heiler F.* Erscheinungsformen und Wesen der Religion. 2. Aufl. Stuttgart, 1979.
14. *Ijsseling S.* Rhetorik und Philosophie: Eine historisch-systematische Einführung. Stuttgart, 1988.
15. *Mensching G.* Sprache und Religion // Probleme der religiösen Sprache. Darmstadt, 1983 [1948].
16. *Mueller H.M.* Homiletik // Theologische Realenzyklopaedie. B.; N.Y., 1986. Bd. 15.
17. *Otto R.* Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. München, 1987 [1917].
18. *Schaffler R.* Religionsphilosophie. München, 1983.
19. *Thurneysen E.* Die Aufgabe der Predigt // Das Wort Gottes und die Kirche. München, 1971 [1921].
20. *Wintzer F.* Praktische Theologie. 3. Aufl. Neukirchen-Vluyn, 1990.
21. *Yannaras Chr.* Dogma und Verkündigung im orthodoxen Verständnis // Ostkirchliche Studien. Würzburg, 1972. Bd. 21.

С.Е. Никитина

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИСТИНЕ В РУССКИХ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ*

Знаменитый духовный стих о Голубиной книге, выпавшей на Фаворскую гору и содержащей всю премудрость мира, во многих своих вариантах кончается картиной борьбы двух юношей или двух зайцев и толкованием этого эпизода устами царя Давыда Евсеевича. Зайцы – серый и белый – дерутся, причем серый "приобидел белого". Давыд Евсеевич разъясняет, что это боролись Правда с Кривдой, после чего Правда ушла на небеса, а Кривда пошла по всей земле:

...пала всем на ретиво сердце,
Зато ныне стало правды нет,
Беззакония стали великия...

[8, 39].

Стих о Голубиной книге имеет источниками апокрифы, в частности апокриф "Беседа трех святителей", где в разных вариантах также присутствует Заяц (Правда) и Сова (Кривда), иногда зайца замещает Сокол. Правда в толковании "Беседы..." – Христос. Если вспомнить, что в Апокалипсисе дьявол назван отцом лжи, "обольщающим всю вселенную" (Отк. 12,9), то борьба Правды с Кривдой предстает как борьба Христа с дьяволом.

Исследователь Голубиной книги В. Мочульский указал на то, что в книжных источниках стиха, где присутствует этот эпизод, Правда-Заяц уходит на небо раньше, чем приходит Кривда-Сова, и борьбы между ними

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 93-06-10941 "Логический анализ языка".

нет. Он же отмечает, что в средневековых миниатюрах истина (*ἀλήθεια*) иногда изображается в виде женской фигурки, улетающей на небо [5, 198]. Борьба Правды с Кривдой в стихе – народное переосмысление апокрифического текста, заставившее многих исследователей говорить о русском народном дуализме.

Мы отметим в этом эпизоде следующее. Во-первых, истина здесь названа правдой. В православном народном сознании эти два понятия не разведены, и двандва *правда-истина* в выражении *Я скажу тебе всю правду-истину* содержит в себе смысл 'абсолютная правда', *Magp (правда)*.

Божественная Правда стиха о Голубиной книге очень близка к истине-правде, о которой пишет о. Павел Флоренский: «...из глубин души подымается нестерпимая потребность опереть себя на "Столп и Утверждение Истины"... не одной из истин, не частной и дробящейся истины человеческой, мятущейся и развеваемой, как прах, гонимый на горах дыханием ветра, но Истины все-целостной, и веко-вечной, – Истины единой и Божественной, светлой-пресветлой Истины – Той "Правды", которая, по слову древнего поэта, есть "Солнце миру"» [10, 12].

Во-вторых, заметим, что у Правды есть оппонент – Кривда, которая в разных вербальных обликах встречается во многих текстах.

В-третьих, Кривда реализуется в беззаконии, и можно ожидать, что Правда в народном сознании связывается с законом (для слова *истина* это было отмечено Н.Д. Арутюновой [1, 23]).

Можно было бы ожидать также, что в народном христианстве и в традиционных русских народных текстах не будет каких-либо существенных расхождений в понимании сущности божественной истины. Ведь она связана в народном сознании с образом Христа и его учением о спасении.

Слова Христа "Я есмь путь и истина и жизнь" (Иоан. 14, 6) знают все читавшие Новый Завет предстатели народной культуры. Однако обращение к русским народным конфессиональным культурам убеждает в том, что между ними существуют значительные расхождения в тех смысловых связях и концептуальных полях, которые создаются и структурируются представлением об истине.

Рассмотрим это на материале наших полевых исследований культур трех русских конфессиональных групп: с одной стороны, старообрядцев, хранителей "древлеправославного" христианства, с другой стороны, духовборцев и молокан*, представляющих своеобразные разновидности русского народного протестантизма.

Остановимся на взаимоотношении человека и истины; для описания концептуальных полей принципиально важными представляются два аспекта этого взаимоотношения: во-первых, пути достижения/постижения истины, во-вторых, формы/акты ее открытия/обнаружения и контакта с человеком. Русское православие ставит акцент на первом аспекте, русский народный протестантизм – на втором.

Начнем со старообрядчества. Основным материалом будут служить тексты духовных стихов, до сих пор живущих в старообрядческой среде

* Полевые исследования молоканской культуры проводились совместно с музыковедом проф. М. Мазо (США, Огайо).

(кстати, стих о Голубиной книге до самого последнего времени пели старообрядцы Печоры и Прибалтики).

Слово *истина* встречается в стихах крайне редко, только в паре *правда-истина*, а единственное производное слово – прилагательное *истинный* – встречается в сочетаниях *Христос-Бог истинный, правда истинная и вера истинная, христианская*. Зато слово *правда*, само не являющееся частотным, в словаре духовного стиха попадает в родное этимологическое поле частотных слов – таких, как *правый, праведный, праведник*, весьма существенных для понимания истины в народном православии.

Правда-истина – в том, что возвестил Христос своим приходом в мир, своими заповедями и распятием. Истина – в спасении души, и путь к ней – это путь очищения от грехов, путь смирения и покаяния, выполнения нравственного Закона, заповеданного Христом. Нравственный Закон, реализующий Правду, представлен в духовных стихах, как это справедливо заметил Г. Федотов [9], через его нарушение, т.е. через описание грехов и наказания за них. Иными словами, правда представлена через осуждение разнообразных кривд, или беззаконий.

Заметим, что слово *ложь* почти не встречается в духовных стихах. *Правде* кроме *кривды* противопоставлена *неправда*, очень часто с эпитетом *великая*; но главным оппонентом *правды-истины* является *прелесть* – соблазнительная ложь, влекущий к себе грех. Если правду-истину несет Христос, то прелесть рассеял по всей Земле Антихрист. Прелесть несет в себе гибель.

Духовные стихи предлагают два пути к правде-истине, т.е. к спасению. Первый путь – нравственная жизнь обычного человека. Это соблюдение заповедей; главными добродетелями являются пост, молитва и милостыня, отказ от Кривды:

Кто не будет Кривдой жить,
Тот причастный ко Господу,
Та душа и наследует
Себе царство небесное.

Второй, радикальный, *праведный* путь к спасению – путь русской святости – путь страданий, мученичества, целомудрия, смирения, самопожертвования, отречения от всего временного и суетного, уход от *прелести злого мира в прекрасную мати пустыню*. Образ-концепт пустыни – места спасения первых христиан-отшельников – прижился на русской почве во времена русского исихазма, затем возродился в старообрядческой словесности, осмысливаясь во время гонения "древлеправославной" веры как место ухода от лжи антихристового никонианского мира. Пустыня является местом духовного подвига, ведущего к Христу-Истине.

Царевич Иоасаф, выпрашивающий у старца Варлаама "сушшу правду про пустыню святу", уходит в пустыню с верой, что узрит истину душевными очами:

Я Христа в себе приобряшу,
Приобряшшу Христа я средь себя...

(Интересно, что в духовных стихах у праведных людей непосредственные мистические контакты бывают, как правило, со святыми или Богородицей (например, церковному пономарю в стихе об Алексее Божием человеке является Богородица, "трудничку" в пустыне – святая Пятница), но не с Христом.)

Перейдем к рассмотрению того, как понимается слово *истина* в русском народном протестантизме. Здесь идея истины как спасения остается, а с нею и выполнение нравственного Закона как пути к спасению, однако в отличие от народного православия, где правда-истина прежде всего связана с праведной жизнью, для русского протестантизма важно понимание истины как сакрального знания, которое имеет достаточно разнообразные формы своего существования и обнаружения. При этом причастность к истине может не зависеть ни от воли человека, ни от его моральных качеств.

Обратимся к духовборцам. В богочеловеческом учении духовборцев Христос является человеком, которого Бог послал принести людям Истину. Христос – Спаситель мира, он был распят и воскрес, но воскрес душою, *про плоть же*, говорят духовборцы в своих псалмах, *мы не знаем*. Душа Христа и есть Истина, от него она перешла к праотцам духовборцев, которые ведут свое начало от трех библейских отроков – Анания, Азария и Мисаила, не сгоревших в огненной печи. Затем душа Христа-истина стала передаваться по наследству духовборским вождям. Духовборцы называют себя *истинными людьми*, а вождей – *истинными во истинных* [4]. Причастность к истине у предводителей духовборцев проявляется в прозорливости, ясновидении, способности совершать чудеса, при этом их нравственные качества могут быть весьма сомнительными. Так, например, по рассказам, один из духовборских вождей, Петр Ларионович Калмыков (сер. XIX в.), смертным боем бил из ревности свою жену, красавицу Лукерью Васильевну, но, как и всякий истинный во истинных, мог производить чудеса. Сохранилось предание о том, как он приехал в одно духовборское селение: «Все зашумели: "Петюшка приехал, Петюшка приехал". А один говорит: "Молотьба, такой-сякой, косить надо, ячмень яровой". Он (Петюшка. – С Н.) тады слез и говорит: "Что, косить вам некогда, я помешал? Ну, я косаря сичас пришлю". И сичас ниоткуда туча, как град дал – все! Все побило. "Вот, говорит, теперь у вас все покошбно". Дал им понятию!»

Другой вождь, Петр Васильевич Веригин, обладал даром предвидения и ясновидения: недаром у канадских духовборцев он назывался Петр Господний.

У духовборцев нет понятия прелести, противопоставленного понятию истины, и это, по-видимому, связано с отсутствием института монашества с его непрерывной борьбой с искушениями, которые суть прелесть, зло, грех.

Истина связана со светом; такие понятия, как "ад" и "дьявол", определяются через отрицание света: в духовборском псалме спрашивается: *что есть ад? Ад есть не ведающие света люди*.

В духовборских текстах само слово *истина* встречается сравнительно

редко, зато ряд словосочетаний с прилагательным *истинный* образует совокупность важнейших понятий духовоборчества, которые в текстах псалмов получают свои пояснения. Это – *истинная вера, истинная церковь, истинная добродетель, истинное учение, истинные люди, истинный участник*.

Прилагательное *истинный* как 'содержащий божественную истину' включает в свое значение компоненты 'правильный', 'настоящий' и 'не имеющий внешних атрибутов'. Так, *истинная церковь* – церковь, содержащая истину, следовательно, правильная, настоящая, она построена в душах человеческих и не нуждается в наружных стенах; *истинная вера* – единственно правильная из 78 вер, остальные 77 – ложные, истинная вера *не требует наружности*.

Неистинны, или ложны, все внешние христианские атрибуты веры, символические предметы и действия. Однако слова, их означающие, могут быть использованы для выражения истинных смыслов; поэтому духовборцы переосмыслили большое количество христианских терминов [6, 98].

Истина – нечто внутреннее, поэтому для духовоборчества важны понятия *внутреннего человека, внутреннего Христа, внутреннего слова*.

В этом смысле интересно, что говорят духовборцы об истинном учении. Истинное учение не должно быть запечатлено в чем-то видимом, наружном; стало быть, истинное учение не должно быть записано, а только запомнено, т.е. должно передаваться устным путем и усваиваться внутренним человеком, быть "записанным в душе" ("Запишите во сердцах, возвестите во устах", – говорится в духовборском псалме). Духоборцы считали, что ученики Христа, записавшие его учение, многое исказили, "смешали зерно с мякиной"; отцам-духоборцам было возведено: *голуби, выбирайте чистые зерна из мякины*. Письменность есть нечто наружное, поэтому она не нужна, грамотность даже вредна (ср. со словами Сократа о вреде письмен, благодаря которым люди "припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою..." [7, 217]). Такую мудрость Сократ называет мнимой, а не истинной).

Истинное учение составило "Животную книгу", которая живет в коллективной памяти духовборцев (хотя "Животная книга" была записана В.Г. Бонч-Бруевичем). Заметим, что в учении духовборцев божественная Троица воплощена в человеке: Бог-отец – память, Бог-сын – разум, Бог-свят Дух – воля. Таким образом, коллективная память, содержащая *истинное учение*, есть воплощение первого лица Троицы-истины во всем духовборском народе.

Перейдем теперь к молоканам. Для них понятие истины является центральным, ибо их кредо: "Поклоняться Отцу в духе и истине" (Иоан. 4, 23). Сами молокане говорят, что это значит молиться по Библии как богодухновенной книге с полным осознанием Бога, его закона и с ощущением присутствия Христа в своей душе. Эта причастность к истине не того свойства, что у духовборцев с их переходящей душой Христа; это постоянное действие силы, исходящей от Бога, силы, называемой Святым Духом.

Как написано в молоканских догматах, "Дух Божий... изливается на

верующих и, пребывая в них, действует в них" [2, 41]. Молокане, как и духоборцы, отвергают крещение, говоря, что крестятся Святым Духом; это невидимое крещение происходит, по мнению постоянных молокан, которые называют себя "истинными духовными христианами", в возрасте, когда человек себя достаточно осознает, т.е. возможно только при определенном уровне знаний.

Для молокан, как и духоборцев, в вере нет "ничего наружного"; понятие истины связано у них с сокровенным знанием.

Свое название – "молокане" – они связывают со словами апостола Петра, когда он, говоря о слове Господнем, призывает: "Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение" (1 Петр. 2,2). Однако молоко – только начальная стадия постижения истины. Истину они сравнивают с твердой пищей, для чего цитируют слова Нового Завета: "...для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла" (Евр. 5, 12–14). Молокане комментируют это так: "сокровенный смысл подобен твердому ореху – нужны сила и орудия, чтобы раздробить".

Сила и орудия заключены в дарах Святого Духа. Понятие дара очень важно для молоканского понимания истины. Молокане цитируют слова апостола Павла: "Дары различны, но Дух один и тот же; ...каждому дается проявление Духа на пользу: Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; Иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; Иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков" (1 Кор. 12, 4–5, 7–10). Молокане добавляют к этому и дар пения, ибо оно лучше всего готовит человека к непосредственному общению с Богом.

Постижение истины приходит в откровении. У молокан одно из распространенных выражений – *ему открылось*. Некоторые дары Святого Духа являются как бы непосредственными проводниками или необходимыми условиями откровения. Так, откровение дается людям, обладающим даром премудрости.

У "постоянных" молокан акт откровения не имеет никаких видимых форм, он скрыт от глаз окружающих. Человек, его получивший, постигает, как нужно толковать Библию. Существует даже такой афоризм: *Не Библия открывает истину, а истина открывает Библию*. Однако для того, чтобы такое откровение стало возможным, кроме дара нужно регулярное чтение Библии: *уйти от истины*, говорят молокане, – *значит перестать читать Библию*.

Премудрость и сокровенное знание противопоставлены рассудочному уму и внешним знаниям (полученным, например, в школе или университете); последние ценятся так же высоко, как ценится в молоканской среде всякий профессионализм, но они не имеют отношения к истине.

У молокан-прыгунов существуют пророки, на которых сходит Святой Дух. Истина открывается им обычно во время богослужения, хотя это

может случиться в любой ситуации, в любое время. Пророка иногда называют языком или устами Бога, которыми он сообщает людям о том, что их ожидает, или о том, что им надлежит делать.

У молокан-прыгунов-"максимистов" (последователей Максима Рудометкина, жившего в середине XIX в.) существует особый термин – "открыша", обозначающий акт раскрытия пророком Библии во время пророчества на том месте, где представлен в иносказательной форме истинный смысл происходящего или должного произойти.

Люди, получившие откровение, не всегда являются собой образцы высоко нравственной жизни. Пророк может быть обычным человеком, внезапно почувствовавшим в себе этот дар. Однако здесь и его, и всю общину, где он может действовать, подстерегает большая опасность. Дух Святой, Дух истинный, Дух правды сосуществует рядом с дьяволом, или *левым* (здесь реализуется универсальная оппозиция "правый–левый"), или духом лжи, который может говорить через пророка, тогда пророчество будет не истинным, а ложным. Чтобы убедиться, что человек имеет дар истинного пророчества, он должен получить свыше *уверение*, причем несколько раз. Только тогда община признает его пророком.

Молокане говорят, что их богослужение происходит "по духу и по разуму": человеческий ум воспринимает и укладывает в вербальные формы божественное откровение. В этом смысле интересно, как разрешается в молоканстве общехристианская проблема статуса проповеди: выражается ли в ней божественная истина, если текст проповеди не является библейским текстом, а его порождает человек, произносящий проповедь? (Ср. [3].) Молоканский проповедник, называемый беседником, не обдумывает свою проповедь заранее; идя на богослужение, он еще не знает, о чем будет говорить; идея проповеди дается ему Святым Духом перед самым началом беседы; устная, спонтанная речь-импровизация, внушенная Святым Духом, снимает антиномию между божественным и человеческим словом.

Возвращаясь к самому слову *истина* в молоканском тезаурусе, отметим, что *истина* противопоставляется *правде*: *истина одна*, а *правда международная* (т.е. разная у разных народов), и *она виляет* (т.е. может меняться). Истина является вершиной иерархической цепочки понятий *истина* → *закон* → *обряд* → *порядок*. Истину обычный человек вместить не может, поэтому ему Богом дан *Закон*, сначала Моисеев, потом Христов как понятная словесная реализация истины.

Закон проявляет себя в *обряд*ах, разных у разных народов. Обряд интерпретируется молоканами как то, что *обрели от предков* (обряд – *обретенное*, народная этимология) и что заповедано Богом человеку; внешние формы обряда (кому когда петь, куда садиться, когда вставать) называются *порядком*. Порядок устанавливается человеком, и его можно менять. Обряд менять не следует, это установление божественное, но примененное к разным человеческим культурам. Закон дан Богом для всех один, и человек должен ему следовать неуклонно; сам же Бог может его менять (так, закон Моисеев был сменен Христовым законом). Истина же абсолютно неизменна и вечна.

Итак, бросим последний взгляд на смысловые, или концептуальные, поля истины в рассмотренных трех культурах.

В старообрядчестве концепт истины представлен словом *правда*, связанным прежде всего с такими словами и выражениями, как *праведник, праведный путь, неправда, прелесть, грех, пустыня, покаяние, молитва, спасение*.

В духовборских текстах слово-концепт *истина* связан с концептами *внутренний человек, внутренний Христос, духовборец*; прилагательное *истинный* входит в состав сочетаний *истинное учение, истинный человек, истинные во истинных*; все это противопоставлено *наружному* как неистинному; в концептуальное поле истины входят также понятия чуда и ясновидения.

Наконец, в молоканстве истина связана с понятиями дара, откровения, "открыши", истинного и ложного пророчества; говорения на языках, премудрости, знания; закона, обряда и порядка.

Чем же вызваны различия в рассмотренных интерпретациях божественной истины и в расставлении акцентов на способах ее достижения (праведная жизнь в миру или в пустыне у старообрядцев) или на формах контакта с ней (*истинные во истинных*, их прозрения и совершаемые ими чудеса у духовборцев; откровения и пророчества у молокан)? Выскажем несколько предположений:

1. Отсутствие внешней обрядности в народном протестантизме может компенсироваться большим, чем в старообрядчестве, мистицизмом, т.е. непосредственными личными контактами человека с Богом.

2. У старообрядцев, как и у всех православных, отсутствует хилиастическая идея тысячелетнего царства. Царство Божие – только на небесах, и весь земной путь – приготовление к нему. В учении духовборцев и молокан (особенно прыгунов) говорится, что после конца света избранные будут вместе с Христом царствовать на обновленной Земле в течение тысячи лет. Истина вернется на Землю, а пока Истинный Дух пребывает в избранных людях.

3. Сами слова *истина* и *истинный* в русском протестантизме были в определенной степени вербальным способом самоутверждения и самозащиты гонимого учения от господствующей православной идеологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные концепты. М.: Наука, 1991.

2. Изложение догматов и молитвенник истинных духовных христиан / Сост. Н.М. Анфимов. Тифлис, 1912.

3. Кусе Х. Истина и проповедование. "Живое слово" архиепископа Амвросия (Ключарева, 1820–1910) и соотношение между гомилетикой и риторикой // Наст. сборник.

4. Материалы к истории и изучению русского сектантства и раскола / Под ред. В.Г. Бонч-Бруевича. СПб., 1909. Вып. 2: Животная книга духовборцев.

5. Мочульский В. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. Варшава, 1887.

6. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.

7. Платон. Федр // Платон. Сочинения: В 3 т. М., 1970. Т. 2.
8. Сборник русских духовных стихов, составленный В. Варенцовым. СПб., 1860.
9. Федотов Г. Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991.
10. [Флоренский П.] Столпъ и ѿтверженіе Истины: Опыт православной Феоидицы въ двѣнадцати письмахъ... М., 1914.

Е.В. Падучева

РАЗРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИИ РЕАЛЬНОСТИ КАК ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Соотношение мира реальности с миром вымышленным – одна из любимых тем В. Набокова (ср. [3] о биспациальности как приеме у Набокова или [6] о набоковских "других мирах"). В рассказе "Набор" эта тема предстает в новом свете.

Рассказ "Набор" (1935) – одно из самых сильных набоковских издательств над читателем. Впрочем, у читателя есть чем отомстить автору, поскольку прочесть рассказ, оставшись в дураках, т.е. ровно так, как задумал автор, можно только однажды.

Рассказ, занимающий в общей сложности неполных пять страниц, состоит из трех частей, разделенных в тексте отбивками.

В I части описывается пожилой человек, русский эмигрант (его имя – Василий Иванович – появится только во II части), который возвращается в трамвае с похорон некоего профессора Д., погруженный в воспоминания о своей сестре, умершей несколько лет назад. Повествование характеризуется всеми возможными признаками персонального стиля [4]: выделенным субъектом сознания и точкой отсчета для всех эгоцентрических элементов является герой. Ср. *нынче, в трамвае, возвращаясь с кладбища* – наст. время героя; эксклаивы и парентезы принадлежат герою; и вообще все внутренние состояния передаются изнутри, без посредничества повествователя, будь то в роли синхронного наблюдателя или в какой-либо еще: *...чуждая, чуждая душа [о сестре], на первый взгляд живущая умно, умело, бойко, но как ни странно, с удивительными просветами грусти, известной ему одному, за которые, собственно, он и любил ее так*. Третье лицо *он* здесь легко заменяется на *я*, поскольку это почти внутренний монолог (free indirect discourse)¹.

Однако во II части неожиданно возникает местоимение 1-го лица, очевидно принадлежащее повествователю, который, как мы теперь должны заключить, был синхронным наблюдателем всего происходившего с Василием Ивановичем в I части, хотя и не давал о себе знать. В первом абзаце

¹ Одно из слабых мест теории нарратива состоит в том, что случай всезнающего повествователя, строго говоря, не может быть отличен от отсутствия повествователя. Мы здесь исходим из того, что если в некотором фрагменте текста нет ясных следов присутствия рассказчика, то он может интерпретироваться от лица героя: достаточно, чтобы голос героя слышался в соседнем фрагменте.

II части местоимение I-го лица появляется дважды, оба раза в скобках, причем во второй раз читатель уже начинает подозревать неладное: *Наконец (и этот момент я как раз и схватил, после чего уже ни на минуту не упустил из виду рекрута) Василий Иванович вышел.* В каком смысле повествователь называет своего героя рекрутом?

Первое вхождение в текст местоимения I-го лица, в первых скобках, еще более странно: *В трамвае {...} до самого конца уцелел {...} старый присяжный поверенный (тоже никому, кроме как мне, не нужный).* Раскрывая смысл, заключенный в слове *тоже*, мы получаем: 1) повествователю нужен Василий Иванович (что естественно); 2) повествователю нужен еще и какой-то присяжный поверенный, личность которого остается неидентифицированной до самого конца.

Во втором абзаце II части (где Василий Иванович решает пока не возвращаться домой, а посидеть на скамейке в городском сквере) повествование снова приобретает спокойный персональный стиль, намеченный в I части. Дейктические элементы *недавно, вот сейчас* (в значении 'только что') интерпретируются через героя; бессубъектное двойное впечатление – *тоже*, а уж *чувство {...} утомления, приятность* – заведомо описываются с внутренней точки зрения: субъектом сознания везде является Василий Иванович.

Однако в третьем абзаце сгущаются метатекстовые элементы: *Хотелось бы все-таки понять, откуда оно, это счастье... Ведь, помилуйте, человек стар², болен, на нем уже метка смерти.* Теперь 3-е лицо – Василий Иванович – уже не заменяется на I-е, как это было в I части, и здесь можно предполагать присутствие повествователя: слышится, хотя и не вполне отчетливо, голос, не принадлежащий Василию Ивановичу. Дальше идут сведения о прошлом Василия Ивановича, которые тоже более естественны со стороны повествователя, чем героя; впрочем, здесь был бы более уместен всезнающий повествователь, а тот, который нам представился в первом абзаце, как мы знаем, "подхватил" своего героя только что, в трамвае.

Четвертый абзац – снова психологическое состояние Василия Ивановича, описываемое изнутри. Особенно отметим вводное предложение (поскольку вводность – краеугольный камень теории нарратива): *{...} безумно боялась покойников, потому что, как говорила, не верила в бога – Василий Иванович выступает в роли субъекта, эквивалентного говорящему в разговорном языке, который, пользуясь вводным оборотом, сочувственно*

² Заметим, что высказывание *Человек стар* само по себе неоднозначно в отношении точки зрения: оно могло бы принадлежать наблюдателю, но оно вполне уместно и со стороны нашего героя – по отношению к самому себе, но обращенное к кому-то (взгляд на самого себя со стороны), как в известном примере *Не дави живых людей, я еще не умерла*. Равным образом *все-таки и помилуйте* еще не свидетельствуют однозначно о присутствии постороннего лица. Только после того как появляется *метка смерти*, все предшествующие неоднозначности разрешаются в пользу наблюдателя. Неоднозначность точки зрения, безусловно, намеренная. Ср. неоднозначность слова *набор*, которое служит названием рассказа (в английском переводе – *Recruiting* – Набокову не удалось сохранить эту неоднозначность) Впрочем, аглийские переводы произведений Набокова вообще, как правило, в меньшей степени рассчитаны на спонтанную сообразительность читателя

передает чужие слова (см. о семантике вводности [2]): говорила, что не верит в Бога, сестра, а Василий Иванович принимает это за факт, который служит для него объяснением ее страха перед покойниками.

Но зато в пятом абзаце повествователь называет себя в 1-м лице (опять-таки только в скобках: *по-моему...*), но дает о себе знать с самого начала: метатекстовое *так вот* и дальше *эту сестру* – сам Василий Иванович не мог бы назвать свою сестру *этой*. Подтверждается, что вопрос об источниках счастья Василия Ивановича, поставленный в третьем абзаце, интересует повествователя, а не самого героя; а тогда, значит, и в третьем абзаце это был точно он. Повествователь на наших глазах конспективно суммирует свои наблюдения с целью выяснения источника счастья героя: *столь тяжелый, слабый, нерасторопный, что не мог ни встать с колен, ни сойти с трамвайной площадки (протянутые вниз руки милосердно склонившегося кондуктора – и, по-моему, еще кто то помогал из пассажиров)*. Возникает "контрапункт" точек зрения: сам герой заметил только помощь кондуктора. Теперь Василий Иванович описывается глазами внешнего наблюдателя (очевидно, того самого, который в этот момент производит свои калькуляции): *Он сидел тихо, {...} расставив широкие ляжки {...}*.

Очень существенна пейзажная зарисовка в конце II части – этот пейзаж видит в первую очередь повествователь, а не Василий Иванович (ср.: *Пчелы обслуживали цветущую липу над ним* – над Василием Ивановичем). Потом выяснится, что и Василий Иванович тоже держит какие-то элементы этого пейзажа в зоне внимания, т.е. что он и повествователь составляют некоего единого наблюдателя этого пейзажа. Важно, что пока Василий Иванович, со всеми приписанными ему свойствами и состояниями, включая "неприличное", т.е. неуместное в его положении, счастье, имеет место. Единственную точку напряжения составляет этот то возникающий, то пропадающий повествователь, являющийся синхронным наблюдателем событий и, следовательно, неизвестно как уместяющийся в замкнутом пространстве повествования, например в трамвае.

Подлинное испытание ожидает читателя в III части. Здесь в первых же строках появляется местоимение 1-го лица (*когда с ним и со мной случались такие припадки счастья*), причем это я уже никак не ограничивается ролью рассказчика-наблюдателя: начать с того, что это я – субъект эмоции, причем эмоция повествователя не то чтобы касалась повествуемых событий, что допустимо в традиционном нарративе (ср.: *Увы, было поздно*) – она преподносится читателю как факт самостоятельной значимости.

Через несколько строк загадка этого 1-го лица разрешается – читатель попадает при этом из огня да в полымя! Оказывается, что это я обозначает а в т о р а - с о з д а т е л я данного текста, так что все, что было до сих пор, не что иное, как плод творческого воображения этого я. (Далее мы будем обозначать того, кто стоит за первым появившимся я, повествователя, λ_1 , а того, кто стоит за вторым, автора-создателя, – λ_2 .)

Если с появлением повествователя, при переходе от I части ко II,

читатель должен был лишь скорректировать возникшую у него к этому времени картину происходящего (добавить в нее рассказчика-наблюдателя), то теперь читателю приходится полностью отказаться от всей картины, сложившейся у него к данному моменту: обнажается креативная рамка [3], которая разрушает иллюзию реальности.

Оказывается, что (в описываемом фиктивном мире данного текста) нет Василия Ивановича как человека с данным именем, национальностью (и соответствующим ей мировосприятием, ср. *среди чужой берлинской тесноты* во II части), сестрой, возвращающегося с похорон: есть только человек, которого $я_1$ "рекрутировал" в трамвае³ и с которым рядом $я_2$ сел на лавочку. Все остальные факты биографии и внутренней жизни Василия Ивановича суть создание нашего "автора" $я_2$, плод его творческого воображения: *и вот, спеша как-нибудь помрачнее и потипичнее меблировать утро Василия Ивановича, я и устроил ему эту поездку на похороны; сестра возникла из сходства "Василия Ивановича" с общественной дамой, которую помню с детства (помнит $я_2$); (...) и все это совершилось с головокружительной скоростью, потому что мне во что бы то ни стало нужно было вот такого, как он, для эпизода романа, с которым воюю третий год.*

Оказывается далее, что не было чувства счастья у Василия Ивановича, которому посвящена II часть; оно было у "автора", нашедшего свою модель, — это было творческое счастье. К вопросу о том, почему "автор" желал, чтобы (...) Василий Иванович разделял бы страшную силу моего блаженства, мы еще вернемся.

Таким образом, весь текст, который мы только что прочли, вплоть до появления $я_2$, является созданием "автора" $я_2$. По аналогии с вставным рассказчиком можно назвать "автора" $я_2$ в с т а в н ы м а в т о р о м. Главное отличие вставного рассказчика от вставного автора в том, что о существовании последнего читатель не предупрежден: до определенного момента мы принимали за фикцию первого порядка (т.е. как бы за реальность) то, что, как теперь оказывается, было фикцией второго порядка.

Когда Гоголь в конце 1-й части "Мертвых душ" говорит, что боится разбудить Чичикова упоминанием его имени, возникает абсурдная ситуация: *Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию...* Такое соприкосновение реального и фиктивного мира не имеет разумной интерпретации (картина, складывающаяся из соположения текстовых и метатекстовых сущностей, противоречива). Набоков между тем благополучно избегает нисхождения в абсурд; дело в том, что его "автор" оказывается особого рода персонажем: он принадлежит миру вымысла, как и его рекрут. Это становится очевидным в последнем абзаце рассказа: тот, кого мы до сих пор называли "автор" $я_2$, т.е. сидевший на скамейке с "Василием

³ На что рекрутировал "Василия Ивановича" $я_1$ — не вполне ясно, поскольку роман пишет $я_2$, а не $я_1$; ср.: *был заповедно связан со мной, обреченный появиться на минуту в глубине какой-то главы, на повороте какой-то фразы* (отметим здесь аллюзию к известному месту из "Шинели" Гоголя: *не на середине строки, а скорее на середине улицы*): здесь со мной = $я_2$.

Ивановичем", называется мой представитель⁴: Мой представитель был теперь один на скамейке, и так как он передвинулся в тень, где только что сидел Василий Иванович, то на лбу у него колебалась та же липовая прохлада⁵, которая венчала ушедшего.

То я, от которого образовано здесь притяжательное местоимение мой, – это как бы уже я самого Набокова (я₃). Следовательно, вставной автор я₂ – фикция: это такое же создание более высоко стоящего сознания, как Василий Иванович из I и II частей – создание вставного автора. "Автор" я₂ – это очередной двойник настоящего автора. Если в традиционном нарративе автор имеет право на одного представителя, то здесь их три. В английском переводе рассказа (принадлежащем самому Набокову) развенчание вставного автора в заключительном абзаце еще более однозначное: *My representative, the man with the Russian newspaper* {...}. Двухлицый персонаж я₂ называется по своему 3-му лицу, где его принадлежность к миру персонажей несомненна. Зато нарушения границ между вымышленным и реальным миром не происходит: не творец сидит на одной скамейке с героем, а два героя. Речь идет всего лишь о лингвистике: расширяется круг возможных интерпретаций местоимения я в нарративе.

Итак, соотношение между я₂ и я₃ выяснено. Посмотрим теперь на я₁ и я₂. Персонаж я₁ из II части может быть идентифицирован как рассказчик, и читатель с готовностью эту версию принимает. С другой стороны, я₂, который разрушает иллюзию реальности, вводится в III части как новое лицо: *Рядом, на ту же {...} скамейку, сел господин с русской газетой. Описать этого господина мне трудно да и незачем, автопортрет редко бывает удачен. И далее про "Василия Ивановича" говорится: Почему я решил, что человека, с которым я сел рядом, зовут Василий Иванович? – как если бы у я₂ не было предшествующей совместной с Василием Ивановичем поездки в трамвае.*

В конечном счете, правда, я₁ и я₂ отождествляются, но как бы нехотя: в последней сцене Василий Иванович представляется как человек, которого я сначала увидел опускаемым из трамвая и который теперь сидел рядом. Набоков заведомо не хочет, чтобы я₁ и я₂ был просто один и тот же персонаж, который сначала заметил "Василия Ивановича" в трамвае, а потом сел рядом с ним на скамейку. В самом деле, это должны быть разные сознания: ведь я₁ фигурирует на том этапе, когда Василий Иванович еще имеет нетронутую всю свою биографию, включая состояние счастья, – я₁ интересуется только его причиной; между тем с момента появления я₂ счастья Василия Ивановича как не бывало. В то же время

⁴ Тем самым для полного понимания личности я₂ читатель должен, вообще говоря, дойти до конца рассказа. Впрочем, теоретически в этом нет необходимости: как только субъекту я приписывается какой бы то ни было неметатекстовый предикат, он становится персонажем, ср. [8] Any narration about oneself turns oneself into a character.

⁵ Липовая тень или прохлада несколько раз фигурирует в рассказе как символ мира, противопоставленного реальному, – либо потустороннего, как в начале, в сцене на кладбище, либо вообще иного, в данном случае – мира вымысла (см. [6]).

свое имя этот человек имел еще в трамвае, т.е. находясь в ведении $Я_1$, так что как минимум $Я_1$ и $Я_2$ должны обмениваться информацией. Между $Я_1$ и $Я_2$ обычное для Набокова отношение двойничества – относительно безболезненный способ преодоления абсурда, которым чревато столкновение мира реальности с миром вымысла⁶.

Вернемся теперь к тому моменту текстового времени (оно же и читательское время), когда $Я_2$ говорит: *Почему я решил, что человека, с которым я сел рядом, зовут Василием Ивановичем?* В нашем поле зрения остались "автор" и "Василий Иванович" – пожилой человек на лавочке. С этого момента рассказ совпадает по своей композиции с картиной Вермеера Дельфтского "Художник и его модель": есть "автор" (входящий в картину как персонаж); есть модель (пожилой человек, сидящий рядом с ним на лавочке); есть художественное полотно – это текст I и II части рассказа; в данный момент оно не должно быть видно особенно отчетливо, как и в картине Вермеера, где его загораживает собой художник. Теперь мы ясно понимаем, что тема нашего текста начиная с этого момента (а вообще говоря, и с самого начала) – вовсе не судьба русского эмигранта, а "о поэте и поэзии". В тот момент, в котором мы сейчас находимся, $Я_2$, вставной автор, рассказывает, в модусе *Ich-erzählung*, о своих переживаниях по поводу происшедшего. Одновременно он является синхронным наблюдателем того, что происходит с "Василием Ивановичем" дальше, т.е. выступает в роли рассказчика. Вопрос *Почему я решил (...)?* обращен к читателю, и $Я_2$ имеет на него право как рассказчик.

Иными словами, рассказ, проделав этот немислимый кульбит, как ни в чем не бывало возвращается в русло традиционного нарратива. Вставной автор, выступая в роли рассказчика, описывает нам, с одной стороны, свое состояние, а с другой – сидящего рядом "Василия Ивановича". Последний теперь представлен глазами внешнего наблюдателя: что он делает, на что смотрит – обо всем этом рассказчик судит по внешним проявлениям (например: *только сновали зрачки за стеклами*); получается почти пародия на внешнюю позицию наблюдателя в смысле [9].

Текстовое время не движется вплоть до того момента, как Василий Иванович начнет уходить. Прош. время глаголов интерпретируется как прош. нарративное (как в *Я ехал на перекладных из Тифлиса*), т.е. не соотношенное с настоящим моментом (см. [5]). В частности, в прош. нарративном вставной автор описывает свои эмоции в данный момент: *Какое мне было дело, что толстый старый человек, который (...) теперь сидел рядом, вовсе, может быть, и не русский? Я был так доволен им!*

Ситуация настолько неабсурдная, т.е. два героя настолько приблизились друг к другу в созданной картине, что Набоков специально заботится о том, чтобы вернуть нам ощущение искусственности происходящего, напоминая, что одно из двух действующих лиц все-таки не обычный герой, а как-никак его, Набокова, представитель: *Василий Иванович (...) взглянул на мою газету, на мое загрифованное под читателя*

⁶ Когда миры вставляются один в другой, возникает, естественно, проблема cross world identification, известная из логики.

лицо; мол, на самом деле я не обыкновенный читатель (газеты)⁷, а еще и писатель который уже сочинил трою него – не очень, правда, ясно когда – данный текст (его I и II часть) и еще сочинит роман.

Сомнение с точки зрения традиционных норм грамматической правильности нарратива вызывает употребление *вот*, опять-таки в скобках, при описании деревянного автомобиля, за которым следит взором Василий Иванович (*вот упал набок, но продолжал ехать*). Дело в том, что нормальное употребление такого *вот* при глаголе несов. вида требует контекста наст. времени, ср.: *Вот бегают дворовый мальчик; Вот парадный подъезд*. Законное употребление *вот* с прош. временем (сов. вида) – в контексте действия главного персонажа, такого действия, которое сдвигает текстовое время, ср. в конце рассказа: *Вот с усилием он поднялся, выпрямился, переложил трость из одной руки в другую и (...) спокойно двинулся прочь*.

И еще одно нарушение – форма наст. времени: *если не ошибаюсь, навеки*. Откуда у y_2 это наст. время? Ведь до сих пор его время было прошедшее. В принципе различие между *я* и *он* в нарративе состоит в том, что у *он* настоящего момента нет вообще: 3-е лицо существует только в нарративе; между тем 1-е лицо мы можем мыслить имеющим наст. время за пределами текста – это наст. время настоящего автора. Но ведь y_2 – это вставной автор! Не стоит ли за этим наст. временем уже y_3 , т.е. сам Набоков, который поднимет свое забрало в следующем абзаце?

Как мы видим, эксперимент увенчался успехом: вставной автор, т.е. автор-творец; двойная степень фиктивности; и почти всюду этот усложненный нарратив поддается непротиворечивой семантической интерпретации. Конструкция со вставным автором возникает, конечно, на базе конструкции со вставным рассказчиком. Но вставной рассказчик обычно эксплицирован заранее, а конструкция со вставным автором с обязательностью проводит читателя через разрушение иллюзии реальности.

Иной опыт введения творящего автора в создаваемый текст описан в [1], где анализируются стихотворения Мандельштама "Я пью за военные астры" (*Я пью, но еще не придумал...*) и Бродского "Я вас любил" (*коснуться – "бюст" зачеркиваю – уст*). Разница между лирикой и нарративом в том, что в лирике автор "творит" в режиме наст. времени, и, подобно говорящему в разговорном языке, он имеет возможность исправлять текст по мере его создания; между тем для нарратива исходное время – прошедшее; порождаемый мир дистанцирован от момента порождения текста, т.е. форма времени исключает понимание текста как порождаемого синхронно его восприятию.

Эйхенбаум пишет по поводу метатекстовых фрагментов в "Шинели" Гоголя, что они "производят впечатление игры с повествовательной формой". Рассказ "Набор" – это не игра, а именно эксперимент, "разведка боем" в области новых возможностей жанра.

⁷ Опять – намеренная неоднозначность: читатель газеты и читатель – обычный человек в противоположность писателю.

Сформулируем теперь в общем виде отклонения от стандартной структуры нарратива, демонстрируемые рассказом "Набор". Их можно сконцентрировать вокруг нескольких интересующих писателя тем:

1. Отношение между творческим сознанием автора и образами, которые порождаются его воображением.

2. Подход к собственному сознанию как к чужому (см. [8]; ср. [1]).

3. Чисто формальная тема – условности нарративного жанра.

Тема 1 яснее всего обнаруживается в размножении субъекта речи. Традиционная фигура повествователя раздваивается: нормально, чтобы повествователь-наблюдатель был представителем настоящего автора в тексте (настоящий автор-создатель в тексте не присутствует); здесь же сначала возникает обычный повествователь; потом появляется автор-создатель данного текста; а в самом конце и он оказывается всего лишь персонажем.

С другой стороны, на фоне этой серии двойников автора проходит последовательная линия намеков на то, что я и Василий Иванович – это одно и то же лицо или по крайней мере сходные личности:

– с ним и со мной случались такие припадки счастья;

– "Василий Иванович" и "автор" вместе являются совокупным наблюдателем пейзажа с трамваем и грузовиком во II части;

– наконец, навязчивое желание "автора", чтобы "Василий Иванович" разделил его ощущение счастья.

Все эти намеки – это тоже обыгрывание законов повествовательного жанра, позволяющих автору вселяться в героя, чувствовать к нему эмпатию и в той или иной степени с ним отождествляться. При этом Набоков пародирует традиционный нарратив, поскольку нормально, чтобы автор разделял те чувства, которые по ходу событий испытывает герой, а здесь героя заставляют испытывать чувства, нахлынувшие на автора, правда не без связи с героем, но в его ипостаси рекрута (на "литературный фронт").

Тема 2 проявляется в различии дейктических номинаций одного и того же персонажа: одно и то же лицо называется – в авторской речи – то в I-м, то в 3-м лице (см. выше: *автопортрет редко бывает удачен*); такая смена точек зрения в традиционном нарративе не допускается. Эта тема более подробно разрабатывается в рассказе "Тяжелый дым" (не говоря о "Даре"), а здесь является второстепенной.

В этой связи вызывает подозрение фигура присяжного поверенного: *В трамвае {...} до самого конца уцелел еще один из бывших на кладбище – мало знакомый Василию Ивановичу старый присяжный поверенный (тоже никому, кроме как мне, не нужный), и Василий Иванович некоторое время занимался вопросом, не заговорить ли с ним*. Трудно предположить, что это случайный персонаж, который в дальнейшем не работает – ведь про него прямо сказано, что он нужен. Внешне он походит на Василия Ивановича (ср.: с выражением иронии на сильно запущенном лице), а в силу эмпатии вставного автора к Василию Ивановичу – и на вставного автора. Отождествление с я₂ объяснило бы никому, кроме меня, не нужный – мне как автору присяжный поверенный нужен, поскольку он мой предста-

витель, т.е. я сам. Однако предположение, что это тот самый человек, который в III части сядет на скамейку к Василию Ивановичу (т.е. "автор" λ_2 , но в той своей ипостаси, когда он еще изображается в 3-м лице, в котором он и появился в парке), приводит к противоречию: если присяжный поверенный – это λ_2 , это значит, что λ_2 был на кладбище; кроме того, Василий Иванович отдаленно знаком с присяжным поверенным, но не с человеком, который сидит рядом на скамейке. Возможно, введение этой странной фигуры обусловлено желанием Набокова запутать соотношение между λ_1 и λ_2 .

Теперь, если убрать приемы и эксперименты над нарративным стилем, то можно представить, как было дело (аналогично тому, как Л.С. Выготский восстанавливает фабулу, стоящую за сюжетом "Легкого дыхания"). В традиционном нарративе имеются: 1) автор, 2) герой и 3) представитель автора в мире героя – повествователь; повествователь может рассказывать историю из своей жизни, и тогда $2 = 3 = я$ (ср. [7]), что и имеет место в нашем случае (рекрут не герой, а скорее элемент пейзажа, поскольку важен только своей внешностью). В результате тема рассказа "Набор" – как я нашел человека, подходящего по внешнему виду для моего романа, набросал этюд на эту тему и испытал счастье от творческой удачи.

Рассказ "Набор" представляет интерес не только как эксперимент со структурой нарратива, но и с чисто лингвистической точки зрения, в частности в связи с разысканиями в области смысла текста. Рассказ наглядно показывает, насколько то, что естественно назвать смыслом текста, отлично от смысла предложения: если смысл предложения адекватно описывается с т р у к т у р о й (статической), то смысл текста – это не структура, а п р о ц е с с, в ходе которого одно понимание сменяется другим.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жолковский А. "Я вас любил..." Бродского // Блуждающие сны. М.: Сов. писатель, 1992.
2. Зализняк Анна, Падучева Е.В. О семантике вводного употребления глаголов // Вопросы кибернетики: Прикладные аспекты лингвистической теории. М., 1986.
3. Левин Ю.И. Биспациальность как инвариант поэтического мира В. Набокова // Russian Linguistics. 1990. [Vol.] 28.
4. Мани Ю.В. Об эволюции повествовательных форм (вторая половина XIX в.) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1992. № 1.
5. Падучева Е.В. Семантика вида и точка отсчета // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1986. № 5.
6. Alexandrov V.E. Nabokov's otherworld. Princeton Univ. Press, 1991.
7. Booth W.C. The rhetoric of fiction. Chicago Univ. press, 1961.
8. Connolly J.W. Nabokov's early fiction. Cambridge Univ. press, 1992.
9. Uspenskij B. A poetics of composition. Berkeley: Univ. of California Press, 1973.

СЛОВО *truth* В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШЕКСПИРА

(Риторический дискурс)

Лексическим воплощением понятия (концепта) "истина" для персонажей Шекспира, равно как и для его современников, служило слово *truth*. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что этому слову было отдано абсолютное предпочтение в создававшемся в 1604–1611 гг., одновременно с произведениями Шекспира, каноническом переводе Библии на новоанглийский язык – как в Ветхом, так и в Новом Заветах есть лишь единичные вкрапления слова *verity*. В текстах Шекспира у слова *truth* (291 пример) и выходящих из употребления его производных вариантов *troth* (20 примеров, из них – 10 фразеологизмов) и *trot* (2 примера, оба – фразеологизмы) обнаруживается помимо *verity* (11 примеров) еще один синоним – *sooth* (43 примера, из них – 39 фразеологизмов), оба синонима по числу и характеру их контекстов вполне можно не брать в расчет.

Как известно, основными словарными эквивалентами для *truth* являются в русском языке *правда* и *истина*. Распределение шекспировских контекстов со словом *truth* по данным двум разрядам оказалось задачей чрезвычайно сложной, непродуктивной и полностью вряд ли осуществимой – не в последнюю очередь благодаря тому высоко ценившемуся тогда искусству, с каким Шекспир был способен реализовать в одном и том же контексте два (и даже более) словарных значения единого многозначного слова (этот прием подмечает, например, в собственной речи один из его персонажей: *I moralize two meanings in one word* – R3.01.83). Противопоставление *правда* vs. *истина* во внимание, таким образом, здесь не принимается.

Остаются в стороне преобладающие среди контекстов с *truth* словосочетания с глаголами говорения – единственная, кстати, группа, которую можно было бы недвусмысленно соотнести с *правдой*: *to say – tell – speak – utter – report – proclaim – plead – confess althe truth* (обнаруживаются и единичные словосочетания *to say (the) sooth* и *to say verity*). Не разбираются также многочисленные фразеологизмы со значением утверждения, подтверждения, заверения: *truth!*, *in truth*, *in very truth*, *in pure truth*, *(the) truth is...*, *'tis (althe) truth* и т.п. Во всех прочих контекстах *truth* выполняет многообразные функции, ряд которых рассматривается далее.

Предпочтение такому ракурсу рассмотрения – функция слова в "поэтическом" (художественном) тексте – отдано не случайно. Творчество Шекспира "целиком укоренено" в той картине мира, "которую принято называть традиционалистской" [3, 34], и принадлежит тому "состоянию литературной культуры", которое тоже определяется как "традиционалистское", иначе – "риторическое" [1; 6 и др.]. Как пишет один из исследователей, "в рамках такого риторического типа культуры истиной можно играть и над истиной можно смеяться, можно из каких бы то ни

было соображений переворачивать истину, но опровергать и отрицать истину, собственно говоря, нельзя, потому что тут, в рамках такого типа культуры, в конечном счете всегда совершенно твердо известно, что *есть* истина и *что* есть истина, а вместе с тем все истинное еще и морально-положительно, так что можно только как угодно сдвигать весá внутри системы, но изменять самое систему, при которой есть нечто истинное, правильное, доброе, благое, совершенно немыслимо..." [5, 310]. Неудивительно отсюда, что ни в одном из шекспировских контекстов слово *truth* не называет собой непосредственный предмет высказывания. ИСТИНА как таковая персонажами Шекспира не обсуждается. Неудивительно также, что, оставаясь всегда чем-то действительно само собою разумеющимся, единственная дефиниция, которую получает в нескольких случаях *truth*, оказывается "круговой" или тавтологической – *truth is truth*:

...for truth is truth
To th'end of reck'ning.
(MM 5.01.45)

Единственным же атрибутом стоящего за ЭТИМ словом понятия оказывается молчание:

That truth should be silent I had almost forgot
(ANT 2.02.113);

подробнее об этом см. [8].

Синтаксическое оформление приведенных примеров (союзы *for* – *ибо*, *that* – *то*, *что*...) и предшествующий им в обеих репликах текст указывают на то, что *truth* используется в них в качестве своего рода аргумента в оценке той или иной вполне конкретной (видимой зрителю) ситуации. Как такое своего рода подкрепление главной мысли высказывания *truth* выступает регулярно, например:

DUKE SENIOR.
If there be truth in sight, you are my daughter.
ORLANDO.
If there be truth in sight, you are my Rosalind.
(AYL 5.02. 116–117)

Отметим, что для перевода этих двух реплик само собой напрашивается выражение: "если верить глазам, то...", однако у Шекспира наличествует именно *truth* – букв. 'если в зрении присутствует истина, ты моя дочь', '...ты моя Розалинда'. Это же клише ("верить – не верить глазам") может быть соотнесено и с другими оборотами со словом *truth*, например:

... they devour their reason, and scarce think
Their eyes do offices of truth...
(TMP 5.01.158)

Характерно, что в русских переводах, причем не только стихотворного, но и прозаического шекспировского текста, подобное "вспомогательное"

использование слова *truth* или модифицируется (ср. выше), или же часто опускается, ср., например:

SIR JOHN.

What, art thou mad? Art thou mad? Is not the truth the truth?

(1 H4 2.04 234)

Ф а л ь с т а ф.

Опомнись, опомнись! Как можно отрицать доказанное?

(пер Б. Пастернака [9, 100])

Речь всех персонажей Шекспира: от короля до ластуха, – есть риторический дискурс *par excellence*. В риторике же, как известно, так называемые внутренние доказательства, т.е. логика причин и следствий, ценились гораздо выше, чем доказательства внешние, т.е. улики. К этому предпочтению и восходит обязательное использование в "поэтическом" тексте в качестве квазидоводов в процессе убеждения самых разнообразных, разработанных и предписываемых руководствами по риторике приемов и средств образного воздействия. В их составе отвлеченные и абстрактные понятия играют весьма заметную роль:

Noble prince,

As there comes light from heaven, and words from breath,

As there is sense in truth, and truth in virtue,

I am affianced this man's wife as strongly

As words could make up vows

(MM 5.01.224)

(в нериторическом дискурсе все вышесказанное прозвучало бы примерно так: "Государь, он дал клятву на мне жениться").

Ценитель и знаток, по-своему исследователь, "классической словесности" Хорхе Луис Борхес, характеризуя ее "формулу письма", подчеркивает, что классический текст "описывает не первичное соприкосновение с реальностью, а итог его окончательной обработки с помощью понятий – это и составляет суть классического метода. Им, как правило, пользуются Вольтер, Свифт, Сервантес" [2, т. 1, 69]. То же самое относится и к Шекспиру (борхесовская "классическая словесность" принадлежит по времени и по другим признакам эпохе упоминавшегося ранее "традиционалистского" или "риторического" состояния литературной культуры). Примеры, аналогичные предыдущему (и не только со словом *truth*), имеются у Шекспира в изобилии. Ограничимся од. им.

В сцене из "Зимней сказки" готовится побег юной пары влюбленных. Организатор побега дает беглянке вполне конкретные указания: "Зайди в укромное место, возьми у своего дружка шляпу, надвинь ее на брови, прикрой лицо, приведи в беспорядок одежду, измени, насколько возможно, свою наружность, чтобы – я боюсь соглядатаев – пройти на корабль незнакомой":

– you must retire yourself

Into some covert, take your sweetheart's hat

And pluck it o'er your brows, muffle your face,

Dissemble you, and, as you can, disliken

The truth of your own seeming, that you may –
For I do fear eyes – over to shipboard
Get undescried.

(WT 4.04.654)

Над уровнем обыденной речи это достаточно точно переведенное на русский язык высказывание поднимается в первую очередь благодаря стиху. Но не только – "измени свою наружность" в оригинале звучит как "dis- liken / The truth of your own seeming", что дает примечательное по семантике компонентов выражение, в котором помимо *truth* знаменательны авторское употребление отрицательного префикса *dis-* перед нормативным тогда глаголом *to liken* 'уподоблять' ('рас-подобь) и использование герундия от глагола *to seem* 'казаться'. И это всего лишь проходная реплика.

Осмысление, или, по Борхесу, "обработка" ситуации посредством понятия "истина" (*truth*), осуществляется преимущественно в составе или при поддержке риторических фигур и тропов, обычно в их переплетениях. Так, например, *truth* участвует в образовании метафорических словосочетаний – как трафаретных ("свет истины", "двери истины"), так и авторских ("карп правды"):

To seek the light of truth while truth the while
Doth falsely blind the eyesight of his look.

(LLL 1.01.75)

...strong circumstances

Which lead directly to the door of truth.

(OTH 3.03.412)

Your bait of falsehood takes this carp of truth.

(HAM 2.01.62)

(первый из этих примеров – развернутый оксюморон, последний – антитеза). Имеются случаи, когда в словосочетаниях с предлогом *of* (по сию пору именуемых в английской грамматической традиции "генитивными") *truth* становится опорным компонентом, например: *the truth of valour* – букв. 'истина (воинской) доблести' или *the truth honour* – букв. 'истина (девичьей) чести':

Farewell, kind lord. Fight valiantly today –
And yet I do thee wrong to mind thee of it,
For thou art framed of firm the truth of valour

(H5 4.03.14)

(речь идет об Изабелле и Анджело из "Меры за меру"). *She, having the truth of honour in her, hath made him that gracious denial...* (MM 3.01.164).

В русском переводе этих двух реплик скорее всего были бы *истинная доблесть* и *истинная честь*, что точнее соответствует английским адъективным комплексам *true valour* и *true honour*, последние же, между прочим, наличествуют как таковые и у Шекспира (см., например: ADO 5.01.120, 2H4 1.02.169 и WT 2.01.160, R2 4.01.44), однако в обоих рассматриваемых случаях он отдает предпочтение именно существительному – "обработка с помощью понятий"?

"Генитивные" словосочетания со словом *truth*, т.е. двусоставные комплексы с *of* и с использованием притяжательного падежа (так называемый саксонский генитив), помогают представить себе, как (условно) идет ход образования у Шекспира типовых употреблений отвлеченного существительного. При наличии таких примеров, как:

... if the truth of thy love to me were...
(AYL 1.02.13)

или

... if you knew his pure heart's truth
(TGV 4.02.85)

становится яснее, почему *my/thy/his/her...truth* указывает в той или иной конкретной сценической ситуации и в том или ином конкретном контексте на истинную, подлинную, действительную и т.п. ЛЮБОВЬ. Но это никак не механическое переименование понятия. Семантические нюансы, которые приобретает в подобных случаях слово *truth* в произведениях Шекспира (в особенности в сонетах), заслуживают отдельного рассмотрения, определить их и тем более обозначить весьма сложно, что, как представляется, подтверждает следующая реплика из сцены соблазна в комедии "Сон в летнюю ночь" (вариант *troth* вводится для рифмы):

One turf shall serve as pillow for us both;
One heart, one bed; two bosoms and one troth.
(MND 2.02.48)

Фигуральное окружение отвлеченных понятий в риторическом дискурсе, по всей видимости, служило своего рода питательной средой и для таких семантических модификаций, которые у выражающих эти понятия слов могут быть затем зафиксированы лексикографически как словарные значения. Одним из них, наиболее распространенным, для слова *truth* было значение 'верность' – Богу, долгу, супругу и т.д. и, конечно, вассала – сюзеру. Это значение нередко участвует у Шекспира в популярной тогда фигуре речи "Synonimia", состоящей в употреблении цепочек (от трех и более) синонимичных слов и выражений с целью "придать высказыванию больше силы":

(реплика короля) ... in thy face I see
The map of honour, truth and loyalty
(2H6 3.01.203)

(реплика вассала) ... behold a subject die
For truth, for duty, and for loyalty
(R3 3.04.4)

(характеристика вассала) a figure of
truth, of faith, of loyalty
(PER 22:415)

Много чаще, чем фигура "Synonimia", у Шекспира встречаются двучленные комплексы синонимичных слов, также соотносимых с одним и тем же, единым, предметом или явлением, действием или процессом, при-

106

наком или качеством (см. об этом [7]). Традиция их употребления восходит к периоду англо-норманнского двуязычия (XII–XV вв.), когда двойные – исконное плюс заимствованное – словесные обозначения регулярно употреблялись "для подстраховки", в особенности в делопроизводстве [10, 208] (Борхес пишет о "притягивавших Шекспира бездонных возможностях загадочного английского языка с его двумя переменчивыми регистрами германской и латинской лексики" [2, т. 3, 497]). Самым частым в паре компаньоном (исконного) *truth* предстает у персонажей Шекспира (заимствованное) слово *loyalty*:

Master, go on, I will follow thee
To the last gasp with truth and loyalty
(AYL 2.03.70)

...to defend my loyalty and truth
To God, my king, and my succeeding issue
(R2 1.03.19)

Слово *loyalty* присутствует и почти во всех многочленных комплексах (см., например, выше). А от двучленного комплекса *truth* и *loyalty* всего один шаг до употребления *truth* в качестве равнозначного последнему, т.е. *truth* как *loyalty*, например:

In sign of truth, I kiss your highness' hand.
(ЗН6 4.09.26)

The boy disdains me.
He leaves me, scorns me. Briefly die their joys
That place them on the truth of girls and boys.
(СЫМ 5.6.107)

Адресатом "верности" нередко является сам говорящий. Так, Кориолан в одноименной трагедии, отказываясь от навязываемого ему публичного жеста – выйти на площадь и просить милостыню с шапкой в руке, – заявляет:

I will not do't
Lest I surcease to honour mine own truth,
And by my body's action teach my mind
A most inherent baseness!
(COR 3.02.121)

Выражение идеи "верности самому себе" посредством слова *truth* (в сочетании с притяжательным местоимением – не только с *my*, но и со всеми остальными в ед. числе) – одно из самых примечательных употреблений этого слова в данном его словарном значении. "Верность себе", будучи неотъемлемой чертой характера многих героев и героинь Шекспира (помимо Кориолана – Изабелла, Дездемона и др.), становится доминантой самого, пожалуй, проникновенного из его образов – Корделии, которой Лир в знаменитой сцене бросает с издевкой:

Thy truth then be thy dower
(LR 1.01.108)

На противоположном конце шкалы можно поместить такое прозаичное по контрасту словарное значение *truth*, как "факт или совокупность фактов" – дефиниция Большого оксфордского словаря [11, 3224], она иллюстрируется в нем, среди прочих, и примером из Шекспира (ANT 4.05.124). Здесь, однако, стоит привести два других и заодно на их подстрочном (sic!) переводе, выполненном авторитетнейшим отечественным шекспироведом М.М. Морозовым, еще раз продемонстрировать закономерное отсутствие в нем эквивалента слову *truth* (вторжение в перевод нериторического дискурса):

(1) CASSIO.

I pray you, sir, go forth,
And give us truth who 'tis that is arrived
(ОТН 2.01.59)

К а с с и о. Прошу вас, синьор, пойдите и
узнайте, кто прибыл, и сообщите нам
[6, 486]

(2) IAGO.

You charge me most unjustly.
RODERIGO.
With nought but truth.
(ОТН 4.02.189)

Я г о. Вы несправедливо обвиняете меня
Р о д р и г о. Совершенно справедливо.
[6, 539]

По-своему оба этих, без тропов и фигур, примера впечатляют не менее, чем им предшествующие. Они в такой же, если не в большей, мере свидетельствуют о том, что в риторическом дискурсе "писатель приходит к реальности через слово", а "не к слову через реальность" [4, 139]. И в них тоже, как и во всех случаях его употребления, "риторическое" слово *truth* служит отображению непреложных в той картине мира ИСТИНЫ и ПРАВДЫ: "Риторическое слово не отпускает от себя писателя: оно оформляет все жизненное, собирает в себе всякий смысл увиденного и познанного в реальности, но писатель и видит жизнь только через оформляющее ее смысл слово..." [там же].

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.
2. Борлес Х.Л. Сочинения: В 3 т. М., 1994. Т. 1: 3.
3. Косиков Г.К. К теории романа (роман средневековый и роман нового времени) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 1 (2).
4. Михайлов А.В. Роман и стиль // Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. М., 1982.
5. Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная реалья XVII–XIX вв. // Античность как тип культуры. М., 1988.
6. Морозов М.М. Избранные статьи и переводы. М., 1954.
7. Полторацкий А.И. Соотношение лексических синонимов в англоязычной художественной речи // Тожество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990.

8. Полторацкий А.И. Проблема "слов" и "дел" в произведениях Шекспира // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994.

9. Шекспир В. Избранные произведения. М., 1953.

10. Crystal D., Davy D. Investigating English style. L., 1969.

11. The compact edition of the Oxford English dictionary. Oxford, 1980. Vol. 2.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ADO	– <i>Much Ado About Nothing.</i>	LLL	– <i>Love's Labour's Lost.</i>
ANT	– <i>Antony and Cleopatra.</i>	LR	– <i>King Lear.</i>
AYL	– <i>As You Like It.</i>	MM	– <i>Measure for Measure.</i>
COR	– <i>Coriolanus.</i>	MND	– <i>A Midsummer Night's Dream.</i>
CYM	– <i>Cymbeline.</i>	OTH	– <i>Othello.</i>
HAM	– <i>Hamlet.</i>	PER	– <i>Pericles.</i>
1H4	– <i>The First Part of King Henry the Fourth.</i>	R2	– <i>King Richard the Second.</i>
2H4	– <i>The Second Part of King Henry the Fourth.</i>	R3	– <i>King Richard the Third.</i>
H5	– <i>King Henry the Fifth.</i>	TGV	– <i>The Two Gentlemen of Verona.</i>
2H6	– <i>The Second Part of King Henry the Sixth.</i>	TMP	– <i>The Tempest.</i>
3H6	– <i>The Third Part of King Henry the Sixth.</i>	WT	– <i>The Winter's Tale.</i>

С.М. Толстая

МАГИЯ ОБМАНА И ЧУДА В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Обман – не только речевой акт, прагматический коррелят лжи ("говoreние неправды"), но и поведенческий акт, действие, посредством которого адресат вводится в заблуждение относительно состояния дел. Обман-действие, однако, по своему логическому содержанию отличается от вербального обмана, так как к самому действию (в его прямом, не символическом значении) истинностная оценка неприменима. Если человек закрывает глаза, делая вид, что он спит, то истинным или ложным может быть либо заключение "он спит", которое делает адресат при виде закрытых глаз, либо символическое сообщение "я сплю", передаваемое на языке жестов отправителем. Но не сами закрытые глаза и не действие закрывания глаз.

Обман – всегда тайный акт, он совершается скрыто, поэтому понятие "ритуальный обман", т.е. обман предписанный, ожидаемый, совершаемый по традиции, кажется парадоксальным. Тем не менее в народной культуре ритуальный обман (как вербальный, так и акциональный) часто служит магическим приемом для защиты от нечистой силы, болезней и других опасностей. Этот парадокс объясняется тем, что в ритуале формальный адресат (участник обряда, группа участников, весь деревенский социум), если он есть, не совпадает с "действительным", сакральным адресатом, которому предназначен ритуал. Таким "действительным" адресатом и прямым объектом обмана всегда является некая высшая сила, находя-

щаяся за пределами "этого" мира. И если для обрядового адресата совершаемое действие или произносимый текст не несет в себе ничего нового и его несоответствие истине заранее известно, то для подлинного адресата, непричастного в силу своей "иномирности" к земным установлениям, "сговор" людей остается неизвестным и обманные действия и речи принимаются им "за чистую монету", без всякого подозрения (ср. выражение *слепая судьба*) [8].

В южнославянской народной традиции широко применялись основанные на мотиве обмана ритуалы защиты новорожденного в семьях, где "не держались" (т.е. умирали в младенчестве) дети. Для того чтобы злая судьба (смерть) не унесла очередного ребенка, ее старались обмануть, ввести в заблуждение, изобразив дело так, что родился не ребенок, а волчонок или дьяволенок (отсюда популярность имен типа сербского *Вук* 'волк'), что ребенок не родился, а был найден или куплен (ср. имена типа болгарского *Найден*, а также стереотипные формулы, объясняющие детям, что их купили на базаре, нашли в капусте и т.п.) и, значит, это не тот, кого должна забрать смерть; что ребенок родился не в этом доме, а в другом, у других родителей.

Все эти мотивы "разыгрывались", получали воплощение в ритуале. Когда рождался ребенок в семье, где умирали дети, повивальная бабка выходила и кричала во весь голос: "Слушайте, все люди! Родила волчица волка всему свету на знание, а ребенку на здоровье!"; или: "Слушайте все, от мала до велика, родился у дьявола дьяволенок!" В течение первых семи, наиболее опасных, дней возле роженицы лежал запеленутый валеk для белья или молот, заменяющий ребенка [9]. Прежде чем первый раз уложить ребенка в колыбель, туда клали какое-нибудь живое существо — курицу, петуха или кошку, чтобы они, а не ребенок стали возможной жертвой злых сил. Кошка могла замещать человека и в других опасных ситуациях. Когда после похорон снимали покрывало с зеркала, сначала к зеркалу подносили кошку и лишь после этого разрешали смотреть людям [10, 112]; когда переезжали в новый дом, первой в дом пускали кошку. Эти обычаи связаны с представлением о том, что первое лицо подвержено наибольшей опасности и подмена человека животным или предметом должна обезопасить его. У сербов Косова известен обычай в случае двух смертей в доме в течение одного года хоронить вместе со вторым покойником тряпичную куклу, т.е. как бы замещать ею возможную третью жертву повадившейся смерти [16, 312].

Чтобы обмануть судьбу, у южных славян сразу после рождения ребенка повивальная бабка или мать выносили его на дорогу, на перекресток, на мост, к церкви и т.п. и оставляли, дожидаясь в укрытии, чтобы какой-нибудь прохожий подобрал ребенка. Нашедший становился кумом или объявлял себя родителем, продающим своего ребенка, а мать или бабка становились покупателем. Иногда, чтобы предотвратить смерть новорожденного ребенка, мать разыгрывала сцену его смерти, изображала свое горе, громко оплакивала его [9]. Имитация смерти в случае тяжелой болезни ребенка практиковалась и у белорусов [5, 43]. Случалось, что родители инсценировали продажу своего ребенка в другой, благополучный дом: "продавали" ребенка соседям за некоторое количество муки,

приглашали в дом красивого здорового парня и просили, чтобы он "купил" ребенка у отца, и тот брал ребенка на руки и платил золотой или серебряной монетой [9].

Из других форм символической подмены ребенка известны ритуальная кража ребенка из дома, где "не держались" дети, обычай первого кормления новорожденного не матерью, а другой женщиной, обычай смены кумов и приглашения на роль крестных родителей случайных людей, первых встречных, инородцев или иноверцев и т.п. Во всех этих случаях действует магия "отстранения", представления охраняемого ребенка иным, чужим, не тем, кому определен приговор судьбы.

С той же целью ребенка до определенного времени (семь дней, год, семь лет и больше) не называли его настоящим именем, данным при крещении, а пользовались именем-заместителем, причем девочку могли называть мужским именем, а мальчика – женским, христианского ребенка – мусульманским именем или наоборот. Иногда настоящее имя скрывали даже от матери, а она всю жизнь старалась его не узнать. На обман демонов были рассчитаны имена с отрицательной коннотацией, например серб. *Мртвак* ("Мертвый"), *Кривош* ("Кривой"), *Малко* ("Маленький") и т.п. Ср. также распространенный запрет хвалить ребенка, особенно новорожденного, и даже предписание "ругать" его, называть его безобразным, уродцем и т.п. В случае тяжелой болезни ребенка и грозящей ему смерти применялся прием смены имени, переkreщивания и "перераживания", т.е. имитации вторичного рождения: мать брала ребенка и с помощью повивальной бабки трижды протаскивала его через ворот своей сорочки сверху вниз или "продевала" его через прокоп в земле, через раздвоенный ствол дерева и т.п.

С помощью обмана южные славяне защищали близнецов и так называемых однодневников и одномесячников (детей одной матери, родившихся в один день или в один месяц) от смерти, грозящей им, по народным верованиям, в случае смерти их "двойника" (т.е. близнеца, однодневника или одномесячника). Оставшегося в живых отводили на кладбище и символически погребали, присылая землей, или же он ложился в гроб, скрещивал руки на груди и изображал покойника, а затем вылезал из гроба, оставляя вместо себя какую-нибудь свою вещь или предмет, имеющий одинаковые с ним размеры: мерку роста – нитку, прут, специально изготовленную в его рост свечу. В центральной Болгарии в могилу опускали камень соответствующего веса со словами: "Оставляю тебе камень, он будет тебе братом". Иногда в гроб клали черного цыпленка или щенка. При этом заключалось новое "побратимство", с новым лицом, вместо умершего [4].

Чтобы обмануть демонов и уберечь от них невесту (которая особенно подвержена опасности как лицо, переживающее переходный, пограничный момент жизни), на свадьбе у хорватов, когда приезжают за невестой, сначала выводят "ложную" невесту [15, 23]. Вероятно, подобную защитную функцию имели и широко употребительные в свадебных вербальных ритуалах иносказательные приговоры типа русских "Нет ли у вас продажной телушки? – У меня есть бычок" или "У вас стог годовалый, у нас жеребенок неезжалый. Нельзя ли у вас стог купить да жеребенка накормить?" [13, 90, 92] и т.п.

Защитную роль мог играть и вербальный обман (сообщение неправды). В сербской области Метохия был обычай, по которому, когда в семье, где рождались одни девочки, появлялся на свет долгожданный мальчик, нельзя говорить правду, а следовало распуścić слух, что снова родилась девочка. Эта ложь должна была защитить новорожденного от смерти [6].

Вербальный обман был одним из способов отгона градовой тучи у сербов. При ее появлении женщина с одного конца села кричала на другой конец, спрашивая, в какой день недели в этом году был Юрьев день. Ответ должен был быть неправильным, следовало назвать один из предшествующих дней, тогда туча оказывалась обманутой и поворачивала вспять. Если же по ошибке назывался правильный день, вопрошавшая осыпала отвечавшую бранью [12]. В данном случае магия обмана заключалась не в подмене защищаемого объекта, а в движении по оси времени вспять, что должно было обеспечить обратное движение тучи, возвращение ее восвосяси.

Сообщение неправды, ложь, небылицы могли приобретать не только защитное, но и продуцирующее значение. Например, во время крашения пряжи или какого-нибудь предмета сербы считали полезным рассказывать что-нибудь выдуманное, сообщать ложное известие, тогда краска якобы лучше принималась [7, 16]. С этим представлением связан сербский фразеологизм *Немој да ме фарбаш* – "Нечего меня обманывать" (букв. 'Нечего меня красить').

У всех славян считается, что ложь благоприятствует разведению домашней птицы. Сажать птиц на яйца старались скрытно от посторонних. Чтобы защитить наседку и ее потомство от дурного глаза и нечистой силы, рекомендуется "кого-нибудь обмануть, лучше всего священника". Предпочитается также сажать наседку на яйца от чужих кур: вымененные у соседей, украденные, выпрошенные, причем при выпрашивании также следует лгать [2].

Любопытно восточнославянское верование, приписывающее лжи положительное воздействие на процесс литья колоколов. В Карпатах, по свидетельству Ивана Франко, было принято, когда где-нибудь отливали колокол, распускать всякие невероятные слухи и вести, тогда звон колокола будет громким и так широко разноситься по округе, как расходится молва. Поэтом, услышав какую-нибудь неправдоподобную новость, говорили: "Ну, то певню десь новий дзвін ллють" [14, 192] – "Ну, видно, где-нибудь новый колокол отливают". Сходное верование записано в Шадринском уезде Пермской губ.: "Прошел слух, что ночью в запертых хлевах кто-то на глазах сторожей стрижет волну с овец: одни приписывают это дело ведьмам, другие нечистому духу, [...] некоторые же считают обманом, пущенным потом, что где-то льют колокол" [3, 1012].

Приведенные примеры, конечно, не исчерпывают темы магического использования обмана в традиционной народной славянской культуре. Это лишь некоторые, лежащие на поверхности, наиболее явные случаи такого рода магии. Между тем несомненно, что принцип обмана как один из механизмов ритуального поведения и мифопоэтического творчества носит более общий характер. Элемент "обмана" присутствует во всяком символе, символическом действии, во всяком замещении одного объекта другим, во

всякой подмене, "сдвиге", наконец, в метафоре, метонимии и других "тропах" символического языка культуры, посредством которого человек веками ведет свой диалог и "игру" с окружающим его миром.

Еще одним видом "отклонения от истины", получающим в народной культуре сакральное значение и магическое применение, является чудо, точнее – сообщение о чуде. В отличие от лжи и обмана, которые утверждают то, чего не было или нет, но что могло бы быть, чудо сообщает о том, чего в действительности быть не может. Поэтому мотив чуда становится знаком сверхъестественности, потусторонности, отсылки к высшим или демоническим силам и их вмешательства в земную жизнь.

В сербской народной традиции мотив чуда используется для отгона градовой тучи. При появлении тучи женщины выходят из дома и кричат, обращаясь к утопленнику по имени Стояна (по народным представлениям, утопленники и самоубийцы предводительствуют тучами): "О, Стояна-утопленница! Верни белое стадо [облаков]! Здесь большее чудо, чем там, – здесь семилетняя девочка родила семь внебрачных детей, их пеленками все поле покрыла, чтобы ваши овцы не шли на наше поле. Верни стадо, Стояна!" (имени *Стояна* к тому же приписывается останавливающее действие в силу этимологической магии). "Предъявление" чуда может сочетаться в подобных заклинаниях с угрозами туче: "Не иди, черная туча! Здесь чудо великое: гайдуцкая могила раскрылась, тело гайдука ожило, ружье гайдука заблестало! Берегись, черная туча!"

Особенно эффективным средством отгона считается столкновение, противоборство двух чудес (тучи – небесного чуда и чуда земного), выражаемое устойчивой формулой "Не иди, чудо, на чудо!": "Ей, не иди, чудо, на чудо! У нас чудо великое: здесь девочка родила девочку, девочку девятилетнюю! Не иди, чудо, на чудо: у нас чудо великое!" Тема внебрачного ребенка в заклинаниях градовой тучи не случайна: согласно верованиям, известным всем славянам, рожденный вне брака и умерщвленный, зарытый в землю или брошенный в воду ребенок вызывает стихийные бедствия – засуху, проливные дожди или град [12].

У русских с помощью чуда защищались от мора и повальных болезней людей и скота (от "коровьей смерти"). В южнорусских областях при совершении охранительного обряда опаживания села пропаханную борозду "засевали" песком и пели: "Вот диво, вот чудо! Девки пахнут, бабы песок рассевают; когда песок взойдет, тогда к нам и смерть придет!" [1, 567]. В этом тексте, без которого ритуал остается семантически и прагматически неполноценным, магия чуда ("девки пахнут", "бабы сеют песок") поддерживается и подкрепляется магией "невозможного" ("когда песок взойдет"). Ср. широко распространенные у славян "отрицательные" фразеологизмы типа русского "когда рак на горе свистнет", "как от козла молока", украинского "Така правда, як на вербі груші" и т.п.

К разряду земных чудес причисляется также женская нагота и особенно женские гениталии, демонстрация которых служит одним из наиболее эффективных способов устрашения и отгона градовой тучи. В некоторых селах западной Сербии при появлении градовых туч женщина высоко задирала подол, бегала вокруг дома и кричала: "Не иди, змеюка, на змеюку. Эта моя змеюка [т.е. vulva] немало таких змеюк проглотила!" В других

селах при тех же действиях произносили заклинание, в котором vulva, как и градовая туча, называлась чудом: "Беги, чудо, от чуда чудного, вы не можете быть рядом!" [12]. Аналогичный способ борьбы со стихией известен в Полесье: в селе Щедрогор Волынской области несколько лет назад был записан рассказ о женщине, которая во время сильной бури подняла юбку и сказала, обращаясь к небесным силам: "Нá тебе!" Сходные магические ритуалы отмечены и в Болгарии, в районе Пловдива. В этнографическом архиве Софийского университета есть запись о том, как одна старая женщина, когда внезапно надвинулась туча и ударил град, вскочила, высоко задрала юбку, обнажила гениталии и громко прокричала в сторону тучи отгонное заклинание, повторив его трижды (запись любезно предоставлена А.В. Гурой).

Существуют литературные, исторические и этнографические свидетельства о том, что демонстрация женского "чуда чудного" служила также магическим средством защиты от врага. По сообщению черногорского этнографа С. Дучича, относящемуся к концу XIX в., в боях между племенем Пипери и племенем Кучи пиперские женщины становились перед войском, задирали юбки и, похлопывая ладонями по своему лобку, выкрикивали разные непристойности противникам. Так же поступали и албанские женщины, и в этих случаях противники никогда не стреляли в женщин. Русские свидетельства о подобных магических приемах содержатся в некоторых списках повести "О злом пришествии Тохтамыша" в Москву в 1342 г. и в описании Смутного времени, оставленном голландским купцом Исааком Массой "Краткое известие о Московии начала XVII века" [11]. Очевидно, что магическое значение таких приемов связано с характерной для народной культурной традиции сакрализацией всей сферы половых отношений и детородной символики.

Явную связь с этим кругом представлений имеет и известный главным образом восточным славянам мотив чуда-инцеста, используемый в качестве оберега от ходячего покойника, русалки и других демонов. В Полесье, если умерший муж "ходил" к жене, ей советовали сесть на порог и расчесывать волосы, дожидаясь прихода мужа. На его вопрос "Что ты делаешь?" надо было ответить: "Собираюсь на свадьбу – брат на сестре женится". Пораженный муж говорил: "Где это видано, чтобы брат на сестре женился?", а жена отвечала: "А где это видано, чтобы человек умер, а потом ходил?" – и тем навсегда отваживала покойника. Нетрудно заметить в подобных быличках-предписаниях ту же логическую модель противоборства двух чудес: одно чудо нейтрализуется, снимается другим, еще большим чудом ("не иди, чудо, на чудо"). В другой полесской быличке от ходячего покойника избавляются при помощи рассказа о готовящейся свадьбе сына с матерью. Мотив чуда встречается во многих жанрах фольклора, в частности в купальских песнях, в заговорах, быличках, а также широко используется в сказках и легендах, где, однако, он уже не имеет магического характера и является элементом сказочной поэтики. Вместе с тем понятие чуда – неотъемлемый элемент христианского миропонимания и одна из главных тем христианской (особенно агиографической) литературы, где чудеса признаются проявлением божественной силы и божественного превосходства над природой.

1. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865. Т. 1.
2. Бушкетвич С.П. Из словаря "Славянские древности": Птицеводство // Славяноведение. 1994. № 3.
3. Зеленин Д.К. Описание рукописей Ученого архива Имп. Русского Географического общества. Пг., 1916. Вып. 3.
4. Лозанова Г. "Лекуване на едномесеци" в обичаите при погребение у българи и сърби // Българска етнография. 1989. № 2.
5. Никифоровский Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1897.
6. Расковник. 1987. Кн. 49.
7. Српски етнографски зборник. 1934. Кн. 50.
8. Толстая С.М. К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора // Образ мира в слове и ритуале. [Балканские чтения 1.] М., 1992.
9. Толстая С.М. Магия против смерти // Балканские чтения 2: Симпозиум по структуре текста. М., 1992.
10. Толстая С.М. Зеркало в славянских верованиях и обрядах // Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал. М., 1994.
11. Толстой Н.И. "...выходила потаскуха в чем мать родила" // Живая старина. 1994. № 4.
12. Толстые Н.И. и С.М. Заметки по славянскому язычеству. 5. Защита от града в Драгачеве и других сербских зонах // Славянский и балканский фольклор: Обряд. Текст. М., 1981.
13. Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья. Л., 1985.
14. Франко І. Людові вірування на Підгір'ю // Етнографічний збірник. Львів, 1898. Т. 5.
15. Шневајс Е. Апотропејски елементи у свадбеним обичајима код Срба и Хрвата // Гласник Етнографског музеја у Београду. Београд, 1927.
16. Vukanović T. Srbi na Kosovu. Vranje, 1986. Т. 2.

А.Д. Шмелев

СУЖДЕНИЯ О ВЫМЫШЛЕННОМ МИРЕ: РЕФЕРЕНЦИЯ, ИСТИННОСТЬ, ПРАГМАТИКА

Вопрос о логическом и референциальном статусе утверждений, касающихся содержания художественных произведений, в последнее время принято разрешать путем постулирования особого рода "действительности" – вымышленного мира художественного произведения. Утверждение, что Шерлок Холмс – это реальный человек из плоти и крови, ложное (или лишенное смысла) в реальном мире, оказывается истинным в мире рассказов о Шерлоке Холмсе. Поэтому, чтобы оценить истинность всякого такого утверждения, мы должны интерпретировать его как содержащее своего рода "зачин": *В действительном мире...* или *В мире рассказов о Шерлоке Холмсе...* и т.п. Такого рода зачины обычно опускаются, но на практике контекст, содержание и здравый смысл в большинстве случаев разрешают неоднозначность [8]. Вызывания *Холмс жил на Бейкер-стрит* или *Холмс был обычным человеком из плоти и крови* понимаются как отчуждающиеся к миру рассказов о Холмсе (и потому истинные), а высказывания *Холмс реально существовал* или *Величайший сыщик Лондона*

1890 года жил на Бейкер-стрит – как относящиеся к реальному миру и потому ложные.

Однако указанный подход не избавляет нас от всех трудностей, связанных с референцией к вымышленному миру. Прежде всего, извлечение из художественного текста истин относительно соответствующего вымышленного мира не всегда является тривиальной задачей. Никакой текст не может быть полностью эксплицитен относительно всех характеристик соответствующего мира, и неясно, насколько мы вправе восполнять недостающие сведения данными, почерпнутыми из наблюдений над нашим миром. Имеем ли мы право, основываясь на правилах образования русских отчеств, заключить, что отца Олега Филимоновича Костоглотова из "Ракового корпуса" звали Филимон? А что отца Змея Горыныча звали Горын? В реальном Лондоне дом 221 по Бейкер-стрит ближе к вокзалу Паддингтон, нежели к вокзалу Ватерлоо. Можем ли мы из этого сделать вывод, что Холмс жил ближе к вокзалу Паддингтон, нежели к вокзалу Ватерлоо? А из того факта, что в реальном Лондоне в доме 221 по Бейкер-стрит был банк, следует ли, что Холмс жил в банке? Насколько оправданно говорить, как Вадим Руднев, о "лживости" "Войны и мира" на том основании, что сюжет романа-эпопеи не отвечает исторической правде? Как следует расценить споры историков об исторической достоверности "Красного колеса"?

Отдельную проблему составляет вопрос о том, кто может судить, что является истинным в вымышленном мире художественного произведения. Можно ли утверждать, что такого рода верховным судьей является автор? Так, после первой публикации "Ракового корпуса" у многих читателей сложилось впечатление, что повесть заканчивается тем, что Костоглов умирает. Впоследствии выяснилось, что указанный вывод не соответствовал замыслу Солженицына. Однако коль скоро текст дает основания для такого вывода, может ли апелляция к намерениям автора служить опровержением?

По-видимому, решение этих и подобных вопросов в значительной степени зависит от того, как художественные произведения будут описываться с коммуникативной точки зрения. Так, для подхода, предложенного Д. Льюисом [8], ключевую роль играет понятие притворства. Автор художественного произведения (впрочем, не имея в виду ввести в заблуждение читателей) делает вид, или "притворяется", что рассказывает нечто о реальном мире (сходная мысль была высказана также Дж. Серлем [9]). Рассматривается множество возможных миров, в которых соответствующий художественный вымысел рассказывается как достоверный факт, и из этого множества выделяется подмножество миров, отличающихся от реального мира в минимальной степени. Утверждения, истинные в каждом из этих возможных миров, считаются истинными и "в мире данного художественного произведения". Именно это дает Д. Льюису возможность говорить, что в мире рассказов о Холмсе истинно, хотя и не выражено эксплицитно: что у Холмса не было трех ноздрей, что он никогда не летал к спутникам Сатурна и что он носил нижнее белье. В случае же когда оценка истинности того или иного суждения оказывается различной в различных возможных мирах рассматриваемого подмножества, данное

суждение считается не имеющим истинностного значения в мире художественного произведения. Так, не имеют истинностного значения утверждения о количестве волос на голове у Шерлока Холмса.

В то же время подход Д. Льюиса не только не разрешает всех проблем, связанных с логическим статусом утверждений о мире художественного вымысла (в работе [8] приводится целый ряд таких нерешенных проблем), но, кроме того, как и подход Дж. Серля, основан на таких представлениях о коммуникативном статусе художественной речи, которые едва ли соответствуют реальному функционированию художественных текстов, а именно на том, что автор текста приравнивается к отправителю сообщения, а читатели – к адресатам. Ж. Гарелли [7] замечал, что, стремясь во что бы то ни стало рассматривать поэтические тексты как обычные коммуникативные акты, мы с таким же основанием могли бы считать отправителями сообщения читателей, а адресатом – автора. Действительно, восприятие лирического текста предполагает, что читатели вынуждены становиться на точку зрения лирического героя, как бы отождествляя себя с отправителем сообщения; с другой стороны, порождаемая текстом вымышленная реальность в первую очередь оценивается самим автором, который, таким образом, выступает в роли главного адресата.

Вымышленный мир, к которому производится референция в ходе художественной коммуникации, не имеет существования, независимого от этой коммуникации. Он порождается самим художественным текстом, который тем самым сближается с ритуальными речевыми действиями. Ритуальные речевые действия, подобно перформативам, оказываются тривиальным образом истинными в силу самого факта своего произнесения, однако в отличие от перформативов они не являются автореферентными, их пропозициональное содержание соответствует чему-то вне речевого акта. Так, высказывание *Объявляю вас мужем и женою* является перформативом, а высказывание *С этого момента вы становитесь мужем и женою* – ритуальным речевым действием.

Как при каждом акте осуществления ритуального речевого действия соответствующая действительность порождается заново, так и вымышленный мир художественного текста порождается заново при каждом новом акте чтения этого текста. Читатель действительно оказывается сходным не с адресатом речи, а с говорящим, осуществляющим ритуальное речевое действие, хотя, как и в случае ритуальной формулы, не он является автором соответствующего текста. Миры, порождаемые в разных актах прочтения одного и того же текста, могут различаться между собою; например, возможно, что в восприятии одного читателя "Ракового корпуса" Костоглотов умирает, а в восприятии другого – нет. Вопрос о том, как обстоит дело в действительности, оказывается лишенным смысла: ведь никакой "действительности" художественного произведения, взятой в отвлечении от актов чтения этого произведения, не существует. В то же время, разумеется, осмыслен и оправдан вопрос о том, каксе из прочтений отвечает замыслу автора.

В свете сказанного характерные для художественной литературы нарушения "коммуникативных прав адресата" (термин Н.Д. Арутюновой [1])

перестают выглядеть отклонениями от правил нормального общения. Отказавшись считать читателя адресатом художественного текста, мы не увидим ничего удивительного в необычной последовательности номинации объектов в тексте [3], например в том, что персонаж уже при первом упоминании обозначается при помощи местоимения или имени собственного, не сопровождающегося дескрипцией. Наоборот, полное следование правилам интродукции персонажей воспринимается как особый художественный прием, максимально приближающий текст к более "нормальному" коммуникативному акту, например к устному повествованию (ср.: *Жил-был доктор. Он был добрый. Звали его Айболит*).

То, что при анализе художественного текста фигура фиктивного (pretended) отправителя сообщения – повествователя или лирического героя – обычно более важна, нежели фигура автора, давно стало общим местом. Столь же важно не смешивать фиктивного адресата или адресатов текста с читателями; именно интересы фиктивного адресата учитываются в первую очередь при выборе используемых в тексте коммуникативно значимых языковых единиц. Иногда наличие фиктивного адресата вытекает из построения текста, как в текстах, написанных в жанре "послания", или в повествованиях, включенных в некоторое обрамляющее повествование, как в "Сказках" В. Гауфа, "Декамероне" или "Тысяче и одной ночи". В других случаях выявление фиктивного адресата требует специального анализа. И поскольку коммуникативная сторона речевого акта прежде всего отражается в выборе референциальных категорий (не случайно З. Вендлер назвал теорию референции *pièce de résistance* прагматики), такой анализ должен в первую очередь учитывать использование референциальных показателей.

Так, возвращаясь к вопросу о последовательности номинации объектов в тексте, отметим, что эффект "введения читателя *in medias res*" [3], возникающий при использовании показателей прагматической определенности (личного местоимения или имени собственного, не сопровождающегося дескрипцией) для обозначения персонажа, впервые появляющегося в тексте, прямо вытекает из того, что корректное употребление указанных средств референции возможно лишь в том случае, если адресату известен референт. Таким образом, текст строится как обращенный к адресатам, уже введенным в курс дела, и, чтобы иметь возможность понимать текст, читатель вынужден также воображать себя человеком, уже имеющим представление о соответствующем персонаже. Использование личного местоимения предполагает, кроме того, что референт находится в центре оперативного поля зрения адресата, т.е. либо был упомянут в непосредственно предшествующем тексте, либо присутствует в ситуации общения (возможно, лишь в мыслях участников коммуникации). Поэтому использование личного местоимения без антецедента предполагает адресата, находящегося *in mediis rebus*, что и создает соответствующий художественный эффект.

Более детальное рассмотрение показывает, что случаи использования в художественных текстах показателей прагматической определенности без предшествующей интродукции не вполне однородны. Среди возможных художественных эффектов этого приема отметим эффект "сопри-

сутствия", эффект "автоадресации" и эффект предназначенности для "узкого круга посвященных".

При "соприсутствии" описываемая картина как бы непосредственно находится в общем поле зрения участников коммуникации в момент речи; соответствующим образом используется временной план (так называемое настоящее изобразительное), часто встречаются "эпизодические" предикаты. Адресат речи располагает теми же сведениями об обозначаемых объектах, что и говорящий, так что коммуникативное противопоставление говорящего и адресата снимается. Поэтому уместным оказывается использование показателей прагматической определенности, предполагающих известность референта как говорящему, так и адресату, и показателей "собственно неопределенности" со значением "неизвестность говорящему и адресату". Напротив того, референциальные показатели, противопоставляющие информированность говорящего и адресата (например, показатели интродукции), свидетельствуют о функционировании текста как средства передачи информации и для лирических описаний не характерны (они часто встречаются в повествованиях, которые характеризуются совсем иным употреблением видо-временного плана, нежели описания). Тем самым использование референциальных показателей может служить (наряду с употреблением видовременных форм) формальным признаком, отличающим описания от повествований. В частности, в текстах, в которых обнаруживаются оба указанных плана (описание и повествование), референциальные показатели часто служат знаком переключения из одного регистра в другой (см. [6]).

При "автоадресации" противопоставления говорящего и адресата нет как такового, поэтому здесь, как и при "соприсутствии", уместно использование референциальных показателей, не противопоставляющих степень информированности участников коммуникации. Так, в частности, строятся многие из ранних рассказов Бунина, в которых сюжет движется не событиями, а авторским восприятием событий.

В текстах, адресованных "узкому кругу посвященных", нет отождествления говорящего и адресата. Однако текст ориентируется на лиц, которым хорошо известны описываемые реалии. Поэтому степень информированности говорящего и адресатов здесь опять-таки одинакова. Так обстоит дело, в частности, в так называемой светской повести, как бы обращенной к салонной аудитории и повествующей об "общих знакомых". Говоря о "светской повести", исследователи отмечают, что для нее характерны "тон непринужденного разговора о предметах, известных собеседнику, игра аллюзиями, намеки на общих знакомых", адресат "должен не получать новые сведения, но узнавать знакомое" (А.С. Немзер. Проза Ф. Соллогуба // Ф.А. Соллогуб. Избранная проза).

В текстах, ориентированных на "узкий круг посвященных", могут использоваться те же референциальные средства, что и при "соприсутствии" и "автоадресации". Однако художественная нагрузка этих средств несколько иная. Поясним сказанное на примере употребления референциальных показателей в стихотворениях Блока и Ахматовой.

Исследователи часто отмечают обилие неопределенных местоимений на *-то* в лирике Блока и их роль в создании атмосферы таинственности,

недосказанности, неназванности объекта (см., в частности, [4] и указанную там литературу). Можно отметить, что сходную функцию "неназывания объекта" могут выполнять и указательные местоимения, также достаточно часто встречающиеся у Блока. Прагматические определенные (личные и указательные) местоимения и местоимения на *-то* нередко также и в поэзии Ахматовой [5], и может показаться, что эффект использования этих показателей здесь примерно тот же: для Ахматовой чрезвычайно характерно общее ощущение неоконченности и амбивалентности, умолчаний и недомолвок [2]. Однако между "недосказанностью", неназванностью объекта у Блока и у Ахматовой есть существенные различия, на которых мы вкратце здесь остановимся (более подробный анализ различий в коммуникативной роли референциальных показателей у Блока и Ахматовой см. в работе [6]).

Лирические описания Блока основаны на эффекте "соприсутствия". "Недосказанность", таинственность чаще всего связывается с неизвестностью объекта или нечеткостью восприятия (ср. [4]), и этому соответствует употребление местоимений на *-то*. Использование же показателей прагматической определенности, в частности указательных местоимений, предполагает, что объект находится в поле зрения. Референциальная интерпретация не предполагает никакой специальной дешифровки, опирающейся на историко-литературные или биографические данные, и даже в тех случаях, когда такая дешифровка фактически возможна, ее необходимость или желательность никак не предусмотрена самим текстом.

В противоположность этому в поэзии Ахматовой "неопределенная определенность" [5], т.е. использование показателей определенности при фактических трудностях установления референта, может восприниматься как своего рода "зашифрованность". Предполагаемая референциальная дешифровка должна опираться на знание каких-то историко-культурных реалий, предполагаемых известными "узкому кругу" лиц, на восприятие которых ориентирован текст (не случайно имеются специальные литературоведческие работы, нацеленные на референциальную дешифровку поэзии Ахматовой и призванные моделировать соответствующую "кружковую семантику"). Именно ориентированность на "узкий круг" или же "автоадресация", а не "соприсутствие" обуславливает "известность" референта. В этом смысле поэзия Ахматовой оказывается сходной со "светской повестью" и "дневниковой" прозой*.

Не случайно и у Блока, и у Ахматовой встречается параллельное использование указательных местоимений и местоимений на *-то*, когда парадоксальным образом как бы стирается граница между определенностью и неопределенностью. Однако результатом у Блока обычно ока-

* Во всех указанных случаях эффект достигается путем использования показателей прагматической определенности. Однако если для прозы это прежде всего собственные имена персонажей, то для поэзии Ахматовой характерно уклонение от использования собственных имен – она предпочитает местоимения, что и создает атмосферу зашифрованности и смутных указаний.

зывается неопределенность (ср. частое у Блока *где-то там*), а у Ахматовой – "зашифрованная определенность" (ср.: *тот какой-то шестнадцатый год*).

Таким образом, мы видим, что для интерпретации художественного текста ключевую роль играет выявление его коммуникативного статуса, которое в свою очередь самым тесным образом связано с функционированием в тексте референциальных показателей. Следует подчеркнуть, что значение и коммуникативная роль этих показателей в художественном тексте ничем не отличаются от их функционирования в других типах текстов. Художественный текст использует самые обычные языковые средства; его специфика определяется особым истинностным статусом суждений о порождаемом им вымышленном мире. В результате использование тождественных средств приводит к различному эффекту в художественном и нехудожественном дискурсе. Так, многие из нас встречали людей, которые, говоря о своих знакомых, называют их по имени без интродукции, ничуть не заботясь о том, известен ли носитель имени собеседнику. Мы вправе сделать вывод, что либо эти люди ошибочно полагают, что их знакомые известны всем, либо они пренебрегают коммуникативными правами собеседников. Использование без интродукции собственных имен персонажей в художественном тексте лишь внешне выглядит как пренебрежение коммуникативными правами читателя. В действительности, как мы видели, это показатель того, что текст по своему формальному построению ориентирован вовсе не на читателя, а на фиктивного адресата, которому соответствующий персонаж прекрасно известен.

В этом смысле художественный текст полностью отличен от повествования о реальном мире. Исторические источники могут не сообщать нам тех или иных сведений о реальных исторических лицах, подобно тому как Конан Дойль далеко не все сообщил нам о Холмсе. Мы можем реконструировать недостающие сведения об исторических лицах, исходя из косвенных соображений, подобно тому как из косвенных соображений мы делаем вывод, что Шерлок Холмс носил нижнее белье. Однако статус недостающих сведений о реальном мире и мире художественного вымысла совершенно различен. Недостающие сведения о реальном мире мы можем почерпнуть из иных источников, проверив тем самым результаты нашей реконструкции; или же они могут, к нашему сожалению, остаться навсегда недоступными для нас. Но во всех случаях речь идет именно о незнании истины. При наличии альтернативных точек зрения осмыслен вопрос, как же обстоит дело в действительности. Установить истину о мире художественного вымысла мы можем лишь посредством анализа художественного текста. Отвлеченной истины здесь просто не может существовать, поскольку сама действительность создается только в актах чтения художественного произведения.

1. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. Т. 40, № 4.
2. Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой // Избранные труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.
3. Гак В.Г. Повторная номинация и ее стилистическое использование // Вопросы французской филологии. М., 1972.
4. Соколова Л.А. Неопределенно-субъектные предложения в русском языке и в поэтике А. Блока // Образное слово А. Блока. М., 1980.
5. Цивьян Т.В. Наблюдения над категорией определенности-неопределенности в поэтическом тексте // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
6. Шмелев А.Д. Референциальные значения в поэтическом тексте // Поэтика и стилистика. 1988–1990. М., 1991.
7. Garelli J. Le temps des signes. P., 1983.
8. Lewis D. Truth in fiction // Lewis D. Philosophical papers. Oxford, 1983. Vol. 1.
9. Searle J. The logical status of fictional discourse // Contemporary perspectives in the philosophy of language. Indianapolis, 1979.

Чан Ван Ко

ЕДИНСТВО "ЯН" И "ИНЬ" КАК ИСТИНА

(Постановка проблемы)

Наша концепция об истине и истинности в применении к исследованию человека и человеческого языка базируется на древневосточной философии, изложенной в "Книге Перемен" (в переводе с китайского на вьетнамский язык вьетнамского ученого-философа Фан Бой Тяу [1]). Основные идеи нашей концепции сводятся к следующему.

Мир

Беспредельное – Великий Предел – Ян–Инь. Мир постоянно движется и, двигаясь, изменяется. В изначальной форме мир представлялся как Беспредельное, в котором в хаосе движется бесчисленное множество "хи" (khí – энергочастицы). Потом, со временем, из бесконечных "хи" образовались два начала, которые называются "нги" (nghi – энерготипы), тем самым Беспредельное превратилось в Великий Предел. Эти "нги" и есть ян и инь. Ян – светлое и легкое – поднимается вверх и становится Небом. Это Путь Неба. Инь – мутное и тяжелое опускается вниз и становится Землей. Это Путь Земли. Образное представление процесса порождения яна и ини см. на рисунке: круг представляет собой Беспредельное, которое с рождением яна и ини превратилось в Великий Предел. Светлое изображение – ян, темное изображение – инь. Светлое, темное – только символично. Понятия "ян" и "инь", правда, имеют



очень широкий диапазон конкретных проявлений, составляющих контрастные пары. Ср.:

ян	инь	ян	инь
светлое	темное	добро	зло
небо	земля	счастье	несчастье
солнце	луна	любовь	ненависть
день	ночь	сильное	слабое
свет	тьма	нечетное	четное
мужчина	женщина	горячее	холодное
динамика	статика	тело	душа
		жизнь	смерть и мн. др.

Законы яна и ини

1. Закон взаимопроникновения. Согласно данному закону ян и инь взаимопроникают друг в друга. В "Книге Перемен" написано: "В яне есть инь, в ине есть ян". Эта истина явно отражена на рисунке, где светлая точка в темном изображении обозначает "ян в ини", а черная точка в светлой фигуре означает "инь в яне". Действительно, в жизни не бывает совсем плохого человека, в нем всегда можно найти что-то хорошее. И, наоборот, абсолютно хорошего человека тоже не бывает, так как в нем можно найти недостатки.

2. Закон взаимопревращения. Согласно данному закону ян может превратиться в инь, когда его движение достигает максимального предела, и, наоборот, инь превращается в ян, достигнув максимального предела покоя. Так, человек умрет, достигнув предела своего возраста. Вода (инь) при определенной температуре превращается в пар (ян), который в свою очередь может в определенных условиях превратиться в воду. Это происходит в силу непрерывного разрастания потенциального (маленького) яна в текущей (большой) ини и потенциальной ини в текущем яне. Таким образом закон взаимопревращения яна и ини делает мир (человека, вещи) одновременно и "им" и "не им", что представляет собой истинную сущность "Книги Перемен".

3. Закон гармоничности сочетания яна и ини. Вещь остается собой лишь тогда, когда в ней ян и инь сочетаются друг с другом гармонично. Под гармоничным сочетанием понимается такое единство яна и ини, которое не нарушает нормального существования вещи. Наукой была доказана формула гармоничного соединения яна и ини: $\frac{3}{2}$, т.е. 3 яна и 2 ини. Инь обладает притягательной силой по отношению к яну. Инь притягивает к себе ян, обеспечивая вместе с ним единство вещи.

Язык

Язык как Великий Предел. Любая вещь (предмет, духовная сущность и пр.) является Великим Пределом, поскольку в ней действуют ян и инь. Язык не представляет исключения. В языке ян характеризуется как элемент движения, а инь – как элемент застоя (в самом широком философском смысле этого слова). Здесь можно сделать некоторое сравнение на-

шего понимания языка с сосюрговской концепцией о нем. Нам известны термины "речевая деятельность" – "язык" – "речь". Мы понимаем речевую деятельность как Великий Предел, который порождает инь (язык) и ян (речь). Интересно отметить, что сам Ф. де Соссюр в своем знаменитом "Cours de linguistique generale" определяет язык как то, что опускается вниз, а речь как то, что поднимается вверх. Однако мы не видим диаметрального противоречия между языком и речью, так как инь и ян порождают друг друга, один – исток другого по законам взаимного проникновения, взаимного превращения и гармоничного сочетания. В языке есть элементы речи, которые воплощаются в виде светлой точки (потенциального яна). И эта светлая точка непрерывно движется, разворачивается, становится все больше и больше, и когда она достигнет своего предела (т.е. при необходимом коммуникативном толчке), то превратится в речь (ян). А процесс превращения речи в язык идет обратным путем через сознание слушающего, оставляя в нем мысль, идею говорящего.

Существование и функционирование яна и ини наблюдаются во всех единицах языка и речи, каждая из которых представляет собой Великий Предел. Ниже приведем наблюдения, показывающие, как ян и инь действуют в некоторых группах слов вьетнамского языка (в сопоставлении с русским языком).

Группа двусложных слов со значением *с о в о к у п н о с т и* типа:

<i>nhà cửa</i>	(букв. 'дом-дверь'),	рус.	<i>жилье</i>
<i>bàn ghế</i>	(букв. 'стол-стул'),	рус.	<i>мебель</i>
<i>cha mẹ</i>	(букв. 'отец-мать'),	рус.	<i>родители</i>
<i>đất nước</i>	(букв. 'земля-вода'),	рус.	<i>страна</i>

и др. В этих словах первые элементы – инь, вторые – ян. Общая формула построения слов данной группы такова: инь + ян. Значение *с о в о к у п н о с т и* аннулируется, если нарушается это единство ини и яна; значит, нарушается истинность значения данных слов. Примечательно, что в соответствующих русских словах *жилье, мебель, родители, страна* элементы инь и ян материально не выражаются. Их можно выводить только логическим путем.

Группа двусложных слов со значением *м е н т а л ь н о с т и* типа:

(а) *suỵ nghĩ* (букв. 'судить-думать'), рус. *думать*

(б) *ý nghĩ* (букв. 'мысль-думать'), рус. *мысль*

Интересно отметить, что слова типа (а) построены по формуле "ян + ян", что позволяет им выступать и как глагол, и как существительное. Ср.:

(а.1.) *Nó suỵ nghĩ nghiêm túc.*

(букв. 'Он судить-думать серьезно')

"Он думает серьезно".

(а.2.) *Suỵ nghĩ của nó nghiêm túc.*

(букв. 'Мысль его серьезная')

"Его мысль серьезная".

Судьба слов типа (б) совсем иная. Формула их построения: *инь + ян*.

Этим и объясняется их неспособность функционировать как глагол. Они всегда существительные. Ср.:

(б.1.) *Ý nghĩ của nó phù hợp với ý nghĩ của tôi.*

(букв. 'Мысль-думать его совпадать с мысль-думать мой')

"Его мысль совпадает с моей мыслью".

А вот следующее предложение невозможно во вьетнамском языке. Ср.:

(б.2.) **Nó ý nghĩ về tôi.*

(букв. 'Он мысль-думать обо мне').

Конечно, и в русском языке невозможно предложение "Он мысль обо мне".

Язык: Тело и душа. Живой язык, как и человек, рождающий его, имеет тело (инь) и душу (ян), которые тесно связаны между собой, неотрывны друг от друга. Тело языка – это не только его материальная сторона, но и его строение, структура его внутренних связей, его отношения ко внешнему миру, вообще то, что по традиции называется важнейшим средством человеческого общения. А душа языка – это не только его мыслительный аспект, но и совокупность всех специфических способов выражения черт характера его носителя, его национально-культурных особенностей, его дыхания, его внутреннего мира, самой его жизни. Душа языка переплетается с его телом в каждом звуке речи, в каждой интонации и тональности, в порядке слов, в реализации семантики слова и т.д. В русском языке, например, есть выражения *говорить на русском языке*, *говорить русским языком* и *говорить по-русски*, которые на первый взгляд кажутся синонимами. И правда, они могут заменять друг друга в некоторых случаях. Однако практические наблюдения показывают, что любой иностранец, хоть немного изучающий русский язык, может *говорить на русском языке* или *русским языком*, но вряд ли любой иностранец, изучающий русский язык, может *говорить по-русски*. Суть в том, что первые два выражения относятся к т е л у русского языка, а последнее – к его д у ш е. Ср.: *говорить по-русски* = говорить так, как говорят русские.

Итак, Путь Мира есть Путь порождения. Изначально Беспредельное порождает Великий Предел, который порождает ян и инь. Последние, взаимодействуя друг с другом, порождают великое множество вещей. Этот Путь Мира можно наблюдать везде: от атома до бесконечной вселенной.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Sào Nam Phan Bội Châu*. Chu Dịch - Sài Gòn, Nhà Sách Khai Trí, 1969.

ИСТИНА И ИСТИННОСТЬ

Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев

"ПРАВДА ФАКТА" И "ПРАВДА БОЛЬШИХ ОБОБЩЕНИЙ"

Связь понятий "факт" и "истинность" представляется неоспоримой. Иногда делаются попытки развести эти понятия, "усомниться в истинности фактов", как сделал персонаж рассказа Б. Пильняка: *когда он твердо знал, что там в двадцатилетиях у него ничего не было с матерью Марии, – сейчас он усомнился в правде того, что было за двадцатилетием, усомнился в истинности фактов, точно факты могут быть неправдоподобны, как ложь, и неправда может быть фактом.* Аналогичная попытка оспорить истинность как конституирующее свойство факта иногда предпринимается и лингвистами – ср., например, статью [6]. Но все эти попытки воспринимаются как экзотические сдвиги в самом значении слова *факт*, которое, как отмечала Н.Д. Арутюнова, "расшатано небрежным употреблением" [1, 325]. Вне таких сдвигов фактам (идет ли речь о самом слове *факт* или о соотносительной конструкции *то, что...*) соответствуют истинные суждения или же суждения, которые считает истинными оппонент (последнее объясняет возможность высказываний: *То, что... – ложь; Самый факт во многом неверен* и т.п.).

В то же время понятие истины, как и правды, не исчерпывается совокупностью фактов. *Правда* включает в себя не только "голые" факты, но и каузальные связи между ними [3, 7]. Вне этих связей правда неполна; не случайно призывы ограничиться *голыми фактами* звучат чаще, чем выражение стремления к *голой правде* или *нагой истине* (два последних выражения чаще всего используются как живая метафора, ср. четверостишие И. Губермана: *Дай голой правды нам и только! / Нагую истину, да-да! / Но обе, женщины поскольку, / нагие лучше не всегда*). Именно в этом смысле, по-видимому, можно понимать утверждение Б.И. Бермана, противопоставляющего *истину* и *факты*: «Понятие "факт" вообще принадлежит {...} к сфере верифицируемого, и воспринимать Тору как источник исторических фактов – значит превращать ее в топор, чтобы копать им. Тора не инструмент; но уж если использовать ее, то чтобы рубить. Тора – источник истины, а не сведений, не верифицируемых данных» (Б.Н. Берман. Рождение свободы).

Познание истины путем Божественного откровения в каком-то смысле

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проекты 93-06-10941 "Логический анализ языка" и 94-06-19717 "Субъективность в грамматике".

является высшим. Но в обычной жизни мы познаем истину, обобщая наблюдаемые явления или же прибегая к логическим умозаключениям на основе заранее считающихся истинными исходных предпосылок. Коллизия возникает в тех случаях, когда какой-либо из имеющихся в нашем распоряжении фактов противоречит выводам из априорно заданных правил. По общему мнению, в этом случае нам не остается ничего иного, как отвергнуть или видоизменить исходное правило. Здравый смысл и правила логики говорят нам, что любое число подтверждающих примеров не может служить полностью надежным доказательством, но один-единственный контрпример представляет собою полное опровержение любой исходной посылки. Лишь сомневаясь в факте (ср.: *То, что... еще не факт*), можно продолжать держаться своих априорных представлений – ср. использование вопросов с частицей *разве* (пропозициональное содержание таких вопросов – та модификация, которую необходимо внести в априорные представления, чтобы привести их в соответствие с полученными данными), которые могут как служить знаком отказа от первоначальных представлений, так и выражать сомнение в полученной информации [4].

Поэтому рассуждения типа *Этого нет, потому что этого не может быть* не признаются достаточными аргументами, если факты свидетельствуют, что "это" имеет место. Аналогичным образом, если я вижу, что какое-либо событие не происходит, едва ли меня переубедит сообщение, что это событие было предсказано теорией, **д о л ж н о** было произойти. В повседневном общении функции восклицания *Не может быть!* в ответ на какое-либо сообщение совсем не в том, чтобы опровергнуть собеседника или выразить ему недоверие. Использование таких выражений вовсе не противоречит правилам вежливости и направлено на то, чтобы подчеркнуть, что данное сообщение оказалось неожиданным, нетривиальным и тем самым особенно интересным.

В то же время в практической жизни люди нередко склонны не отказываться от своих априорных представлений, когда им противоречат те или иные факты. Для этого приходится тем или иным образом изменять квалификацию факта, чтобы, не отвергая его полностью, тем не менее сохранить возможность не считаться с ним. В неприкрытом виде это желание не считаться с фактами выражено в различных вариациях на тему *Хоть знаю, да не верю* (где *не верю* фактически означает 'не хочу верить'). Часто под это желание стремятся подвести ту или иную основу, объявляя факты исключительными, такими, что их не следует принимать во внимание (ср. ходовые высказывания *Нет правил без исключений* или даже *Исключения только подтверждают правила*; в более развернутом виде та же мысль выражена в словах из популярной книжки В. Демина "Фильм без интриги": *Да, в этом конкретном случае, допустим, все было именно так. Но ведь это же ничего не доказывает. Уж больно исключительный выдался случай*). Приобретая статус **исключений**, факт теряет способность свидетельствовать о "высшей правде". Именно в таком контексте в советской литературной критике утвердилось противопоставление "правды факта" и "правды больших обобщений", причем за

"правдой факта" признавалось низшее значение, считалось, что она как бы и не является полноценной правдой. Факты такого рода начинают называть *фактиками*. При этом к исключениям могли быть отнесены не только единичные, действительно "исключительные" факты. Специально указывалось на необходимость различать "массовое" и "типическое", и "типическим" оказывалось как раз то, что отвечало наперед заданным представлениям о том, как "должно быть". Характерно высказывание Авиетты из "Ракового корпуса" А. Солженицына: *Нет ничего легче взять унылый факт, как он есть, и описать его, — и далее: То, что мы видим простыми глазами сегодня, — это не обязательно правда. Правда — то, что должно быть...*

Более того, как отметил в свое время В.Ф. Турчин (см. сноску 1), само наличие фактов, противоречащих исходным установкам, парадоксальным образом оказывается средством утвердить в сознании незыблемость этих установок (т.е. "исключения" начинают в самом деле "подтверждать правило"): «Человек, отвергающий под давлением фактов какие-то концепции, принятые его окружением, обычно ощущает потребность доказать окружающим (и себе!), что он делает это именно под давлением фактов, а вовсе не упивается отрицанием ради отрицания. Поэтому ему хочется где-то остановиться; его "энергия отрицания" истощается по мере движения по ступеням лестницы от конкретных фактов ко все более абстрактным понятиям. Задача пропаганды четвертого уровня [т.е. утверждений типа *Героический советский народ совершает славные трудовые подвиги под мудрым руководством Коммунистической партии Советского Союза*] — отнять как можно больше энергии отрицания. Так получается, что ложь — сколь это ни парадоксально — не расшатывает "теорию", а укрепляет ее. Слова четвертого уровня, слова-солдаты, бросаются в бой миллионами. Им никто не верит, они гибнут массами, не дойдя до цели, как будто впустую. Но за горами их трупиков укрываются более важные слова: слова-офицеры и слова-генералы [т.е. такие утверждения, как *Материя первична, сознание вторично; Бытие определяет сознание* и т.п.]. Именно ради этих последних, самых высокопоставленных слов и строится вся идеологическая иерархия. Внешне неприметно, но непрерывно и постоянно эти слова-генералы и стоящие за ними представления воспитывают тоталитарного человека». Иными словами, "теория" получает существование, независимое от фактов, и фактами не может быть фальсифицирована.

Такое пренебрежение к фактам, не укладывающимся в их "научные" теории, было свойственно и предшественникам советских материалистов. Характерна статья М.А. Антоновича "Письма от отца к сыну", в которой он пытается пародировать нелепое, с его точки зрения, стремление религиозных философов считаться с фактами (статья написана в форме писем от С.Т. Аксакова к И.С. Аксакову и опубликована в сатирическом журнале "Свисток" в 1863 г., № 9):

Я признаю факт, сообщенный Ждановым, несомненным. (...) Ты знаешь, наши противники (т.е. материалисты. — Т.Б. А.Ш.) тщеславятся знанием законов природы и говорят, что эти законы неизменны и непреложны, что все совершается по действию законов и не!

ничего в мире, что могло бы остановить или видоизменить их действия; что всякое явление совершается тогда, когда есть естественные условия для него, и коль скоро есть эти условия, ничто не может остановить явления. Эти положения противники суют нам в глаза при всяком случае. Итак, мой друг, когда ты увидишь или услышишь quasi-философа, проповедующего эти положения, (...) ты не слушаешь его и на теории отвечаешь фактом (...) Наши противники большие охотники отрицать то, чего они не понимают, что несообразно с их мнимо непреложными естественными законами; если же расскажешь им очевидный факт, действительно несообразный с их законами, то они объясняют его по-своему, с разными уловками и натяжками.

Замечательно, что саму идею, что не факты "должны уступать" теории, а теория – фактам, М.А. Антонович считает идеалистическим предрассудком, заслуживающим только насмешек и пародирования.

Отвергая подобное отношение к фактам, мы в то же время должны учитывать, что оно эксплуатирует одно существенное свойство фактов: одна и та же ситуация может в зависимости от того, как она вербализуется, признаваться или не признаваться "подлинным" фактом (именно поэтому *Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе*). Иными словами, фактуальность самым непосредственным образом зависит от способа вербализации. Вне вербальной аранжировки факты не существуют. А выбор вербальной аранжировки зависит от субъекта, "констатирующего" факт. Общее утверждение *Джентльмены не выдают чужих секретов* не может быть фальсифицировано тем, что найдется болтливый джентльмен: его просто откажут считать подлинным джентльменом.

В этом смысле, хотя "предложение, чтобы стать констатацией факта, должно исторгнуть из себя все, что проистекает из субъективного модуса" [2, 158], на самом деле сделать это никогда не удастся, и потому констатировать факт "в чистом виде", "голый" факт в отвлечении от каких бы то ни было субъективных моментов невозможно – напомним в этой связи уже цитировавшиеся высказывания Пастернака ("Фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего") и Набокова ("Голых фактов в природе не существует, (...) они не бывают совершенно голыми").

Прием устранения неприятного факта путем изменения способа его констатировать демонстрируют уже приводившиеся нами в несколько другой связи диалоги (из пьесы Е. Шварца "Голый король"):

П р и н ц е с с а. Но он [король-жених] толстый!

К о р о л ь-о т е ц. ...король не может быть толстым. Это называется "величавый".

П р и н ц е с с а. ...Я ругаюсь, а он не слышит и ржет.

К о р о л ь-о т е ц. Король не может ржать. Это он милостиво улыбается.

При таком подходе факты из опасного противника, способного поставить под сомнение априорные основополагающие принципы, превращаются в союзника, развеивающего всякие возможные сомнения. Можно упомянуть замечания В.Ф. Турчина об обороте *на самом деле* (ср. *in fact*), который использовался как раз в демагогических целях, чтобы не просто отвергнуть нежелательные факты, но интерпретировать (т.е. назвать, вербализовать) их в соответствии с исходными установ-

ками¹. Не случайно один из самых распространенных демагогических приемов при передаче чужих слов состоит в номинации объектов *de re* (т.е. как бы "в соответствии с фактами"), когда мы используем наименование объекта в соответствии с его ф а к т и ч е с к и м и (с нашей точки зрения) свойствами, а не то выражение, которое о б а к т и ч е с к и было использовано тем, кого мы цитируем. В результате оборот *Давайте называть вещи своими именами* используется, как отметил Г.Е. Крейдлин, в качестве способа непрерывно менять имена объектов в соответствии со своими целями.

Более того, можно сказать, что "констатация фактов" никогда не является целью *per se*. "Факты" служат отправной точкой или звеном наших рассуждений, каузальных или логических цепочек. Само высказывание *Я просто констатирую факт* оказывается самофальсифицируемым, поскольку "констатация фактов" никогда не осуществляется "просто так"; *Я не жалуюсь, я просто констатирую факт* выражает именно жалобу. В этом смысле никакой границы между "правдой факта" и "правдой высоких обобщений" нет: и то, и другое призвано донести до адресата и навязать ему свою "правду".

В составе конкретной каузальной или логической цепочки "констатация факта" может включать в себя субъективно-оценочный компонент. И хотя можно согласиться с Н.Д. Арутюновой, что вне такой цепочки «предложение *Наш простофиля женился на этой "штучке"*, если оно претендует на констатацию факта, должно быть переформулировано как *Иван женился на Изольде*» [2, 158], но при описании реакции на этот факт первое из двух предложений *Мы расстроились, что наш простофиля женился на этой "штучке"* и *Мы расстроились, что Иван женился на Изольде* может характеризовать факт, послуживший причиной расстройства, точнее, чем второе. В рамках некоторых идеологических систем оценочный компонент бывает неотъемлемой частью "констатации" факта. Так, Михаил Эпштейн отметил, что в рамках советского идеоязыка высказывание *Опытный политик заключил договор с руководителями партизанских отрядов* соотносится с совсем иным фактом, нежели высказывание *Матерый политикан вступил в сговор с главарями бандитских шайк*.

Однако именно это показывает, что понятие "голого факта" вовсе не бессмысленно. Факты бывают "голыми" в том смысле, что, констатируя факт, мы извлекаем из описания ситуации лишь то, что необходимо для данного рассуждения, устранив ненужные подробности. Здесь можно полностью согласиться с Н.Д. Арутюновой, которая, полемизируя с

¹ «Мы знаем, что экономические факторы налагают на нас определенные ограничения. Но мы знаем, что у нас есть также и другие – высшие – цели. И мы умеем соотносить с ними экономические цели. "Все это иллюзии, – говорит нам марксист. – На самом деле все ваши высшие цели – это ловко замаскированный интерес класса, к которому вы принадлежите".

О, волшебное сочетание слов "на самом деле"! Когда вам показывают на белое и говорят, что на самом деле это черное и только кажется вам белым, то возразить нечего. Можно только попытаться понять, почему или зачем вам это говорят. По отношению к Марксу это главным образом почему, по отношению к современному марксистскому тоталитаризму – это зачем» (В.Ф. Турчин. Инерция страха. Нью-Йорк, 1977).

3. Вендлером, настаивала, что "все те [можно добавить: и только те] семантические различия, которые могут ввести факт в разный каузальный контекст, релеванты при установлении его тождества" [2, 165]. В частности, и субъективная оценка элиминируется в тех случаях, когда она может рассматриваться как ненужная подробность, и сохраняется, когда она оказывается конституирующим свойством факта, определяя его место в каузальной цепочке.

Устраняя детали, мы делаем неопределенными "несущественные" параметры ситуации, чем придаем констатации факта максимально общий характер (здесь, как это часто бывает, неопределенность идет рука об руку с обобщенностью)². Иногда это может приводить к референциальному сдвигу, как в примере, который приводил М.Г. Селезнев: *На наших глазах человек убил человека, а мы делаем вид, что ничего не произошло* (вместо *На наших глазах Пьетро убил Джузеппе...*) – с неопределенной референцией к обоим участникам события, несмотря на то что они полностью индивидуализированы и известны участникам коммуникации. Ситуация подводится под более общую категорию "человекоубийства", поскольку здесь существен лишь один аспект ситуации – самый ф а к т убийства человеком человека, а не личность участников события (иными словами, именно убийство человеком человека составляет здесь "факт"). Иногда необходимость точного указания на факт приводит к транспозиции при референции к говорящему, как в примере *Как ты разговариваешь с отцом!* вместо *Как ты разговариваешь со мною!* Здесь существенно не личность говорящего, а то, что он является отцом адресата речи; именно это служит причиной возмущения. Тем самым ситуация подводится под категорию "непочтительно разговаривать с отцом", и в результате мы имеем дело не с описанием ситуации, а с "голым фактом" – "фактом непочтительного отношения к отцу".

Референциальный сдвиг и транспозиция одновременно имеют место при использовании "неопределенно-личного" субъекта с референцией к определенному лицу, как в известном примере: *Варя задумалась. Я торжествовал Меня, значит, уважали, коли задумались*. Кажется, что, если заменить последнее предложение на *Значит, Варя меня уважала, коли задумалась*, в предложении будет выражаться логическая связь между теми же двумя фактами. Однако, если выбрать этот второй вариант вербализации, может появиться больше оснований предполагать какую-то роль личных качеств Вари при установлении указанной логической связи. Точно так же высказывания *На прощание Инполитов поцеловал ей руку* и *На прощание ей поцеловали руку* могут описывать одну и ту же ситуацию, но соотносятся с различными фактами, так как характеризуются разной

² В этом смысле факты представляют собою реализации, осуществления класса гипотетических ситуаций. Возможные ситуации образуют классы, реализованные возможности строго индивиды (подобно тому как мы говорим о множестве возможных миров, но об одном действительном мире). С этим связана и невозможность генерализованного статуса для фактов: предикаты, требующие генерализованного пропозиционального объекта, не могут сочетаться с обозначениями фактов и не допускают изъяснительного придаточного с союзом *что*, при них придаточное имеет нефактуальный статус и присоединяется союзом *когда* [5].

степенью обобщения. В диагностическом контексте это становится очевидным, так как в последовательностях *На прощание Ипполитов поцеловал ей руку. Впервые в жизни ей целовали руку* (Д. Гранин) и *На прощание Ипполитов поцеловал ей руку Впервые в жизни Ипполитов целовал ей руку* условия истинности второго предложения оказываются различными: пропозиция 'Ипполитов поцеловал ей руку впервые в жизни' может быть истинной и в том случае, если даже другие целовали "ей" руку и раньше.

Сдвиги, которые вытекают из стремления вербализовать факт возможно более точно, устранив излишние подробности, приводят к большей неопределенности и обобщенности, а это в свою очередь может вести к неопределенности референциального статуса тех или иных составляющих и неясности квалификации самого факта. Это может послужить источником недоразумений или даже сознательного введения в заблуждение. Иными словами, вербализация, как бы претендующая на то, чтобы быть максимально точной, может парадоксальным образом оказаться недостаточно эксплицитной.

В частности, это часто имеет место в предложениях с локальным или темпоральным конкретизатором и нелокализованным во времени предикатом, когда соответствующий факт призван характеризовать то или иное детонативное пространство. Возможные при этом недоразумения иллюстрирует следующий диалог: – *У вас в школе девочки курят.* – *Ты так говоришь, как будто все курят. Зачем обобщать?* – *А я и ничего не говорил про всех, я лишь констатировал факт. Самый же факт, как говорится, сомнений не вызывает* (Ю. Азаров). Действительно, в высказывании *У вас в школе девочки курят* референциальный статус имени *девочки* не выявлен: при общеродовом статусе высказывание понимается как общее суждение, при экзистенциальном – как утверждение о том, что подобное явление имеет место. Говорящий несколько не отклоняется от истины, он даже не может быть обвинен в сокрытии какой-то релевантной информации. В то же время обобщенное понимание кажется более вероятным, оно в первую очередь приходит в голову адресату речи. Есть ощущение, что "правда", сообщаемая говорящим, является какой-то неполноценной, как в эпизоде из "Ракового корпуса": *"Скажите, как вас в школе звали?" – вдруг спросил он. {...} "Вега", – сказала она. (То есть, и это была неправда. Неполная правда. Ее так в школе звали, но один только человек.)* Ср. также: *Мне дико, что тут на свиданиях все плачут* (А. Солженицын) – эксплицитно выраженный общеродовой статус; *Мне дико, что тут на свиданиях некоторые плачут* – эксплицитно выраженный экзистенциальный статус; *Мне дико, что тут на свиданиях плачут* – референциальный статус не эксплицирован, возможны оба понимания.

Указанное свойство высказываний такого типа позволяет использовать их в качестве эффективного средства речевой демагогии (Т.М. Николаева [7] обращала в этой связи внимание на формулы с "обстоятельством-кулисою": *В институте считают, что...; А в классе про тебя говорят...; В секторе не любят...*). Ограничиваясь "констатацией факта",

говорящий склоняет адресата речи к обобщениям; сообщая "неполную" правду, он утверждает больше, чем если бы правда была "полной".

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н Д. Сокровенная связь // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1980. № 4
2. Арутюнова Н Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт М., 1988.
3. Арутюнова Н Д. Предикаты квазиистинной оценки в русском языке // Slavistische Beiträge. München, 1993. Bd. 305.
4. Булыгина Т В, Шмелев А Д. О семантике частиц *разве* и *неужели* // НТИ. Сер. 2. 1987. № 10.
5. Булыгина Т В, Шмелев А Д. Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения // ВЯ. 1989. № 3.
6. Зализняк Анна. О понятии "факт" в лингвистической семантике // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
7. Николаева Т М. "Лингвистическая демагогия" // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.

Дени Пайар (Франция)

О ДВУХ АСПЕКТАХ ИСТИННОСТИ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ С ДИСКУРСИВНЫМИ СЛОВАМИ

Применимость понятия истинности к естественному языку широко обсуждалась в лингвистической литературе. В большинстве исследований предпринимаются попытки "приспособить" к естественному языку выработанное за пределами лингвистики понимание истинности. В настоящей статье мы рассматриваем эту проблему на материале высказываний (и последовательностей высказываний), содержащих дискурсивные слова. Данная работа выполнена в рамках совместного русско-французского проекта по описанию дискурсивной лексики [1; 4].

Дискурсивные слова обладают одной фундаментальной особенностью – содержащие их высказывания полифоничны, т.е. в них присутствует полифония "голосов", или точек зрения. Тот факт, что эти "голоса", или точки зрения, могут определенным образом соотноситься друг с другом, ни в коей мере не ставит под сомнение существование многоголосия.

Учет этой полифонии плохо укладывается в рамки концепции истинности, основанной на противопоставлении "истина–ложь", в которой критерием истинности является адекватность "истинного" миру. Это положение впервые было подвергнуто критике в работе [3]. Такой подход, как нам кажется, оправдан только в случае высказываний, представляющих собой утверждения в строгом смысле слова.

Если понятие истинности вообще осмысленно в применении к естественному языку, то, по-видимому, речь может идти только о субъективной истинности, которая возникает в результате сложного взаимодействия говорящего с Другим и с Миром. Однако, говоря о субъективности исти-

ны, мы вовсе не утверждаем, что говорящий субъект является всемогущим центром процесса порождения высказывания, и тем более не считаем его "носителем правды". Субъективная истина, как мы ее понимаем, непосредственно связана с проблематикой *настроек* собеседников друг на друга (*ajustement*), их взаимной "подгонки", суть которой прекрасно выражена во фразе *Ты понимаешь, что я имею в виду?* (*Si tu vois ce que je veux dire par là?*), часто встречающейся в диалогах.

Что касается высказываний с дискурсивными словами, то здесь субъективная истина находит отражение в явлениях двух типов.

А. При описании высказываний с некоторыми дискурсивными словами прежде всего возникает вопрос о том, "кто это сказал" или, точнее, "кто несет ответственность за сказанное". В первую очередь это касается слов, вводящих "чужую речь": *мол, де, дескать*.

Кроме того, это имеет отношение и к выражениям, которые указывают на присвоение говорящим (далее – S_0) изначально "внешнего" по отношению к нему высказывания. Это же относится и к таким словам и словосочетаниям, как *действительно, в самом деле, на самом деле*, указывающим на разные способы принятия ответственности за высказывание. Для описания высказываний с такого рода словами мы введем понятие *г а н т а*.

В. С другой стороны, любое высказывание можно рассматривать как выражение частной и, следовательно, односторонней *точки зрения* на мир, или, точнее, на некоторое положение вещей в мире. Будучи одним из способов "сказать что-то о мире", всякое высказывание может быть сопоставлено с другими такими "способами" (или противопоставлено им). В рамках этого подхода могут быть описаны слова *-то, уж, ведь, все же, все-таки, вообще, в общем* и др.

В первом разделе мы попытаемся дать определение понятий "гарант" и "точка зрения". Во втором и третьем разделах покажем, каким образом эти понятия могут быть использованы при описании конкретных дискурсивных слов.

1. Гарант и точка зрения. Высказывание мы определяем двояко, а именно как результат некоторой деятельности, направленной на "выражение мира в языке", и одновременно как след, отпечаток этой деятельности, причем мир в данном случае не является чем-то заранее заданным. Именно в высказывании осуществляется постоянное челночное движение от языка к миру и от мира к языку. Тем самым высказывание как процесс сводится к совокупности детерминаций, осуществляемых в рамках описанной выше деятельности, цель которой – уменьшить разрыв между миром и тем, что о нем говорится. Изложенная здесь концепция идет вразрез с распространенной точкой зрения о том, что высказывание как действие первично по отношению к высказыванию как результату. Для нас высказывание и высказывательная деятельность неразделимы. Точнее, высказывание является реализацией некоторого "исходно подразумеваемого" (*à dire*), которое в принципе невыразимо средствами языка (*indiscible*), но которому при этом может быть сопоставлено некоторое представление о мире. Исходно подразумеваемое (далее ИП) не сле-

дует смешивать со смыслом высказывания, с тем, что оно означает (vouloir dire).

Приведенное определение высказывания как реализации некоторого ИП имеет два важных следствия:

- являясь реализацией, высказывание тем самым является одной из реализаций, которые составляют класс возможных реализаций некоторого ИП;

- высказывание как реализация имеет глубоко двойственную природу. С одной стороны, это явление языка, и в этом своем качестве оно является адекватным выражением воплощенного в нем ИП; иными словами, высказывание в этом смысле определяется соответствием ИП. С другой стороны, оно выполняет функцию "представителя" некоторого положения вещей, и в той мере, в какой это положение вещей соотносено с ИП, высказывание представляет собой особую (singulière) и тем самым неполную реализацию этого ИП.

Таким образом, по отношению к ИП высказывание является одновременно реализацией-образцом (т.е. соответствующей ИП реализацией) и, не создавая противоречия, особой (т.е. не полностью отражающей ИП) реализацией. Эти две стороны высказывания (которые можно было бы иначе назвать "типичностью" и "уникальностью") рассматриваются в рамках двойственной связи высказывания с ИП.

Будучи реализацией-образцом, высказывание тем самым выделяется (discerné) из класса возможных реализаций. Основанием подобного выделения (discernement) служит гарант, "отличающий" то или иное высказывание-реализацию. Подчеркнем, что гарант является не субъектом, а теоретическим конструктом, однако ему в принципе может соответствовать некоторый референт. В частности, статус гаранта может иметь S_0 . Однако тот факт, что высказывание является объектом выделения, сам по себе не решает проблему соотношения данной реализации и класса возможных реализаций. Как будет показано во втором разделе, мы вынуждены принимать во внимание степень выделяемости, зависящую от гаранта. Высказывания по отношению к классу являются одновременно выделяемыми (относительно других) и невыделяемыми (в силу их соответствия ИП). Степень выделяемости тем самым определяется этим двойным статусом высказываний. Выделяемость существует в той мере, в какой присутствует отношение высказывания к классу.

Как было показано выше, высказывание, будучи особой реализацией, отсылает к некоторому положению вещей, которое уже в силу своей собственной "особости" (singularité) может быть только частично, в большей или меньшей степени отражено в ИП, воплощенном в высказывании. Более того, положения вещей бывают разными, и поэтому существует возможность членения ИП, которому эти положения вещей сопоставлены. Такое членение ИП лежит в основе различения способов сказывания (действительно, более или менее, не совсем совсем не), которые и представляют собой различные точки зрения.

Итак, как с точки зрения выделения, так и с точки зрения членения

конкретное высказывание уникально и в то же время сопоставимо с другими высказываниями.

Как реализация-образец высказывание соответствует ИП и одновременно обладает некоторой степенью выделяемости по отношению к классу в зависимости от гаранта.

Как особая реализация высказывание есть точка зрения, и в то же время, в силу своей "особости", оно может быть сопоставлено с другими реализациями или противопоставлено им.

Понятие субъективной истинности тем самым имеет два аспекта: соответствие и особость.

2. Гарант и дискурсивные слова. Мы ограничимся здесь лишь несколькими замечаниями, призванными показать, каким образом понятие гаранта используется в описании дискурсивной лексики.

Маркеры *мол*, *де*, *дескать* указывают на наличие в речи говорящего "чужой речи". Эти слова неоднократно обсуждались в лингвистической литературе; из последних работ можно упомянуть [2], а также описание, предложенное Р. Камю [4]. Они могут быть описаны и с помощью понятия "гарант". С одной стороны, все они указывают на то, что гарант, являющийся опорой выделения данного высказывания, отличен от S_0 . С другой стороны, как показывает Р. Камю, эти слова можно развести на основании их выделяемости (т.е. отношения к классу).

Когда гарантом высказывания является S_0 , класс возможных высказываний присутствует лишь виртуально: высказывание выделено, но, поскольку класс реально не присутствует, мы не принимаем во внимание его возможное своеобразие. Высказывание уникально, следовательно, невыделимо, и его невыделимость интерпретируется в данном случае просто как соответствие ИП.

В случае же таких слов, как *мол*, *-де*, *дескать*, класс актуализирован (и поэтому возникает проблема выделяемости), а маркеры отличаются друг от друга типом отношения данного высказывания к классу возможных:

– *мол*: класс введен в рассмотрение, но высказывание в конечном счете оказывается невыделимым; оно ничем не отличается от любого другого высказывания того же класса, вследствие чего S_0 как возможный гарант никак не отделяет себя от гаранта высказывания, содержащего *мол*. Например: *Ты только передай и скажи, что от Стояна и больше ничего. Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если чаем будет угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина откажись, если предложит* (А. и Б. Стругацкие);

– *дескать*: данное высказывание выделено в большей степени, чем другие, но другие также выделяемы: S_0 вступает с гарантом высказывания, содержащего *дескать*, в отношение отделимости (*séparabilité*). Например: *Вот что случилось на последнем собрании. Наш С. произнес горячую и пламенную речь – дескать, рабочие... труд... работают... бдительность солидарность. И утомленный своей речью, под гром аплодисментов сел на свое место рядом с председателем* (М. Зощенко);

– *-де*: высказывание не просто потенциально выделяемо, а в данном слу-

чае действительно выделено; тем самым оно уникально в том смысле, что уже не связано с классом; оно дано само по себе одновременно как оторванное от других и соответствующее ИП. S_0 в этом случае "внеположен" гаранту высказывания, содержащего -де: он никак не вовлечен в высказывание с -де, находится полностью "вовне". Парадоксальным образом такие высказывания в определенном смысле объективны, так как вопрос о позиции S_0 по отношению к высказыванию с -де просто не возникает: *Недавно одна моя студентка озадачила меня откровением, что-де классовая борьба – устаревшее понятие, как и руководящая роль пролетариата. Ладно бы такое утверждала одна она.*

Проблема гаранта важна не только в случае передачи "чужой речи". Речь может идти также о том, что S_0 эксплицитно занимает определенную позицию по отношению к гаранту некоторого высказывания. Конечно, к примеру, означает, что относительно некоторого выделенного (и, следовательно, имеющего гаранта) высказывания, S_0 заявляет, что он не может не быть гарантом этого высказывания: – *Я возьму почитать эту книгу, ладно? – Конечно, о чем речь! или: – Ты, конечно, забыл ключи? – Конечно нет.*

Для выражений типа действительно, в самом деле, на самом деле вопрос об их гаранте является главным.

Действительно означает, что для выделенного (и потому имеющего гаранта) высказывания могущая возникнуть проблема гаранта решена *a priori*:

Только не изменяйте ничего. Оставьте все как есть, – сказал он дрожащим голосом. – Вот ваш муж.

Действительно, в эту минуту Алексей Александрович своею спокойною неуклюжею походкой входил в гостиную (Л. Толстой).

В самом деле означает, что хотя сначала S_0 занял позицию гаранта высказывания, отличного от выделенного, затем он заявляет, что является гарантом выделенного высказывания: *Я знаю, как это называется, – сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Кандид поглядел на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна (А. и Б. Стругацкие).*

И наконец, на самом деле указывает на сопоставление двух выделенных двумя разными гарантами высказываний, причем эти гаранты не могут совпадать друг с другом: *Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет.*

3. Дискурсивные слова и точка зрения. На этот раз мы попробуем показать на примере нескольких дискурсивных слов (ведь, разве, вообще) обоснованность применения понятия "точка зрения".

Ведь вводит высказывание, соотносимое с некоторым ИП и представляющее положение вещей, соответствующее правильной точке зрения. Ведь обязательно предполагает также рассмотрение другой, отличной от правильной, точки зрения (которая в принципе может соотноситься с другим положением вещей). Эти две точки зрения, отношения между кото-

рыми могут быть разные, будучи перенесены в область межсубъектного взаимодействия, могут указывать на полемику: – *Пусть он с нами поедет!* – *Как же он поедет? Ведь у него отпуск кончился.*

В других случаях речь может идти о внезапном осознании того или иного обстоятельства: – *Сколько сейчас времени? Ой! Ведь я опаздываю!*

Разве предполагает наличие двух точек зрения: хотя для S_0 данное положение вещей не имеет ничего общего с ИП, он заявляет о своей готовности в момент вопроса считать, что обсуждаемое положение дел по сути все-таки имеет отношение к ИП. Например: (Обращаясь к человеку, который должен был уехать) – *Разве ты не уехал?*

– (...) *Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?*

– *Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?* (М. Булгаков)

Наконец, *вообще* указывает, что в отличие от первого высказывания, отсылающего к некоторому особому положению вещей и тем самым представляющего особую точку зрения, точка зрения, вводимая с помощью *вообще*, не имеет отношения к членению ИП на отдельные особые точки зрения: данная точка зрения вводится как отрицание всякой частной, особой, отдельной точки зрения: – *Ты бы не мог нам помочь разобрать книги?* – *Как тебе сказать. Вообще, мне на работу пора;* или: – *Вы чай будете?* – *Вообще-то нет.*

В заключение нам хотелось бы подчеркнуть следующее. Хотя мы дали определение понятий "гарант" и "точка зрения" (каждое из которых по своему соотносится с логикой субъективной истинности), опираясь на результаты изучения дискурсивных слов, нам тем не менее представляется возможным применить эти понятия к любым высказываниям, независимо от того, содержат они дискурсивные слова или нет. Как нам кажется, это должно позволить выработать новый подход к языковой истинности, при котором истина (будь то в логическом, религиозном, философском или даже юридическом смысле) не будет привноситься в естественный язык извне.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. Баранов, В. Плунгян, Е. Рахилина. Путеводитель по дискурсивным словам. М., 1993.
2. Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М.: Наука, 1992.
3. Paillard D., De Vogue S. Modes de présence de l'autre // Particules énonciatives en russe contemporain, II. P., 1987.
4. Systématique des mots du discours. P., 1994.

ИСТИННОСТЬ В СУБЪЕКТИВНО-МОДАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ*

Human beings are not satisfied with reporting cold facts about the world. By various means they comment on what they are saying, they show it in a certain light: they use modalities.

Henning Nøtke

Истинность – логическое и формальное свойство, оно "бессубъектно", бесстрастно, объективно и как бы нелингвистично – ни в словаре, ни в грамматике, ни в правилах построения текста оно не используется. Его связь с субъективными состояниями человека кажется тем более нерелевантной для лингвистики. Но именно эта связь проявляет "человеческий фактор в языке", точнее, объясняет механизмы речевого поведения. Достаточно обратить внимание на то, что самой естественной реакцией человека на факт будет выражение отношения к нему, ср.: *Жаль (отрадно, странно, интересно, возмутительно, отлично), что Петя женился на Маше; е.г. – Сейчас ко мне Архипова старуха приходила, – сказал заведующий, – тысячу рублей просила разменять. – Чудеса!.. У Архиповой старухи тысяча рублей* (П. Романов); ср.: "'Irrational' devices... make human speech distinctly human... and pertain to the very essence of human communication" [25, 519].

"Поведение человека в окружающем мире опирается на знание о нем. Это знание формируется как бы в двух взаимосвязанных сферах – одной, где решающее слово имеет логика, и другой, где господствуют чувства" [14, 26]. Знание же, попадая в коммуникативный контекст, становится истинной, достоверной информацией и приобретает субъективный, практический смысл, – благодаря тому, что составляет содержание сообщения.

Виды косвенных сообщений

Сообщение, помимо своей п р я м о й коммуникативной роли – передавать новую истинную информацию и пополнять фонд объективных знаний адресата, – способно выполнять еще ряд к о с в е н н ы х функций, которые проявляются в сопровождающей это "полноценности знаний" субъективно-модальной реакции на факт. Наличие такой реакции объясняет возможность передачи информации, заведомо адресату известной или доступной его восприятию (ср.: *У тебя новая прическа; Вы опоздали; Дождь; Завтра выходной*); информации, формально не имеющей истинностной оценки (*Петя поступил некрасиво*); информации, не столько сооб-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 93-06-10941 "Логический анализ языка".

щающей о положении дел, сколько выражающей отношение к нему говорящего (*Что-то Тани нет; Тани все нет*) (см. [6, 136; 13]).

Как известно, реакция на прямую коммуникативную функцию сообщения пассивна, необязательна и не предполагает диалога. Ее смысл примерно таков: "не знал, теперь буду знать". Реакция на косвенные функции сообщения активна – она заключается в субъективно-модальной оценке факта адресатом и предполагает ее выражение, диалогический ответ [6].

I

Модальная оценка факта *ф о р м и р у е т с я* как результат эпистемического восприятия истинной информации, ее психологического переживания и ее ценностного осмысления (ср. [17]).

Ментально-эпистемическое восприятие происходит, когда информация не просто вписывается в фонд знаний адресата, но сравнивается с имеющимися знаниями, ожиданиями и представлениями и на этом фоне квалифицируется как нечто безразличное или интересное, стандартное или необычное, понятное или странное, закономерное или неожиданное, специфическое, удивительное, неординарное и т.п. Эпистемическая оценка выражается в ответных реакциях на сообщение в виде реплик: *странно, интересно, чудно, непонятно, удивительно* и под.; е.г. – *Смотри, он вылез из окна. – Естественно вылез, не лежать же ему весь день* (М. Булгаков).

Психологическое переживание нового знания происходит, когда адресат "вписывает" новую информацию в свою личную сферу. Испытываемое им при этом эмоциональное состояние выражается в ответных репликах: *жаль, обидно, отратно, досадно, возмутительно, прекрасно, замечательно, смешно, забавно, я рад, доволен, счастлив* и под.; е.г. – *Вы понимаете, товарищ, он обнаглел до того, что признался мне в любви, как вам это нравится? Я спокойно ответил: – Мне это нравится. Он честно говорит вам о том, что творится в его душе* (Б. Лавренев); *Второй акт пишете? Грандиозно* (М. Булгаков).

Ценностное осмысление сообщения происходит, когда адресат сопоставляет новую информацию со сложившимися представлениями о нормах, правилах, требованиях, о должном и возможном, вписывает ее в деонтический или причинно-следственный контекст. Ответная реакция – *хорошо, плохо, неплохо, тем лучше* и под., – выражает влияние фактов на волевую сферу, на программу действий и отражает мотивацию деятельности субъекта; е.г. – *Мне здесь очень нравится. – Ну вот и очень хорошо* (Н. Зарудин); – *Ах, вы не женаты. И хорошо. Со ссыльными женами потом обычно разводятся и целая канитель* (А. Солженицын); – *Ну, вы договорились? Отлично. Хранитель древностей, принимай нового сотрудника* (Ю. Домбровский).

Реакция адресата на истинную информацию аналогична реакции "наблюдателя" на имеющее место положение дел: адресат сообщения и

наблюдатель реагируют на "факт" сходным образом, ср.: *Я огорчен увиденным/услышанным; Рад слышать/видеть; Я возмущен этим поступком/тем, что я узнал*. В разговорной речи ответная реакция часто выражается в виде экспрессивных коммуникативных формул, совмещающих (не различающих) разные виды впечатлений: *Ну надо же!; Кто бы мог подумать!; Вот тебе раз!; Вот это да!* и мн. др.

Способность истинной информации вызывать модальную реакцию адресата может намеренно и использоваться говорящим в своих прагматических целях. Сообщения, рассчитанные на определенный вид реакции, часто маркируются специальными метакоммуникативными средствами и приобретают фатическую функцию: *Слышал новость?; А ты знаешь; Представляешь; Что я тебе скажу; Как тебе это нравится?* и т.п. Фатические сообщения побуждают адресата к аксиологическому диалогу, проявляя унисон/ассонанс/диссонанс взглядов, настроений, оценок, совпадение/согласование/рассогласование отношения к тому, что произошло, происходит или будет происходить; е.г. – *А ты знаешь, Тамара с Павлом на хоккей ходили. – Подумаешь, ерунда, – сказал я весело* (А. Арканов).

Таким образом, в общении истинная информация, приобретая фатическую функцию, устанавливает "аксиологический" контакт между субъектами и придает ему "предметный" смысл, выступает как бы за про сом, требующим от адресата о т в е т и т ь, как он относится к новым для него сведениям.

II

Истинная информация способна не только "намеренно" воздействовать на адресата, побуждая его к модальной оценке положения дел, но и сама нести следы ее восприятия, переживания и осознания говорящим. Сообщение в этом случае содержит субъективно-модальные значения и преобразуется из простой констатации факта или информирования в способ передачи отношения к нему субъекта речи, "с и м п т о м а т и ч е с к и" выражая его различными модальными средствами: сообщение и выражение отношения с о в м е щ а ю т с я в одном высказывании, синкретично передавая семантическую и прагматическую информацию [17].

В Русской грамматике [15, 214–236] субъективно-модальные значения разбиваются на оценочно-характеризующие и оценочные и приводится перечень средств, способных их выражать (синтаксические фразеологизмы, соединения словоформ, бессоюзные соединения, соединения с союзами или союзными частицами, повторы, словопорядок, модальные частицы и др.); е.г. *Ну и дождь; Ему не до разговоров; Лето – лето, а холодно*. Такие "первичные реакции наблюдателя", транспонируясь в сообщение, образуют его модальную рамку и преобразуют из констатации факта в о п и с а н и е события, моделируя, воспроизводя ситуацию восприятия и переживания происходящего; е.г. *А он возьми и сдай все экзамены; А Татьяна бежать; Маша постояла-постояла и ушла; Его зовут, а он идет себе* (см. [2, 10–18]).

Сообщение становится и м п р е с с и в н ы м. "Изобразительный" стилистический эффект таких импрессивных сообщений заключается в воспроизведении происшедшего и вовлечении адресата в "восприятие", в его эпистемическом и эмоциональном "заражении". Транспонированный (бес- субъектный) способ передачи впечатления позволяет вписать его в сообщение, не нарушая повествования. Импрессивные высказывания переносят адресата в другое место и время и как бы к о н т р о л и р у ю т его восприятие "происходящего" там (см. также [16]).

Таким образом, в повествовании истинная информация способна приобрести импрессивную функцию – она устанавливает контроль за восприятием фактов адресатом и задается модальной рамкой высказывания, придающей факту дескриптивно-оценочные свойства [2; 13; 17; 18]; она дополняется импрессивной, субъективной, аксиологической, происходит своеобразная интенсификация факта, его выделение и "взвешивание".

З а м е ч а н и е. Примечательно, что, например, в немецком языке субъективные смыслы русских конструкций "малого синтаксиса" (термин Ю.Д. Апресяна) передаются собственно модальными глаголами. Так, русскому высказыванию *Наших гостей все нет и нет* соответствует немецкое *Unser Besuch will nicht erscheinen*, где модальный глагол *will* явно связан с переживанием [8, 66] (ср. англ. *Our guests wouldn't come*, где модальный глагол более рационален).

Переживание и модальность в современной лингвистической традиции не связываются напрямую. Это объясняется неоднократным влиянием сильных логических теорий на лингвистику, особенно современных – эпистемической, деонтической и алетической логики (см., например, [5, 6, 22]). Между тем модальность – одно из центральных понятий психологии: "Отношение к отражаемым явлениям как главное свойство эмоций представлено в их качественных характеристиках к ним относится знак – положительный, отрицательный – и модальность – удивление, радость, отвращение, негодование и т.д." [11, 408].

Понятие субъективной модальности, используемое в Русской грамматике [15] и ряде других работ [1, 3, 4, 17, 18], связано именно с учетом психологической реальности в языке, с традицией, берущей начало в работах В. фон Гумбольдта, К. Бюлера, Ш. Балли, Э. Бенвениста, В.В. Виноградова и др.

Другое модальное средство выражения отношения говорящего к факту можно назвать коммуникативным дейксисом. Он порождает р и т о р и - ч е с к и е сообщения. В отличие от импрессивных риторические сообщения не несут для адресата новой информации, их задача – актуализировать уже известный факт, вписать его в текущую коммуникативную ситуацию, как бы совместить соответствующее положение дел и его восприятие: *Дождь; Уже поздно; Ты опоздал; У вас новая прическа; Ты не маленький.*

Риторические сообщения каузальны, с их помощью говорящий п о - б у ж д а е т адресата к реакции, адекватной указанному положению дел. Риторичность подобных высказываний заключается в том, что адресат сам должен логически вычислить ожидаемый от него ответный ход, осознать не факт сам по себе, а вытекающие из него следствия, актуальные в данной ситуации. Смысл риторических сообщений – в коррекции поведения (не только адресата, но и своего – при автокоммуникации), в побуждении к действию: *Ты не маленький* = "Веди себя как взрослый"; е.г. (*Отстаньте от меня, ради Христа.*) *Я вас не трогаю; Товарищ Бездомный, вы расстроены смертью вашего любимого Михаила Александро-*

вича. (Все мы это прекрасно понимаем. Вам нужен покой) (М. Булгаков).

Истинная информация приобретает побудительную функцию и устанавливает контроль за поведением. Она "эксплуатируется" говорящим в своих интересах.

И наконец, сообщение может содержать оценочное отношение говорящего к сообщаемому. Оценочное сообщение выражает модальное отношение через эмоционально-оценочные имена ситуаций: *Там было красиво; Петя долго веселился; Коля вел себя безобразно; Он настоящий бездельник (подлинный артист);* e.g. – *Ну, как юнкеры? – Драться будут. Но полная неопытность. Великое счастье, что хорошие офицеры попались* (М. Булгаков).

Выражая мнение субъекта, оценочные высказывания заменяют истинную информацию, факты, субъективно-модальной информацией, превращая сообщение в рекомендацию, в прескрипцию относительно того, как адресату следует расценивать имеющее место положение дел. Вместо изложения фактов оценочные сообщения предлагают их "псевдоимена", интерпретирующую редакцию происходящего субъектом речи. Предоставляя говорящему возможность самовыражения, они становятся не только сообщениями об имеющем место положении дел, но и о самом субъекте оценки, который заменяет "знание" своим мнением, аксиологизируя факты, осмысляя, переживая и обобщая их, подавая в новом, модальном свете.

III

Итак, вбирая в себя субъективно-модальные смыслы, сообщение приобретает вторичные коммуникативные функции – выражения отношения, побуждения и спрашивания. Истинная информация при этом дополняется импрессивной, актуализируется или замещается субъективно-оценочной.

Импрессивное сообщение передает эпистемическое восприятие факта, дополняет фактуальную информацию ее событийной характеристикой. Риторическое сообщение выражает ценностное осмысление положения дел, включение его в программу действий. Оно как бы заменяет оценку факта самим фактом. Оценочное сообщение передает аксиологическое отношение говорящего к положению дел и замещает факт его интерпретацией.

В результате субъективно-модальный контекст дополняет истинностные свойства сообщения эпистемическими, эмоционально-оценочными и ценностными характеристиками. В общении эти характеристики часто совмещаются, взаимодополняя и усиливая друг друга, позволяя в одном высказывании сделать несколько сообщений, превращая обычное сообщение в полифоническое.

Субъективно-модальный контекст контролирует восприятие информации адресатом, придает ей побудительный или рекомендательный смысл. Модализованное сообщение синкретично. Истинная, предметная, семантическая информация сочетается в нем с субъективной, прагматической – побудительной, "каузальной", "прескриптивной".

Реакция на истинную информацию вписывает ее в личную сферу адресата, модализует и превращает в "факт его биографии" – приятную или печальную новость, радостное или тяжелое известие, в неприятности или непредвиденные осложнения, в причину переживаний, размышлений, поступков, в повод для беспокойства, радости или печали, в личные обстоятельства или внешние условия, в мотивы действия или бездействия, в причину изменения планов, в основания решений, в поиск выхода из создавшегося положения, пробуждает интерес, любопытство, нетерпение, страх, надежду или приносит облегчение и мн. др.

Истинная информация способна не только вписываться в личную сферу адресата и производить изменения в ней, но и в межличностные отношения, устанавливая социально-психологический контакт между говорящим и адресатом. Это происходит, когда сами факты соотносятся с личной сферой субъектов общения.

Сообщения в социально-психологическом контексте

Подобно тому как речевой контекст, воплощая коммуникативные намерения говорящих и согласуя их между собой, порождает диалогическую модальность [1; 3; 4] и преобразует сообщения в коммуникативные взаимообусловленные действия – утверждение, подтверждение, уточнение, напоминание, ответ, аргумент, объяснение, опровержение, согласие, оспаривание, признание, отрицание и т.п., – социально-психологический контекст, согласуя сферы говорящего и адресата, воплощает межличностные отношения субъектов и порождает "межсубъектную" модальность. Сообщение становится социально-речевым действием, поступком, приобретает перформативный смысл и обретает новую функцию – установления социально-психологического взаимодействия между субъектами.

Производимая в сообщении модальная оценка положения дел сферы говорящего или адресата придает импрессивным, риторическим и оценочным сообщениям иллюкутивную функцию упрека, похвалы, просьбы, жалобы, обвинения и т.п.; ср.: *Холодно (закрой окно; зачем ты открыл окно; оденься, а то простудишься); У тебя не убрано (а ты смотришь телевизор)*. Эпистемические, психологические и ценностные отношения к фактам становятся отношениями между субъектами – заинтересованностью, эмпатией, одобрением или безразличием, антипатией, осуждением.

I

В зависимости от иллюкутивного намерения говорящего "перформативное" сообщение может стать "бенефактивным", "аппелятивным" или "аккузативным" для адресата.

Направленные на адресата "перформативные" сообщения могут принести ему пользу, передавая бенефактивный для него смысл – похвала, совет, подбадривание, благодарность, сочувствие, предостережение, комплимент, предложение, приглашение, поздравление, прощение, обещание,

утешение, одобрение и др.; е.г. *Здесь есть свободное место* – приглашение; *У вас красивая шляпка* – комплимент; *У тебя был трудный день* – сочувствие.

Констатируя факт и тем самым передавая небезразличное отношение к нему, говорящий одновременно выражает и свое отношение к адресату – эмпатию, включение сферы интересов адресата в свою личную сферу. Бенефактивные сообщения "конструктивны" – они устанавливают положительную психологическую связь между субъектами.

Сообщения, апеллирующие к адресату и побуждающие его к восприятию фактов сферы говорящего, выражают психологическое давление говорящего на адресата, побуждают его к эмпатии. Констатируя "факт своей биография" и переживая его, субъект речи вынуждает адресата к аналогичной реакции, требующей от него включения факта в его личную сферу: *Мне неудобно здесь сидеть* (– *Давай поменяемся местами*); е.г. *Весь день народ валит. Сходить пообедать некогда* (А. Солженицын). Апеллятивные сообщения наступательны, "агрессивны" – они заставляют адресата переживать факты личной сферы говорящего как своей собственной.

"Аккумулятивные" сообщения, наносящие урон личности адресата – упрек, обвинение, осуждение, уличение, порицание, насмешка, угроза, запрет, шантаж и т.п. – констатируя факт, относящийся к сфере адресата, выражают расхождение интересов говорящего и адресата, размещение в них личных сфер, психологическую дистанцию и отчуждение между ними: *Вы обещали выполнить эту работу еще вчера; с.г. Самовар уже два часа на столе, а они гулять пошли; Раньше вы никогда не пили, и никогда вы так много не говорили. Мне с вами скучно* (А. Чехов). Аккумулятивные сообщения "деструктивны" – они отчуждают сферу говорящего и сферу адресата.

Замечание. Сообщение – транспонированная, вторичная форма выполнения социально-речевого действия. Его перформативный смысл, иллюкутивная сила, опирается на содержащиеся в нем оценочные коннотации, делающие необязательным явное выражение отношения говорящего к адресату. "Совокупность оценочных признаков в лексических значениях слов образует аксиологический кодекс языка, составляющий ценностную основу культуры общества. Аксиологический кодекс выражается в ценностных суждениях, соответствующих предпочтениям общества" [9, 165]. ср.: *Опаздывать некрасиво; Поспешить – любой насмешит* и пр.

Оценочные значения в сообщениях и общие аксиологические знания задают интерпретацию факта и придают высказыванию поведенческую функцию, граница между сообщением и воздействием почти незаметна: *Петя пришел в пять часов/вовремя/кстати/некстати/большим опозданием/как всегда, опоздал* (ср. [19, 20]).

Аксиологические элементы способны взаимодействовать друг с другом причудливым образом: взаимоусиливать (ср. *приятно/неприятно удивить*), взаимозаменять или нейтрализовать друг друга. Например, эпистемическая реакция "удивление" не только непосредственно связана с психологическим переживанием, но и способна выражаться через ценностные (деонтические) показатели *Надо же!; Как же так можно!; И зачем только ну жно было это делать!* Речевые коммуникативные формулы при этом передают как бы несколько сообщений, совмещая факт, его оценку и речевое действие, выполняемое в процессе высказывания. Социальные нормы общения, подразумевающие уважительное отношение к адресату, воплощаются в смягчении "небенефактивности" направленного на него действия, например замечание заменяется просьбой: *Нельзя ли попросить вас разговаривать тише?*, просьба – вопросом и мн. др.

Форма сообщения – косвенный имплицитный способ воплощения социально-речевого действия [5]. В отличие от прямого – императивного – она не содержит грамматических средств выражения намерения и в отличие от эксплицитного – самоидентификации перформативными глаголами – не содержит указания на выполняемое или желаемое ответное действие, ср. *Закрой окно* – прямая прескрипция; *Прошу тебя закрыть окно* – эксплицитная просьба; *Не закроешь ли окно?* – косвенная просьба; *Мне холодно* – косвенное имплицитное побуждение адресата к действию.

Побуждение и намерение в бенефактивах высказываются в интересах адресата, поэтому прямое – императивное – высказывание для них более конвенционально: *Веселее; Осторожно, не упади; Садись здесь*, а форма сообщения периферийна. Для апеллативов и аккузативов она более характерна, а для действий, затрагивающих социально неодобряемые стороны поведения – жалобы, доносы, уличения, претензии и др., – она, напротив, выступает почти прототипической, поскольку прямое эксплицитное указание на свое действие оборачивается в таких случаях иллюкутивным самоубийством: **Я уличаю вас в трусости (предательстве, низости) vs. Вы не выполнили своего обещания.*

Лишенные как показателей побуждения, так и маркеров вежливости, перформативные сообщения придают общению беспристрастность предметно-делового стиля, становятся з н а к о м отношений между субъектами (ср. [23]). Из-за отсутствия маркеров вежливости транспонированные сообщения "недотягивают" до средства официального общения, а из-за минимальной экспрессивности и невыраженности намерений – до непринужденного.

Однако свернутый в них импрессивный заряд способен легко и свободно как разворачиваться в экспрессивные формулы, так и вызывать экспрессивную реакцию адресата: *Ты опоздал. – Ты опять опоздал. – Опять ты опоздал. – Вечно ты опаздываешь. – И когда ты перестанешь опаздывать?* vs. *У меня часы отстают. – Может, у меня часы отстают? – А ты подождать не можешь? – Ты сам-то всегда опаздываешь. – Ты что, сам не опаздываешь?*

Готовые и специально сложившиеся в языке экспрессивные формулы интенсификации субъективно-модальной оценки вытесняют фактуальную информацию на периферию высказывания, замещая ее выражением личностных смыслов, символизирующих отношения между субъектами: эмпатию/апатию/антипатию; кооперацию/наступление/оборону.

Модализация факта за счет семантически опустошенных служебных элементов повышает прагматичность и экспрессивность высказывания, его воздействующую "апеллирующую" или "аккузативную" силу, преобразуя форму сообщения в эмоционально более насыщенный вопрос, побуждение или восклицание: *Это еще что такое?!*; *Да как же так можно?!*; *Ну, ты и учудил!* Нарастающая модализация факта и экспрессивизация выражения все более обнажают скрытые в сообщении истинные цели субъекта речи, ср. *возмущаться, хвастаться, ныть, пререкаться, досаждать, оскорблять, унижать, разоблачать* и т.п.

Эмоциональность делает человека слабее и уязвимее, а речь – менее содержательной [17]; контроль над эмоциями позволяет и контролировать ситуацию общения, и повышать ее информативность. "Для всякого действия сообща... требуется наличность некоторого сдерживающего чувства... Удержавшись от нанесения обиды за обиду, вы только избавили себя от лишней неприятности, от упрека самому себе за невоздержанность, за грубость, которой вы не одобрили бы по отношению к себе. Вы пошли путем, который вам дал наибольшее удовлетворение" [12, 47, 255].

Таким образом, сообщение, содержащее в транспонированной, косвенной форме модальную оценку факта говорящим, занимает как бы мертвую зону между экспрессивными речевыми действиями и вежливыми обращениями. Первые предельно сокращают психологическую дистанцию между говорящим и адресатом, вторые предельно увеличивают, подчеркивая уважительное отношение к адресату и его социальный статус. Сообщение же сдерживает как чрезмерное навязывание адресату своего отношения, так и социальное отчуждение от него. Благодаря этому сообщение способно формировать свои специфические жанры взаимодействия: иронию, сарказм, насмешку, подшучивание, анекдот, розыгрыш, эвфемизм, афоризм и др. [21; 24].

Отвечная реакция адресата на перформативное сообщение обнажает его готовность к взаимодействию или выражает протест в отношении, притягивает или неприятие оценки факта и соответствующих отношений с говорящим. Она может быть кооперативной, оборонительной или наступательной, прямой или косвенной, фактуальной или модальной и т.п. Один из способов модальной реакции на перформативное сообщение – комментирование факта, его интерпретация, которая сама способна становиться речевым действием, выражающим отношение адресата к говорящему, в частности в виде пословиц и поговорок. Комментируя положение дел и обобщая его, они выносят оценку не только факту, но и субъекту, в чью личную сферу он входит, и тем самым устанавливают межсубъектные отношения. Они способны выполнять не только психотерапевтические, по выражению Т.М. Николаевой, действия, но и "апеллятивные", и "аккузативные", ср.: *Яйца курицу не учат; Яблоко от яблонь недалеко падает*. В рассказе "Фольклорист" Ц. Солодаря (пародирующем пристрастие к крылатым фразам) проявляются именно эти свойства пословиц (в скобках указывается их иллокутивный смысл): – *Помните, товарищ Коноплянкин, наш не очень приятный разговор на прошлой неделе? – Кто старое помянет, тому глаз вон* (примирение, предупреждение, угроза – в зависимости от просодии). – *Но сегодня я вынужден повторить то же самое. – Повторение – мать учения* (одобрение, подбадривание, наставление) (...). – *Вы опять вмазали в расчеты две крупные ошибки. – На ошибках учимся* (оправдание) (...). – *И затем, вы обычно сдаете расчеты с бесчисленными мелкими неряшливостями. – Дурак не заметит, умный промолчит* (безразличие, отведение упрека, оправдание, отстранение, утешение).

Пословицы как прописные истины в функции речевого действия, представляется, имеют оттенок демагогичности. Их смысл – не сообщить прескриптивные знания, а охарактеризовать факт, положение дел, косвенно передать свое отношение к нему, причем их форма – обобщающего высказывания – почти не поддается оспариванию.

З а м е ч а н и е В толкованиях социально речевых действий собственно л о к у - т и в н ы й компонент высказывания обычно формулируется однозначно, е.г. *упрекать* – "Х говорит Y, что он не должен был делать Р" [7, 198, 26]. Как показывают примеры перформативного употребления сообщений и возможных реакций на них, такой подход не учитывает диапазона форм, способных воплощать иллокутивную силу речевого действия. Кажется, что локутивный компонент все же может быть введен в описание в виде формулы, отражающей как нейтральные, так и экспрессивно окрашенные прямые и косвенные способы выполнения речевого действия, иначе складывается впечатление, что все социально-речевые действия выполняются только "по образцу" (ср. [6, 137]).

III

Таким образом, прототипический смысл субъективно-модального контекста – в безразличном отношении субъекта к истинной информации, в модальной оценке факта. Этот, часто в явном виде не присутствующий в сообщении, элемент может не только незримо сопутствовать истинностному сообщению, но и придавать ему осмысленность, изменять его форму и преобразовывать содержание.

Сопутствующий смысл, перерастая в истинный предмет сообщения и эксплуатируя формальную информацию, не уничтожает ее и ее истинностное значение полностью, а преобразует в инструмент контроля над ситуацией, удваивая сообщение, задавая стиль общения и вписывая истинную информацию в прагматическую ситуацию – ментальную, коммуникативную или социальную.

Внутренняя, модальная реакция субъекта на имеющее место положение дел проявляется многообразно и подчас неуловимо, но именно она вписывает факты в жизненный контекст и объясняет их значение в нем. Истинная информация, облаченная в "аксиологические одежды", приобретает фатическую, изобразительную, "дейктическую" и интерпретирующую функцию, становится з н а к о м межличностных отношений и отражает способы ее вхождения в личную сферу адресата. Субъективный, человеческий, фактор, вмешиваясь в языковые структуры, изменяет их функции, переосмысляет, взаимозаменяет и совмещает их, стирает между ними границы, приписывает им косвенные роли и творит из них более тонкий инструмент воплощения намерений говорящего.

"Модальные типы речи"

В статье были затронуты только общие контуры связи внутренних состояний субъекта с воздействием, которое на него оказывает информационная среда. Реальная картина сложнее и интереснее.

Естественная коммуникация – это не отдельные высказывания, а связанные тексты. Так, даже элементарный акт просьбы часто состоит не из одного, а из последовательности высказываний [5], связанных друг с дру-

гом отношениями дополнительности, взаимообусловленности или взаимосоусиления.

Будучи производным от прототипического речевого действия, текст наследует и развертывает его иллокутивную силу, воплощая и распределяя коммуникативные намерения в структуре, организации, модальности – словесно и грамматически. Взаимодействие субъективной и объективной модальности при этом порождает различные модальные типы речи, ср.: прошение, проповедь, рекомендация, рецензия и пр. Так, высказывания *Не ходи туда; Не следует туда ходить; Лучшие туда не ходить; Не ходил бы ты туда; И зачем тебе туда идти?* различаются именно модальностью.

Модальные типы речи связаны не столько со стилем речи, сколько со стилем мышления. Их описание – отдельная задача. Роль же модальных значений в тексте можно проиллюстрировать двумя модально полярными типами речи – научным и поэтическим.

Научная речь как когнитивный процесс направлена на познание объективного мира и потому преобразует субъективную модальность в объективную, достоверную. Поэтическая речь как художественный процесс направлена на эстетическое, духовное освоение мира и потому преобразует объективную модальность в субъективную.

Так, хотя наука стремится к объективной истине, собственно истинность суждений составляет предмет философии и логики. В остальных научных областях познание сосредоточено на правильности и обоснованности рассуждения и вывода, их воспроизводимости, значимости, непротиворечивости, ср.: *правомерный, закономерный, логичный, резонный, точный, поспешный, неожиданный, важный, правильный, ошибочный* и т.п. вывод (допущение, предположение, рассуждение, заключение), т.е. на "квазиистинностных" оценках (Н.Д. Арутюнова). За модальной характеристикой здесь стоит не только оценка, но и программа действий: интуитивная, "симптоматичная", субъективная модальная оценка допняется и замещается рациональными характеристиками объектов и в принципе становится организующим мышление, познание и изложение мотивом, ср.: *неточный, неясный, неполный, недостаточный, ошибочный, поверхностный, односторонний, расплывчатый, противоречивый, запутанный – уточнить, дополнить, переосмыслить, сравнить, сопоставить, выяснить, установить, выявить, прояснить. Странные, интересные, новые, непонятные явления и факты* задают эпистемическую перспективу их освоения: изучения, объяснения, систематизации, классификации, обобщения и т.п., т.е. "объективации". В результате исходное предположение (мнение, впечатление и пр.) очищается от субъективных представлений, отчуждается от субъекта и становится объективным знанием.

В лирической поэзии, напротив, субъективное отношение к миру не рационализируется, а преобразуется в художественно выразительные формы языка – не через прямое указание или описание, а косвенно – образно, инсказательно, образно, ассоциативно, "предметно" и "событийно". Оно растворяется в рифме, ритме, интонации, мелодии; соз-

дает переносные языковые значения, насыщает поэтическое высказывание скрытым, сокровенным лирическим смыслом, отражая уникальность поэтического видения, переживания и мышления; е.г. *И это все как первая гроза* (А. Ахматова); *И время обмертвело* (В. Набоков); *И мир на миг как бы вздрагивает от пореза* (И. Бродский); *Передо мной пространство в чистом виде* (Он же); *Пространство, пространство, ты ныне глухая стена* (М. Цветаева).

Поэтический стиль мышления – это соединение внутреннего, субъективно-модального и внешнего, материального мира, его осознание и прочувствование, модализация, психологическое освоение, погружение в него, превращение в способ представления внутреннего мира. Это не уход от действительности, а выход за ее эмпирические, бытовые пределы, обогащение внешнего мира внутренним, трансцендентный прорыв к духовным ценностям бытия – истинному, прекрасному, вечному, лирическое открытие сущности происходящего, ее символизация. В поэзии мир приобретает ценностное измерение, преобразается и "пересоздается", наполняется высшими смыслами, имеющими всечеловеческое значение [10; 18].

ЛИТЕРАТУРА

1. Алисова Т.Б. Очерки синтаксиса современного итальянского языка. М., 1971.
2. Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.
3. Арутюнова Н.Д. Некоторые типы диалогических реакций и почему-реплики в русском языке // НДВШ. Филол. науки. 1970. № 3.
4. Арутюнова Н.Д. Диалогическая модальность и явление цитации // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
5. Беляева Е.И. Функционально-семантические поля модальности в английском и русском языках. Воронеж, 1985.
6. Булыгина Т.В. Коммуникативная модальность // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
7. Главинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.
8. Девкин В.Д. Диалог: Немецкая разговорная речь. М., 1981.
9. Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 1992.
10. Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М., 1985.
11. Краткий психологический словарь. М., 1985.
12. Кропоткин П.А. Этика. М., 1991.
13. Николаева Т.М. Функция частиц в высказывании. М., 1985.
14. Раушенбах Б.В. На пути к целостному рационально-образному мировосприятию // О человеческом в человеке. М., 1991.
15. Русская грамматика / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М., 1980. Ч. 2.
16. Рябцева Н.К. Коммуникативный модус и метаречь // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994.
17. Самсонова Н.Н. Структура и функции вопросительных предложений (типа русских вопросов со словом "как"): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.
18. Синельникова Л.Н. Лирический сюжет в языковых характеристиках. Луганск, 1993.
19. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж, 1987.
20. Battistella E.L. Markedness: the evaluative superstructure of language. Albany, 1990.
21. Berg J. Metaphor, meaning and interpretation // Cognitive aspects of language use / Ed. by A. Kashner. Amsterdam, etc., 1989.

22. Nøtke H. Modality and polyphony: A study of some French adverbials // On modality: Travaux du cercle linguistique de Copenhague. Copenhagen, 1989. Vol. 23.
23. Recanati F. Meaning and force: The pragmatics of performative utterances. Cambridge, 1987.
24. Sweetser E. The definition of lie: an examination of the folk models underlying a semantic prototype // Cultural models in language and thought / Eds. D. Holland, N. Quinn. Cambridge, 1987.
25. Wierzbicka A. Introduction / Journal of Pragmatics. 1986. N 10.
26. Wierzbicka A. English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney, etc., 1987.

Е.Д. Смирнова

ИСТИННОСТЬ И ПРИРОДА ЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Создание в современной логике логических систем самого разного типа остро ставит проблему истолкования природы логического знания. В статье предлагается нестандартный подход к построению семантик ряда логических систем. В основе предлагаемого подхода лежат соображения неформального характера, связанные с пониманием природы логического знания, логических форм и законов.

Сам факт конструирования многообразия формальных систем нередко расценивается как показатель отрыва формальных, логических систем от "реальных", интуитивно обоснованных способов рассуждения. Следует четко различать два круга вопросов. Одно дело – исследование того, что понимать под "реальными", приемлемыми способами рассуждения и чем обусловлена эта их приемлемость: обоснованы ли они практикой обыденных рассуждений, т.е. определенными соображениями прагматического характера, или же структурой выражений естественных языков. Другое дело – вопросы "технического" порядка, связанные с конструированием самих формализмов.

Таким образом, мы будем различать вопросы обоснования формальных, логических систем (это в конечном счете вопросы доказательства непротиворечивости и адекватности этих систем) и вопросы обоснования определенных типов логик, систем рассуждений. Чем обусловлена приемлемость способов рассуждения и почему мы считаем их правильными? Определяются ли они природой нашего ума, или складывавшейся веками обыденной практикой, средствами, которые дают естественные языки, или конвенциями относительно употребления логических констант и т.д.? В итоге это вопросы истолкования природы логического знания.

Если рассматривать логические законы и формы, – как это делали, например, представители психологизма в логике, – как законы и формы естественного, природного процесса психической деятельности людей, тогда законы логики носят эмпирический характер, они изменяются только с изменением природы нашего ума. Логика в таком случае выступает в роли некоторой "физики мышления", ее законы подобны тогда законам гравитации или иного рода законам природы.

При истолковании логических форм и законов как априорных форм человеческой деятельности вопрос обоснования способов рассуждения естественным образом снимается. Соответственно теряют смысл вопросы онтологических или теоретико-познавательных предпосылок логики. В таком случае семантические рассматривания не имеют ничего общего с исследованием логических структур и законов¹.

Наконец, можно придерживаться диаметрально противоположной точки зрения и полагать (как это делает, например, Я. Лукасевич), что логические структуры определяются какими-то объективными отношениями, ни от нашего ума, ни от познания не зависящими. Иными словами, логика имеет дело с такими же объективными отношениями, как, например, математика. Тем самым она имеет отношение к мышлению не более, чем математика. Логика не является наукой о законах и формах мышления.

Касаясь проблемы "эмпиризма" в истолковании логических форм и законов, следует четко различать истолкование законов и форм логики как законов и форм некоторого естественного процесса ментальной деятельности людей, и совершенно иной вопрос – об информативности логических форм и законов, об отношении логических форм и законов к определенным онтологическим предпосылкам, связанным с объектами рассматривания.

Центральная идея нашего подхода к логике состоит в том, что логические способы рассуждения обусловлены семантикой языка. Именно в семантике фиксируются способы интерпретации логических и дескриптивных терминов, определяются условия истинности высказываний, принимаются определенные предпосылки относительно универсума рассматривания. Именно языки логических систем вместе с соответствующей семантикой выполняют особую роль аналитического метода, являются базой для исследования философских оснований логики.

Не существует абсолютных законов логики, которые не изменялись бы с изменением определенных предпосылок, не существует логических законов, априорно присущих нашему уму. Задача заключается как раз в том, чтобы вычленил те эпистемические и онтологические предпосылки, которые действительно лежат в основе семантик того или иного типа. В то же время это и вопрос о необходимости и роли абстрактных сущностей в семантическом анализе. Логика зависит от типа идеальных сущностей, с которыми мы имеем дело в семантических построениях.

С нашей точки зрения, можно выделить два типа теоретико-познавательных предпосылок, от которых зависят логики. Во-первых, это предпосылки – назовем их предпосылками онтологического характера, – налагаемые на миры, на объекты универсума рассматривания (например, "воображаемые миры" Н.А. Васильева, или возможные миры в семантиках модальных систем, или идеальные и реальные объекты у Д. Гильберта). Наконец, это предпосылки, связанные с концептуальным аппаратом познающего субъекта:

¹ Подробнее вопрос об анализе природы логического знания см. в работе [4]

с принимаемыми понятиями истинности, ложности, отрицания, логического следования и т.д. С предпосылками такого рода связано, на наш взгляд, включение в логику, в обоснование логических систем, субъекта познания.

Одной из важнейших предпосылок обоснования логических систем является исследование понятия истинности, условий истинности высказываний. По существу это кардинальная проблема истинности и осмысленности высказываний. Действительно, согласно схеме А. Тарского, понимать высказывание – значит знать условия его истинности. И наоборот, понимание условий истинности высказывания определяет его смысл. Однако уже Буридан отмечал, что существуют высказывания, вполне осмысленные, которые мы понимаем, но которые не могут быть оценены как истинные или ложные. Высказывания об идеальных объектах-фикциях ("идеальные высказывания" в терминологии Д. Гильберта) являясь осмысленными высказываниями математики, но они не могут оцениваться как истинные или ложные. Принятие такого рода положения означает по существу пересмотр схемы Тарского.

Согласно Б. Расселу, высказывания типа, например, высказываний обо всех высказываниях ("Все высказывания истинны или ложны") лишены истинностной оценки, но они и трактуются Расселом как лишённые смысла. Встает проблема соотношения осмысленности и условий истинности высказываний.

Критерии осмысленности и возможность истинностной оценки высказывания в ряде случаев зависят от уточнения области действия предиката ("Цезарь – простое число"). Высказывания о несуществующих объектах – типа "Гамлет черноволос", "Нынешний король Франции лыс" – рассматриваются обычно как осмысленные, но их истинностная оценка приводит к нарушению закона исключенного третьего. Требуется уточнение условий их истинности (ложности).

Для целого ряда логических систем существенным становится учет самого акта суждения и предпосылок истинности высказываний. Для экспликации условий истинностных высказываний недостаточной становится схема Тарского. Возникают системы рассуждений, в семантике которых учитываются определенные характеристики познающего субъекта, носителя языка, – его установки, концептуальный аппарат, способности суждения, оценка им условий истинности высказываний и т.д. Речь идет, конечно, не о субъективных установках конкретного носителя языка.

Включение в логическое рассмотрение, в обоснование допускаемых рассуждений определенных характеристик субъекта, его мнений, установок и т.д. вовсе не означает, как это иногда полагают, возврата к эмпиризму, психологизму в логике. Логика по-прежнему остается теоретической наукой, исследующей не "природные способности" мышления человека, а способы рассуждения, объективно обеспечивающие истинность заключения при истинности посылок. Условия истинности высказываний (в том числе и модализированных, пропозициональных установок и т.п.) по-прежнему носят интрасубъективный характер, фиксируя, что

объективно должно иметь место, чтобы высказывания рассматриваемого типа оценивались как истинные.

В соответствии с указанными выше двумя типами теоретико-познавательных предпосылок нам представляется рациональным разграничить два типа законов логики. Мы не считаем, что все логические законы и структуры принадлежат к одному и тому же уровню рассмотрения. Разграничение двух видов теоретико-познавательных предпосылок семантики приводит к выделению двух типов логических законов.

Интересно отметить, что в России в логике еще в начале XX в. наметились идеи разграничения логических законов на законы собственно логики и законы металогики. Идеи эти развивались русским логиком Н.А. Васильевым. Законы собственно логики он трактовал как эмпирические в том смысле, что они зависят от объектов универсума рассмотрения. Согласно Васильеву, "мы можем мыслить другие миры, чем наш, в которых некоторые логические законы будут иными, чем в нашей логике" [1, 57]. Так возникает "воображаемая логика", законы которой детерминируются допущением противоречивых объектов. В такой логике не действует, например, традиционный закон несовместимости двух контрадикторных суждений. В противоположность этим законам собственно логики законы металогики, связанные с понятиями истинности, ложности суждения и т.п., являются универсальными и неизменными. Так, одно и то же суждение не может быть одновременно истинным и ложным. Этот закон несовместимости истинности и ложности является универсальным законом. Допущение универсальных и неизменных законов логики базируется у Васильева фактически на идее неизменности познающего субъекта, его рациональных функций – способности суждения и вывода. "Прежде всего мы предполагаем неизменность познающего субъекта и его рациональных функций... Где этого нет, нет и логики, а значит, логику нечего делать с этим предположением... изменившиеся законы в нашей логике зависят не от познающего субъекта, а от познаваемых объектов, т.е. эти логические законы не рациональны, а эмпиричны" [там же].

В противоположность Васильеву в статье развивается идея, что и законы логики, связанные с понятиями истинности, ложности, отрицания и т.д., не являются универсальными и неизменными. Все дело в том, что "познающий субъект" и его установки (рассматриваемые, конечно, интрасубъективно) могут быть включены в семантику и тем самым в обоснование логических законов и норм.

Коренным вопросом в таком случае становится вопрос о том, какого типа логические системы и каким образом зависят от такого рода предпосылок. Ниже мы постараемся показать, что именно на предпосылках, связанных с понятиями истинности и ложности и с отношениями между этими понятиями, могут базироваться логики определенного типа. Мы полагаем, что адекватные семантики могут быть построены без использования понятий невозможных возможных миров или противоречивых

неполных описаний состояния². Во всяком случае, эти понятия не рассматриваются как исходные, и не принимаются никакие допущения относительно объектов рассмотрения.

Вместо этого вводятся частично определенные предикаты. Предполагается, что это распространяется на предикаты истинности и ложности — они могут быть частично определенными. Далее, мы исходим из идеи "симметрии" понятий истинности и ложности (и это очень важно). Ложность высказываний рассматривается как независимое понятие, а не как отсутствие или отрицание истинности. Соответственно этот подход распространяется на определение логических связей.

Рассмотрим принципы построения семантики языка. Мы будем строить семантику, используя идею возможных миров. Пусть W — непустое множество возможных миров, φ — пропозициональная функция, приписывающая пару множеств $\langle H_1, H_2 \rangle$ пропозициональным переменным: $H_1 \subseteq W$, $H_2 \subseteq W$. Обозначим через $\varphi_i(P) = H_1$ класс миров, в которых имеет место P (область высказывания) и через $\varphi_f(P) = H_2$ класс миров, в которых P не имеет места (антиобласть высказывания).

Под областью высказывания P — $\varphi_i(P)$ — на интуитивном уровне можно понимать те совокупности обстоятельств, при которых высказывание P имеет место. Соответственно антиобласть P — $\varphi_f(P)$ — это те совокупности положений дел ("миры"), те условия, при которых P не реализуется. Условия истинности и условия ложности высказываний вводятся независимо. Интерпретацию логических связей см. в работе [3, IV, § 2].

Отношение между классами $\varphi_i(P)$ и $\varphi_f(P)$ может удовлетворять или не удовлетворять следующим условиям:

1. $\varphi_i(P) \cap \varphi_f(P) = \emptyset$;
2. $\varphi_i(P) \cup \varphi_f(P) = W$.

Условие 1 означает, что для любого высказывания его область и антиобласть не пересекаются, т.е. в любом мире высказывание не может одновременно оцениваться как истинное и ложное. Условие 2 означает, что область и антиобласть высказывания охватывает все множество возможных миров, т.е. в каждом мире высказывание или истинно, или ложно (получает истинностную оценку).

Если принимаются оба условия, получаем стандартную семантику. Принимая 1 и отбрасывая 2 — семантику с истинностно-значными провалами (gaps); принимая 2 и отбрасывая 1 — двойственную ей семантику с пресыщенными оценками (gluts); наконец, отбрасывая оба условия, получаем релевантную семантику. Таким образом, именно различные отношения между понятиями истинности и ложности определяют указанные типы семантик.

Таким путем мы определяем семантику языка. Но мы еще не

² Идею неполных и противоречивых описаний состояния и семантик, строящихся на их базе, развивает Е.К. Войшвилло (см., например, [2]).

задали собственно логику. Семантика не детерминирует логические системы, если не определено понятие логического следования (или общезначимости).

При нашем подходе естественно ввести не одно отношение, а целый класс отношений типа логического следования. В целом можно ввести 16 таких отношений типа логического следования, но в силу взаимоотношений между ними достаточно рассмотреть только 9 из них (см. [3, IV]). Отметим среди них:

- a. $\varphi_T(A) \subseteq \varphi_T(B)$;
- b. $\varphi_{\bar{F}}(A) \subseteq \varphi_{\bar{F}}(B)$;
- c. $\varphi_{\bar{F}}(A) \subseteq \varphi_T(B)$;
- d. $\varphi_A(A) \subseteq \varphi_{\bar{F}}(B)$

(обозначив посредством $\varphi_{\bar{F}}(A)$ дополнение к классу $\varphi_A(A)$).

"a" означает классическое следование: во всех мирах, в которых истинно A, истинно B; "b" означает, что если A не ложно, то B не ложно; "c" — если A не ложно, то B истинно; "d" — если A истинно, то B не ложно.

Согласно нашему подходу именно различные отношения логического следования в сочетании с принятием или непринятием условий 1 и 2 детерминируют различные логики.

Вместо единственного, классического, понятия логического следования мы получаем различные возможные отношения следования. В данном случае семантика языка определяет возможные отношения следования и различные системы логик, на них базирующиеся, с учетом прежде всего соотношения между понятиями истинности и ложности высказываний.

Речь идет вовсе не о том, что эти логики воспроизводят "реальные" способы рассуждения. Наоборот, мы моделируем различные возможные типы рассуждений независимо от того, реализуются ли они в искусственных или естественных языках, машиной или человеком. Однако различные отношения логического следования естественным образом детерминируются различными реально возможными отношениями между понятиями истинности и ложности высказываний. Вспомним, например, осмысленные, но не имеющие истинностной оценки высказывания Гильберта и Буридана. Если не учитываются такого рода возможности (неявным образом предполагается принятие условий 1 и 2), тогда мы имеем одно, классическое, отношение следования и соответствующую ему логику; понятие истинности удовлетворяет в этом случае схеме Тарского.

Суммируя сказанное выше, отметим что в основе предлагаемого подхода лежит ряд принципов:

1. Понятие невозможных возможных миров и его аналоги не используются в семантике как недостаточно ясные.

2. Вместо этого принимается идея не всюду определенных предикатов и функций. В частности, предикаты истинности и ложности рассматриваются как не всюду определенные.

3. Приписывания высказываниям областей и антиобластей реализуются независимо. Это фактически означает введение понятий истинности и ложности независимым образом.

4. Имея дело с такими независимыми объектами, как области и антиобласти высказываний, возможно в принципе устанавливать различные отношения между ними, в частности принимать или не принимать условия 1 и 2. Можно принимать одно из условий и не принимать другое: они независимы.

5. Функция приписывания значений пропозициональным переменным введена обобщенным образом: пропозициональным переменным приписываются не истинностные значения в данном мире (т.е. объекты 1 и 1), но особые "интенциональные объекты" – классы миров, в которых высказывания истинны или ложны. Именно это придает пропозициональным связкам интенциональный характер.

6. Более того, при определении логических связей никакие ограничения изначально не налагаются на отношения между областями и антиобластями высказываний.

7. Ключевым понятием логики выступает понятие логического следования. На основе понятий области и антиобласти высказывания изначально вводятся различные отношения логического следования и при этом независимо от условий 1 и 2.

8. Различные системы логики детерминируются именно этими различными отношениями следования в сочетании с принятием или неприятием условий 1 и 2.

9. Одна и та же формальная система может соответствовать различным семантикам и тем самым, в сущности, базироваться на различных допущениях касательно отношений между областями и антиобластями. Однако отношение логического следования, формализуемое формальной системой, может в этих случаях меняться.

Подробнее об этих принципах см. [5].

Возвращаясь к вопросам, поставленным в начале статьи, следует отметить, что никакие онтологические предпосылки, касающиеся миров, объектов рассмотрения, не принимались. Изменяются только понятия истинности и ложности и их определенные характеристики. Соответственно изменяется и понятие логического следования. Именно эти предпосылки, связанные с понятиями истинности и ложности, детерминируют в соответствии с предлагаемым подходом логические законы и правила логических систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильев Н.А. Логика и металогика // Логос. М., 1912–1913. Кн. 1, 2.
2. Войшвилло Е.К. Семантика релевантной логики и вопрос о природе логических законов // Разум и культура. М., 1983.
3. Смирнов Е.Д. Логическая семантика и философские основания логики. М., 1986.
4. Смирнова Е.Д. К вопросу о природе логического знания // Современная логика и методология науки. М., 1987.
5. Smirnova E.D. [Смирнова Е.Д.] An approach to nonstandart semantics and the foundation of logical systems // Logic and language. Budapest, 1987.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТИПЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

1. Любое описывающее действительность (констатиное, по Остину [10], или репрезентативное, по Серлю [13]) высказывание (В) содержит помимо диктальной (по Балли [5]) пропозиций (Р), описывающей некоторое мыслимое (возможное) положение дел, модальный компонент [5], соотносящий Р с действительностью: 'есть (в мире)' $\approx$ 'имеет место' $\approx$ 'истинно' $\approx$ 'соответствует действительности' [6, 170]. Эти компоненты могут иметь различный коммуникативный статус — входить в коммуникативный фокус, относиться к новому или быть данным, презумпцией — не только в тех случаях, когда Р(В) подчинено предикатам пропозициональной установки [16], но и тогда, и даже в первую очередь тогда, когда Р образует независимое репрезентативное высказывание¹.

То, что Р соответствует действительности, истинно, может пониматься говорящим (Г) и адресатом (А) (если таковой имеется) как *д а н н о е , п р е з у м п ц и я*. В этом случае Р имеет модальность *ф а к т а*. (Факт, в первом приближении, это такое положение дел, истинность которого является *п р е з у м п ц и е й*, ср. [4].) Такого рода В, используя термины Кипарских [16], будем называть фактивными. Фактивные В не имеют общего естественноразговорного названия, "ярлыка", но такие названия имеют некоторые из частных типов фактивных В. Такими типами фактивных В являются (в русском языке) *с о о б щ е н и я , к о н с т а т а - ц и и , о б ъ я в л е н и я* и нек. др.

Компонент 'соответствует действительности' ('то, что Р соответствует действительности') может не иметь презумптивного статуса и входить тем самым в коммуникативный *ф о к у с* высказывания — сам по себе или вместе с диктальной пропозицией. Такого рода В (нефактивные) имеют естественноразговорную "метаярлык" (по крайней мере в русском языке): они называются *у т в е р ж д е н и я м и*.

Говоря о фактивном/нефактивном статусе В, нужно различать следующие случаи: 1) первичную интерпретацию В как фактивного или нефактивного, как сообщения и т.п. или утверждения непосредственными участниками акта коммуникации, прежде всего Г и А (в случае наличия такового), в нормальном случае разделяющим коммуникативные установки Г; 2) вторичную интерпретацию этого В другим говорящим — Г₂, де-

¹ Презумпция в данном случае понимается в широком и нестрогом смысле: как то, что принимается участниками коммуникации как данное, как то, что в данной коммуникативной ситуации не утверждается, не отрицается, не стоит под вопросом и вообще не обсуждается прагматическая, или тематическая, презумпция (см. [2; 11; 12, гл. 3]). Попадая в контекст предикатов пропозициональной установки, презумпции получают новое качество, приобретая особую формальную "крепость", поскольку взаимодействуют с презумптивными характеристиками подчиняющего предиката. Последнее, однако, не должно затемнять того факта, что в некотором смысле это "одно и то же", и это тождество мы хотим отразить размытым употреблением термина "презумпция".

дающим высказывание о высказывании (например, когда я говорю: *Он утверждает, что Р* или *Я сообщил ему, что Р*, – в последнем случае G_2 – это "я" в настоящем, G_1 – "я" в прошлом) или замещающим высказывание G_1 в своем высказывании одним из имеющихся в его распоряжении анафорических имен – классификаторов речевых действий: *Это сообщение...*; *Его утверждение...* и т.д.

Первичная интерпретация В может эксплицироваться Г посредством того или иного, фактивного или нефактивного, перформатива: *Я сообщаю вам/утверждаю, что Р; Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор* (Гоголь); *Можно утверждать, что объект не утратил своей притягательности для лингвистов* (Т.В. Шмелева) и т.п. Но, разумеется, для того чтобы В было подано Г и понято А как фактивное или нефактивное, наличие перформативов совсем не обязательно. Даже наоборот: обычно их не бывает, поскольку прочтение В как фактивных или нефактивных (утверждений) обеспечивает сама коммуникативная ситуация вкупе с семантикой Р. Так, если мы читаем в письме от нашего хорошего знакомого: *...Сестра Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем; Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрипке* (Гоголь) или в объявлении: *10–12 мая в Институте языкознания состоится конференция "Истина и истинность"* либо слышим от кого-нибудь из родных: *На улице дождь [Не забудь взять зонтик]* и т.д., то все это понимается как ф а к т. В фокусе коммуникативного интереса во всех этих случаях – только Р (диктальное содержание); то, что оно (каково бы оно ни было) соответствует действительности, – данное, презумпция, вне всяких сомнений. Какие же коммуникативные, ситуативные условия должны выполняться, чтобы В понималось фактивно?

Для того чтобы содержание В (Р) соответствовало действительности (R), должны быть выполнены два условия: 1) то, что Г "думает", имеет в уме (Q), должно соответствовать реальному положению дел (R), быть правильным его отражением (условие правильности); 2) то, что Г говорит, должно соответствовать тому, что он "думает", имеет в уме (условие искренности) [15]. Символически (= – знак соответствия): если $Q = R$ и $P = Q$, то в результате $P = R$).

Соответственно В понимается как фактивное, если: 1) А считает, что Г располагает верными, правильными сведениями по данному вопросу; 2) А безусловно доверяет искренности, правдивости Г. Со стороны Г (поскольку он говорит д л я А [3] и имеет место кооперация между Г и А [9]) эти условия принимают такой вид: 1) Г считает, что А считает, что Г располагает верными сведениями по данному вопросу; 2) Г считает, что А безусловно доверяет его искренности. Если эти условия выполняются, то В произносится Г и принимается А как фактивное².

² Отмеченная согласованность в презумпциях между Г и А может нарушаться. Г может подавать свое В как факт, а А может не принимать этой презумпции. В этом случае имеет место коммуникативная неудача. Г может сам не иметь презумпции истинности Р и тем не менее подавать его как факт (распространенный демагогический прием).

2. Коротко обрисует основные типы фактивных В. В коммуникативном фокусе с о о б щ е н и й – диктальное содержание *P*; то, что оно соответствует действительности, является презумпцией. Подчеркнем различие в отношении коммуникативного членения между сообщениями и предложениями, подчиненными фактивному предикату *знать*. В последних, там, где *P* эксплицировано (*Я знаю, что P*), к данному (в типичном случае) относится не только соответствие *P* действительности, но и само диктальное содержание. Специфической особенностью сообщений (отличающей их от других фактивных В) является то, что они служат цели п е р е - д а ч и *P* конкретному адресату. Поэтому *сообщать* (равно как и его синоним *информировать*) предполагает к о н к р е т н о г о А и имеет эту валентность (ср. [7, 253]). [*Я сообщаю вам, что*] *P* = 'Я говорю вам, что *P*, имея целью каузировать, чтобы вы имели *P* в уме; *P* – факт (презумпция)'. Поскольку 'иметь в уме фактивное *P*' = 'знать *P*' [14], то все толкование можно переформулировать через *знать*: 'Я говорю вам, что *P*, с целью каузировать, чтобы вы знали, что *P*'; презумпция фактивности в этом случае не эксплицируется, поскольку она скрыта в фактивном *знать*³

Глагол СВ *сообщить* обозначает "событие", финальной фазой которого является достижение этой цели: *X сообщил Y, что P* = 'X говорил Y, что *P*, с целью...' (см. толкование НСВ), и в результате этого Y имеет *P* в уме (*P* – факт)' (уточнения по поводу фактивности *P* см. далее). Подчеркнем, что одного произнесения В, содержащего *P*, в присутствии Y-а с отмеченной выше целью недостаточно для того, чтобы это событие было квалифицировано как *сообщил* (ср. [7, 255]), обязательно достижение результата – изменения содержания ума Y-а посредством "прибавления" в нем фактивного *P*, ср.: **Я сообщил Джону, что завтра приезжает Петр, но он пропустил это мимо ушей/ничего не понял, так как не знает русского языка* и т.п. (Достижение аналогичного результата предполагается обычно и глаголом СВ *сказал* (с тем отличием, что в этом случае отсутствует презумпция фактивности *P*), ср.: *Я сказал ему, что приезжает Петр* и *Я говорил ему, что приезжает Петр*.)

Как было отмечено выше, перформатив *сообщать* содержит презумпцию фактивности *P*. В случаях неперформативного употребления в высказываниях о высказываниях, где различаются Γ_1 – автор В₁ и Γ_2 – автор В₂, презумпцию фактивности *P* имеют в общем случае и Γ_1 , и Γ_2 : Γ_1 говорил *P* как факт, и Γ_2 , говорящий о том, что Γ_1 сказал..., разделяет эту презумпцию. Эта презумпция, однако, "ослабляется" в тех случаях, когда в коммуникативном фокусе т о л ь к о *P*, другими

³ В последнем варианте толкование приближается к толкованию *сообщить* в переводе статьи А. Вежбицкой [7, 253]. Необходимо подчеркнуть, однако, что в оригинале толкуется не *сообщить*, а *tell*, несоответствие между толкуемым словом и толкованием (в переводе) становится просто разительным, когда вместо английского оригинала подставляется русский глагол СВ *сообщить*. Заметим, что *tell* в отличие от *сообщить* не фактивно, ср изменение толкования в этом направлении в более поздней работе [17].

словами, в тех случаях, когда Γ_2 говорит: Γ_1 сообщает/сообщил, что P с целью сообщить адресату, что P (указание на источник P при таком употреблении часто оформляется вводной конструкцией): *Телеграфные агентства сообщают, что...; Как сообщает/сообщило агентство "Рейтер", сегодня утром в Бангладеш совершен государственный переворот; По сообщениям из Кабула...* и т.п. Ослабление презумпции фактивности P происходит вследствие возникновения противоположно направленной импликатуры [9] неуверенности Γ_2 в P . Эта импликатура появляется следующим образом. Поскольку в фокусе только P (= целью Γ_2 является сообщить A , что P), то было бы достаточно для достижения этой цели просто сказать: " P "; однако Γ_2 дополнительно ссылается на источник P , а не говорит прямо от себя, следовательно, он не уверен, что P имеет место. Презумпция и импликатура нейтрализуют друг друга, в результате B_2 не сигнализирует вообще о позиции Γ_2 относительно соответствия P действительности: $\approx$ ' Γ_1 сказал P как факт, а как обстоит дело на самом деле, Γ_2 не знает'. В тех случаях, когда в фокусе коммуникативного интереса находится сам факт передачи сообщения, или его источник, или его адресат (акцентно выделен глагол, Γ_1 или A), подобной импликатуры не возникает, поскольку употребление *сообщить* полностью мотивировано и презумпция фактивности сохраняет всю свою силу (ее имеет и Γ_1 , и Γ_2): *Я/Он (уже) сообщил ему, что...; Это Я/Он сообщил ему, что.../об этом; Я сообщил об этом (только) Петел/Васе/ему*.

Другим, весьма распространенным, типом фактивных B являются констатации (с редко употребляемым перформативом *констатировать*). Специфической коммуникативной особенностью констатаций является то, что к презумпции, данному в них относится не только соответствие P действительности, но и само P , его диктальное содержание. В этом отношении констатации подобны пропозициональному объекту предикатов знания (см. выше). Поэтому констатации часто делаются посредством ссылки на знание A : *Как известно...; Известно, что...; Вы знаете, что...; Как видим...; Вы сами видите, что...* и т.п. — или на источник знания (с фактивными предикатами в отсылке): *Как*показал Балли...; Как установила Е.В. Падучева...* и т.п. Но это, разумеется, не обязательно. Констатации могут делаться и чаще всего делаются посредством простого произнесения B без каких-либо показателей фактивности и "констативности"; в этом обычно и нет нужды, поскольку и содержание P , и то, что оно соответствует действительности, является данным для потенциальных A . (Вообще, ссылки на знания A делаются как раз в тех случаях, когда Γ не совсем уверен, что A эти знания имеет.) Констатации в отличие от сообщений не имеют маркированной (фиксированной в языковом концепте речевого акта и в перформативе) цели. Фактическими целями, которые преследует Γ , делая констатации, могут быть: экспликация посылки для последующего логического вывода (*Все небо покрыто тучами. Наверное, будет дождь*) или основания для совета, просьбы, требования, предложения и т.п. (*Ты плохо выглядишь. Сходи к врачу; Сегодня тепло. Поедем купаться!*); группировка, объединение

известных фактов с целью их дальнейшего обобщения, присоединения к ним новых фактов и т.д. Вообще типичное начало научной или публицистической статьи, доклада, выступления или официального постановления состоит из ряда констатаций, образующих своего рода развернутую "тему" текста, к которой далее присоединяется ряд В, несущих новую информацию или предписывающих (в постановлении, распоряжении) те или иные действия. Ср. (весьма типичный) зачин одной из газетных статей: *На наших глазах рассыпались, ушли в небытие монстры, на которых держалось могущество социалистической экономики. Вместо госснабов, госпланов... откуда ни возьмись появились и мощно врываются на свободное пространство банковские структуры, корпорации, компании. Их возглавили люди, о которых еще вчера никто ничего не слышал* [И далее еще с десятков констатирующих В в том же духе] (Изв. 1994. 22 апр.).

Помимо отмеченных двух наиболее мощных типов фактивных В имеется целый ряд более узких и сильно маркированных (по цели и ситуации употребления) их видов, таких, как о б ъ я в л е н и я (как и в сообщениях, в фокусе *P*, в презумпции – соответствие действительности), н а п о м и н а н и я, х в а с т о в с т в о, к о м п л и м е н т ы и т.д. (см. и ср. [8]). За пределами этих групп остаются недифференцированные по цели, "широкие" фактивные В, по своей коммуникативной структуре (*P* – в фокусе; соответственно *P* в действительности – презумпция) аналогичные сообщениям: *Молчал, задумавшись, и я, /Привычным взглядом созерцая/Зловещий праздник бытия,/Смятенный вид родного края* (Н. Рубцов).

3. В с е м видам фактивных В противопоставлены у т в е р ж д е н и я как нефактивные описывающие действительность речевые акты. Делая утверждение, Г сам не имеет презумпции фактивности высказываемого им *P*. Это не значит, конечно, что он в каком-то смысле сомневается в истинности, соответствии действительности своего В. Напротив, что касается его внутреннего состояния, то он, в случае утверждения, у б е ж - д е н в том, что *P* соответствует действительности (конечно, если его утверждение является искренним). Однако Г понимает, что ситуация с *P* такова, что а д р е с а т может быть не убежден по тем или иным причинам в том, что *P* соответствует действительности, и именно для н е г о компонент 'соответствует действительности' выносится Г в коммуникативный фокус⁴. Так Галилей воскликнул, продолжая спор (правда, уже мысленный) с инквизиторами: *А все-таки она вертится!* (Подчеркнем еще раз, что в коммуникативном фокусе утверждений может находиться и чаще всего находится не только соответствие *P* действительности, но и само *P*, его диктальное содержание).

Теоретически имеются два основания для вынесения в коммуникативный фокус вопроса об истинности *P* и, так сказать, "настаивания" на том, что оно истинно (соответствующие двум условиям фактивного произ-

⁴ Ср. толкование *assert* в работе [17, 321].

несения В, описанным выше): 1) Г считает, что А не уверен в правильности его *Q*; 2) Г считает, что А не уверен в его, Г, искренности, правдивости. На практике, однако, делающий утверждение исходит обычно только из основания 1. Г легко допускает, что А может сомневаться в правильности его *P*, поскольку это может происходить просто из некомпетентности А или недостаточного уровня его, А, умственных способностей, но совершенно не склонен заранее считать, что А ему не доверяет. Соответственно типичными утверждениями являются такие, правильность которых неочевидна для А и может быть под вопросом; искренность Г рассматривается как презумпция и не обсуждается. Поэтому странно звучат В типа: *‘Я утверждаю, что у меня болит голова* – ведь если А доверяет искренности Г, то правильность *Q*, поскольку оно непосредственно дано сознанию Г, не может быть под вопросом. Вопрос об искренности Г может быть, однако, вынесен в коммуникативный фокус его собеседником – в высказывании о высказывании Г. Ср. типичный диалог следователя и подозреваемого: *Итак, вы утверждаете, что вчера в 8 часов вечера вы были в квартире № 8 у своего друга Василия Иванова?* – *Да, утверждаю.* Ответ вынужденный. Адресат вопроса и он же будущий Г, конечно, хотел бы, чтобы его слова понимались как факт, но вынужден принять невыгодную для себя коммуникативную раскладку.

В ситуации вторичной интерпретации, и в частности в случае высказывания о высказывании: *Г₁ утверждает, что P*, отсутствие презумпции истинности *P* характеризует Г₂, но не Г₁: именно Г₂, говоря (сообщая, констатируя или тоже утверждая), что Г₁ сказал, что *P*, не имеет презумпции истинности, фактивности *P* и поэтому квалифицирует сказанное Г как утверждение. Позиция Г₁ в отношении соответствия *P* действительности (презумпция это для него или нет) в высказывании Г₂ не маркирована. В действительности Г₁, конечно, тоже как-то оценивает соответствие *P* действительности, в частности он может также расценивать свое высказывание как утверждение, но это совсем не обязательно. Так, Г₂ может описать речевой акт Г₁ как: *Иван утверждает, что у него болит голова и поэтому он не может сегодня работать* – при том, что вряд ли Иван говорил: *‘Я утверждаю, что у меня болит голова*

Как отмечалось выше, для того чтобы содержание высказывания соответствовало действительности, должны быть выполнены два условия: 1) Г должен быть искренним и 2) его *Q* должно быть правильным. Соответственно имеются два основания поставить истинность В под вопрос: 1) Г₂ сомневается в искренности, правдивости Г₁; 2) Г₂ сомневается в правильности *Q* (ну и, разумеется, он может одновременно сомневаться как в искренности Г₁, так и в правильности его *Q*). Когда, например, Г₂ говорит: *Он утверждает, что у него болит голова/что вчера вечером он был у Ивана/что это его настоящая фамилия*, то, очевидно, основанием поставить истинность *P* под вопрос является сомнение в искренности Г₁;

аналогично: *Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?* (М. Булгаков). В то же время, когда жена Мандельштама пишет: *Мандельштам утверждал, что учится у всех и разговаривает со всеми*, то она, явно доверяя правдивости своего мужа, не принимает безоговорочно за факт правильность его *Q*; аналогично: *Народники утверждали, что в России социализм придет не через диктатуру пролетариата, а через крестьянскую общину*. Именно по второму основанию не имеющие презумпции факта высказывания науки называются утверждениями: искренность ученых традиционно вне подозрений, однако правильность их суждений часто под вопросом. Могут быть задействованы и оба фактора сомнения: *Как утверждает агентство "Рейтер"...; По утверждениям информационных агентств...; Мукусев утверждает, что Нозин и Куренной попали в засаду сербов* – журналисты могут и лгать, и ошибаться.

4. Отметим, с учетом всего вышесказанного, что в классификацию предложений (высказываний) "по типу актуальной информации", разработанную П. Адамцом [1, 26–30] по образцу классификации вопросов Ш. Балли [5, 47–48], можно внести некоторые уточнения и дополнения. Согласно классификации Адамца, выделяются предложения общеоформативные, соответствующие полным диктальным вопросам Ш. Балли (в коммуникативном фокусе диктум, *P*, в целом; модальный компонент относится к презумпции, данному)⁵; предложения частноинформативные, соответствующие частичным диктальным вопросам (в фокусе – часть диктума; модус и другая часть диктума относятся к данному); предложения общевеерификативные, соответствующие полным модальным вопросам (в фокусе – модальный компонент; диктум относится к данному); предложения частновеерификативные, соответствующие частичным модальным вопросам Балли (в фокусе – модус и часть диктума; другая часть диктума относится к данному). К этой классификации можно добавить два типа: констатации (все содержание, и модус, и диктум, относится к данному) и "глобальные" утверждения – в фокусе все содержание *V*, и модус, и диктум в целом: [Я утверждаю, что] *всякая власть является насилием над людьми...*; [Я утверждаю, что] *настанет царство истины и справедливости*; [Я утверждаю, что] *на свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия!* (по роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита").

Эти дополнения, однако, не распространяются на вопросы. Отсутствуют вопросы, соответствующие констатациям, поскольку в последних все относится к известному, данному, а для того, чтобы задать вопрос, надо чего-то не знать. Не может быть также и вопросов, соответствующих "глобальным" утверждениям. Утверждения можно делать "на пустом месте", но для того, чтобы задать вопрос, надо уже что-то знать.

⁵ Коммуникативная трактовка типов Адамца в терминах Балли (строки в скобках) здесь и далее принадлежит нам.

1. Адамец П. Порядок слов в современном русском языке. Praha, 1966.
2. Арутюнова Н.Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1973. № 1.
3. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. № 4.
4. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988.
5. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во иностр. лит., 1955.
6. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
7. Вежицка А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16: Лингвистическая прагматика.
8. Главинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.
9. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16: Лингвистическая прагматика.
10. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17: Теория речевых актов.
11. Падучева Е.В. Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. 1977. Вып. 8.
12. Падучева Е.В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М.: Наука, 1985.
13. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17: Теория речевых актов.
14. Шатуновский И.Б. Эпистемические предикаты в русском языке (семантика, коммуникативная перспектива, прагматика) // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.
15. Шатуновский И.Б. "Правда", "истина", "искренность", "правильность" и "ложь" как показатели соответствия/несоответствия содержания предложения, мысли и действительности // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
16. Kiparsky P., Kiparsky C. Fact // Semantics. Cambridge, 1971.
17. Wierzbicka A. English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney, etc: Acad. press, 1987.

Е.С. Яковлева

О СЕМАНТИКЕ ЭКСПРЕССИВНЫХ МОДИФИКАТОРОВ УТВЕРЖДЕНИЯ

В настоящей работе речь пойдет об экспрессивных синонимах наречия *действительно* – словах *поистине, воистину, истинно, подлинно*. Первое фактуально [1], используется в "контексте подтверждения некоторого высказывания" [4, 101] и нейтрально в плане выражения каких-либо авторских эмоций или экспрессии. Последние же, напротив, группируются вокруг смысла 'категорическая, настойчивая утвердительность'. Причем "экспрессия" в семантике данных слов ассоциируется с "настойчивостью" утверждения.

Однако наличие подобного коммуникативного намерения, воплощенного в соответствующую экспрессивную форму, предполагает принципиально иные референциальные соотношения высказывания по сравнению с нейтральным подтверждением ранее сказанного. Если нейтральное

действительно трактует содержание высказывания в плане фактического соответствия, то экспрессивные *поистине, истинно, воистину, подлинно* преломляют это содержание в область оценки. Оценочность же означает другой уровень значимости по сравнению с нейтральным сообщением о единичном, конкретном факте. В пояснение сравним два примера: *Отношение... Эренбурга к Цветаевой было поистине товарищеским* (А. Эфрон) и *Отношение Эренбурга к Цветаевой было действительно товарищеским*. В последнем случае эпистемический модальный показатель информирует о соответствии содержания высказывания действительному положению дел, а в первом – его экспрессивный синоним, не отменяя идеи соответствия фактам (товарищеское отношение Эренбурга к Цветаевой имеет место в действительности), сопровождает утверждение оценкой *поистине* указывает, что это отношение рассматривается говорящим как образец, эталон товарищества.

Другими словами, высказывания с *действительно* употребляются в контексте подтверждения (верификативном в широком смысле), – [Я слышал, что Эренбург дружен с ней/помогает ей/выручает ее] *Отношение Эренбурга к Цветаевой действительно товарищеское*, – а высказывания со словами типа *поистине* не служат никакому подтверждению, не слитают гипотез, мнений и слухов с действительностью; они предполагают принципиально иные основания употребления – ситуацию вынесения оценок и характеристик, ср.: [Да, в те времена умели дружить] *Отношение Эренбурга к Цветаевой было поистине товарищеским*.

Семантические особенности экспрессивных синонимов наречия *действительно* мы будем описывать, опираясь на следующие примеры: *Истинно*, как Адам в раю, живу! *Истинно*, князь во князьях (И. Бунин); *Его стихи подлинно* народны, Командир батальона, человек *истинно* французской наружности, веселой и решительной, обратился к своим солдатам с краткой речью (И. Тургенев); Он проявил *истинно* русскую радушность; Кругозор японца – не только начитанность, но и умение людей в любом возрасте сохранять *поистине* детскую любознательность (Вс. Овчинников); С природой была связана *воистину* кровными узами (А. Эфрон); При колоссальном художническом воображении он [Чехов] без труда с *истинно* толстовским искусством преображался в любого из своих персонажей – в девушек, в женщин, стариков, малышей и подростков и артистически воспроизводил перед нами переживания каждого из них (К. Чуковский); *Подлинно* олимпийское спокойствие; *Поистине*, нет пророка в своем отечестве

Вводную, пунктуационно выделенную, позицию анализируемые слова занимают в первом и последних двух примерах; в остальных – они предшествуют оценкам, добавляя свои модификации. Остановимся на каждом из этих случаев. С помощью вводных слов говорящий присоединяется к некоей общеизвестной истине (ср. "цитатность" приведенных нами примеров). Находясь, как правило, в инициальной позиции, рассматриваемые слова выполняют роль своего рода "кавычек" к некоей общеизвестной мысли и общепринятой манере выражения. Например, во фразе *Подлинно, не перевелись дураки на Руси* слово *подлинно*

указывает, что мысль о дураках принадлежит к общему фонду знаний коммуникантов, так сказать, "культурному фону" и что говорящий на собственном опыте убедился в справедливости этой мысли, а в примере *Бурье, перезревшие массивные клевера осыпали на землю драгоценное семя Поистине, каждое семечко золотое: ранней весной и с огнем не сыщешь семян клевера* (В. Белов) *поистине* заставляет вспомнить о коллективном авторстве выражения *золотые семена*. Не во вводной позиции – в непосредственной связке со словом-оценкой – рассматриваемые наречия, помимо установления соответствия этих оценок действительности, указывают на их эталонность, т.е. с помощью слов типа *поистине* говорящий сообщает, что конкретный случай, о котором идет речь, можно считать образцовым проявлением описываемого свойства. Так, японцы являют образцовую – *детскую* – любознательность; эталоном перевоплощения для писателя служит *толстовское* искусство; образцом веселости и решительности является *французская наружность*, а эталоном близости – *кровные узы*. Наличие подобных оценок определяется культурной традицией носителя языка и является общим достоянием членов языкового коллектива.

Эталонное определение оценки содержит необходимую полноту выражения соответствующего признака, "образцовость" его проявления. Так, "полнота" и "образцовость" для спокойствия есть в определении *олимпийское*, для страстей – в определении *шекспировские* и т.п. Сопроводив соответствующие сочетания модификатором типа *подлинно*, говорящий неявно сообщает и о том, что разделяет существующую в данной культурной традиции систему оценочных стереотипов или, уж во всяком случае, владеет ею.

Таким образом, и в синтаксически свободной (вводной), и в синтаксически связанной позиции рассматриваемые наречия обладают функционально-семантической общностью – они описывают некоторое соответствие образцу: в первом случае "образцовыми" являются ситуации, а во втором – признаки и свойства. В этом смысле можно говорить об отсутствии противопоставленности в ряду наречий по линии качественные/модализованные. Между тем адъективы *истинный*, *подлинный* сохраняют ее – у модализованного прилагательного есть полноценный качественный коррелят, ср.: *Вот истинный 1 виновник скандала; Это подлинный 1 Шагал и Он истинный 2 фанатик, Новость произвела подлинный 2 переворот в умах молодежи*. Качественные прилагательные выделены логическим акцентом, могут употребляться как в пре-, так и в постпозиции, а также в высказываниях любого модального образца: *Нужны только подлинные произведения Шагала; Если бы это были подлинные произведения Шагала; Это не подлинные произведения* и т.д. Модализованные прилагательные интонационно примыкают к слову-оценке. Невозможность их логического выделения свидетельствует о потере синтаксической самостоятельности: всегда находясь в препозиции к определяемому слову, прилагательные *истинный*, *подлинный* не поддаются отрицанию (**Он не истинный 2 фанатик*) и

употребимы только в высказываниях с реальным модальным статусом, ср.: *Он подлинный скандалист при сомнительности* [?]*Не думаю, чтобы он был подлинным скандалистом*. Последнее справедливо и для наречий *истинно, подлинно*. Отметим, что закрепленность за определенным типом высказывания является общим свойством экспрессивных модификаторов утверждения (подробнее об этом см. [7, гл. 3, разд. 4]): в отличие от нейтрального и поэтому универсального в своем употреблении *действительно*, все они используются "постфактум", апостериори, по следам событий и никогда – в предварение их, в априорной или гипотетической модальной перспективе, ср.: *Не думаю, чтобы их отношения были действительно товарищескими при сомнительности* [?]*Не думаю, чтобы их отношения были поистине/воистину товарищескими; Вот если бы их отношения были действительно товарищескими, то...* при невозможности ^{*}*Вот если бы их отношения были воистину товарищескими, то...*

Возьмем, однако, к основной линии противопоставлений между словами *поистине, воистину, подлинно* и наречием *действительно*, через которое они толкуются: последнее подтверждает сообщение о фактах, событиях, конкретных и, быть может, единичных происшествиях, а первые подтверждают не сами факты, не наличие их в действительности, а справедливость оценок-образцов, сформированных коллективным опытом на основе подобных фактов. Как кажется, именно этот фактор определяет разные референциальные возможности нейтральных и экспрессивных модальных показателей: *действительно* и *вправду* могут употребляться при установлении конкретного, единичного фактического соответствия (*И вправду, Ивану верить нельзя*); *поистине* же и *воистину*, поднимая высказывание на принципиальную высоту, исключают соответствие сказанного с конкретным субъектом, требуя употребления в соответствующей синтаксической позиции родového имени, например: *Воистину, пьянице верить нельзя*.

Действительно также может употребляться как "подтвердатель" оценок, но в этом случае оно обладает большей свободой, чем слова типа *подлинно*, поскольку никак не связано с содержательной стороной оценки – та не обязательно должна быть общепринятой, ср.: *Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого излишества... к женскому же полу имел великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая* (А. Пушкин) – *истинно* вводит образец стыдливости – *девическая*, – известный в данной культурной традиции, и *...стыдливость в нем была действительно* ([?]*подлинно*) *необъяснимая/феноменальная/редкостная...* и под.

Употребление слов *действительно, правда (вправду)* и *истинно, воистину*, как кажется, свидетельствует о языковой релевантности различий между "истиной" и "правдой" в русском языковом сознании, ср.: "Ситуация истины в житейском контексте отлична от положения в нем правды. Истина становится в нем максимой, сентенцией, резюмирующей жизнен-

ный опыт {...} Правда подразумевает только конкретные высказывания {...} истина – только общие" [2, 29–30]; «"Правда" дает истинностную оценку конкретным утверждениям о жизни людей, "истина" – общим суждениям о Вселенной и религиозным представлениям о сущности мира {...} Прикосновение к конкретной жизни – первый шаг к превращению истины в правду

{...} содержанием "правды" не могут стать "мысли о жизни" {...} "правда", составляющая содержание речевого акта, имеет статус факта, конкретной информации, иногда мнения и оценки, но не мысли» [3, 18–19].

З а м е ч а н и е. Следует иметь в виду, что это противопоставление правды и истины основывается на четком разграничении религиозной и эпистемической сфер этих понятий с последующим анализом последней. Именно о такой правде можно сказать: «Соотнесенность концепта правды с конкретным жизненным материалом делает естественной его связь с живой коммуникацией и речевыми актами. По сравнению с прошлым веком эта связь укрепилась. "Правда" и "истина" более определенно разграничили свои понятийные горизонты» [там же, 19]. Ср. между тем сопоставительный семантический анализ "правды" и "истины" с точки зрения этимологических мотиваций "Слово *правда* этимологически связано с корнем **prav-*, соответственно *правда* может выступать в таких значениях, как 'обет', 'обещание', 'заповедь', 'правило' (. .) в основе семантики этого слова лежит представление о божественном миропорядке (. .). Отсюда *правда* может пониматься как договор между человеком и Богом (.) Между тем слово *истина* образовано от местоимений **is-to* и таким образом этимологически соотносится с лат *iste* 'этот, тот' (.). Отсюда естественным образом *правда* осмысливается как божественное начало, а *истина* – как человеческое (и далее по тексту. – Е Я.). Итак, если *истина* соответствует реально переживаемой действительности, то *правда* соответствует высшей духовной действительности – высшей, подлинной реальности" [5, 191–192]

Разговорными аналогами слов типа *истинно*, *воистину*, содержащих скрытую анафорическую отсылку к коллективному опыту, являются выражения типа *вот уж действительно*, *вот уж вправду*, где *вот* действует по линии апеллятивности, а *уж* – по линии выражения экспрессии. Наличие этих двух добавочных параметров связывает слова *действительно* и *вправду* "цитатным" употреблением – конкретный факт подтверждает общеизвестную истину, ср.: *Действительно, Иван неисправим при сомнительности* ?*Вот уж действительно, Иван неисправим*, ср. между тем то же содержание, но представленное не как конкретная оценка, а как общая сентенция: *Вот уж действительно, горбатого только могила исправит*. Еще примеры: *Действительно, им лучше остаться вдвоем* Плохо "обрамить" это конкретное сообщение обобщающим модификатором: **Вот уж действительно, им лучше остаться вдвоем*, – и нормально: *Вот уж действительно, где двое, третий – лишний* Аналогично выбираются и оценки, не дотягивающие до выражения мыслей о жизни, ср.: *Иван действительно совсем нестати явился со своей помощью* и *Вот уж действительно удружил* (данный конкретный случай иллюстрирует общеизвестные ситуации несвоевременной помощи); *Иван действительно куда-то исчез* и *Вот уж действительно как сквозь землю провалился*

Заметим, что *вот уж*, вводя высказывание о некоторых расхожих исти-

нах, предполагает именно присоединение к ним, очередное их подтверждение, ср. невозможность замены в контексте этого модификатора *действительно* на *в действительности* (**Вот уж в действительности удружил*) – форму, которая используется при опровержении [4, 101]. Высказывания о прописных истинах, в качестве автора имеющие языковой коллектив, вообще говоря, и не могут быть использованы в контексте опровержения, апеллирующего к миру конкретных фактов, данному в опыте индивидуальном, ср.: *Действительно/вот уже действительно/воистину, век живи – век учись* при некорректности **В действительности, век живи – век учись* или *Действительно/воистину/вот уж действительно, удружил* и **В действительности, удружил*. В этом смысле можно говорить, что "цитатные" высказывания исключают верификацию: к ним можно присоединяться, их можно разделять, мысля в унисон с мнением языкового коллектива (*воистину, подлинно*), или не разделять, но к их содержанию нельзя относиться как к факту – с позиций "реализовано/не реализовано в действительности" (ср.: "Истина – о действительности, но она ей не тождественна" [2, 25]).

Таким образом, экспрессия в семантике слов типа *поистине* подразумевает следование некоторому общепринятому клише в описании ситуации, опору на коллективный опыт. Между тем у наречия *действительно* есть экспрессивный словарный синоним, который, напротив, свидетельствует о проявлении авторской индивидуальности, о специфически авторском видении ситуации. Это наречие *буквально*, которое в модальном типе употребления выражает преувеличение, произведенное на основе образного сравнения по внешнему сходству. В "связке" с предикатом *буквально* выступает в роли метафоризирующего оператора – вычленяет переносное употребление предикатной лексики: *буквально выстрелить* можно словом и нельзя из пистолета, *буквально съесть* – глазами, а не с помощью вилки и ножа. *буквально говорит* – не докладчик и не словами. Во всех подобных случаях *буквально* служит текстовым сигналом адресату: "Не понимай меня буквально!", т.е. модальное *буквально* антонимично своему качественному прототипу. Подробнее об этом слове см. [7; 6].

В пояснение тезиса о том, что выбор экспрессивного модификатора может подчеркнуть (*буквально*) либо, напротив, нивелировать (*поистине, воистину*) индивидуальность автора высказывания, рассмотрим примеры, ср.: *У Ивана поистине золотые руки; Глаза у щенка буквально/прямо золотые* и экспрессивно нейтральное установление факгического соответствия *У этой статуи действительно/и вправду золотые руки*. Только в последнем случае *золотой* понимается в своем прямом значении – как относительное прилагательное; в первых же двух это слово выступает как оценка – показатель некоего "качества". При этом иное распределение экспрессивных модификаторов было бы гораздо менее удачным: **У этой статуи поистине золотые руки; *Глаза у щенка поистине золотые; *У Ивана буквально золотые руки*. Некорректность описания золотых рук статуи в терминах *поистине* определяется тем, что этот модификатор заставляет понять сочетание

золотые руки как общепринятое клише – эталонную оценку "качества" рук (*золотые* = 'умелые'), наделяя тем самым статуя креативной способностью; *поистине золотые* в применении к цвету глаз звучит натянуто в силу индивидуальности этой оценки, отсутствия соответствующего эталона описания (ср.: *Глаза у нашей кошки поистине изумрудные*, при меньшей естественности подобного выражения в отношении глаз человека: *Глаза у Маши 'поистине/воистину изумрудные'*); *буквально* в применении к золотому "настаивает" на сходстве по внешним данным, что в случае с *золотыми* (= 'умелыми') руками является неуместным.

Однако не только это согласование экспрессивного модификатора со словом-оценкой по параметру наличия/отсутствия непосредственного восприятия определяет корректность соответствующих высказываний; не менее важна в данном случае именно согласованность оценочных компонентов по линии индивидуального (*буквально*)/коллективного (*поистине, воистину...*) авторства. В подтверждение приведем пример, где *золотой* описывает образное сравнение по внешнему сходству, но соответствующая оценка стала эталонной, и поэтому использование *буквально*, оживляющего, индивидуализирующего метафору – соотносящего ее с непосредственным восприятием конкретного говорящего, неуместно: *Стояла великоленная, подлинно ('буквально') золотая осень В садах неистовствовали листопады* (И. Грекова). Ср. еще: *С утра стали прибывать кареты. Мундиры поистине слепили глаза* (Ю. Тынянов) и *Фотовспышки буквально ('поистине/воистину) слепили глаза*. В последнем примере употребление показателей эталонных оценок неуместно, так как высказывание не содержит оценочной интенции: описывается не "образцовое" воздействие фотовспышек (ср. "образцовую" ослепительность гвардейских мундиров), а реальное впечатление от них: Ср. аналогичные противопоставления: *Ты буквально ('поистине) оглушил меня своим хохотом/этой новостью* (эксплуатируется прямое и переносное значение *оглушил* в рамках ситуации непосредственного восприятия) и *Спектакль имел успех поистине/воистину оглушительный*, где *оглушительный* выступает как общепринятый эталон полноты и "образцовости" для успеха.

Таким образом, с помощью *буквально* говорящий реализует свое право на индивидуальное видение мира и свободное его описание в терминах, подчас неожиданных, метафор, образных сравнений, "нарушающих границы естественных родов", по выражению Н.Д. Арутюновой. Используя же *поистине, истинно, воистину, подлинно*, говорящий, напротив, встраивается в общепринятый ряд, стандарт, образец описания, т.е. эксплуатирует не индивидуальное, а коллективное языковое сознание. *Буквально*, оперирующее в мире образов, заставляет адресата представить описываемое – [Марина Цветаева] *глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась острием мысли и пера* (А. Эфрон); *поистине, воистину* и др., принадлежащие миру идей, заставляют адресата вспомнить некоторые общепринятые образцы, с которыми говорящий соотносит описываемое в плане полного соответствия этим образцам, адекватности выносимых им оценок, ср.: [о М. Цветасвой и

К. Бальмонте] *Октябрь* . свел ее.. с человеком, чья звезда со скоростью *воистину* космической устремлялась от зенита к закату (А. Эфрон); А между тем совершенно напрасно, *поистине* как глас вопиющего в пустыне, из вселенной шли непрерывно радиосигналы паритет-космонавтов (Ч. Айтматов). В последнем случае как вводит цитату, производя сравнение не с образом, а с идеей. В таком контексте использование *буквально* неуместно, ср. между тем: *На еду он набросился, буквально как зверь/волк/голодный пес*.

Приведенный в работе материал, как кажется, позволяет говорить о наличии у слов типа *воистину* функции соотнесения с неким "предтекстом". Но характер этого соотнесения другой, нежели у нейтрально фактивного *действительно*: для последнего предтекстом является реальный дискурс, а для первых – память языкового коллектива, ср. употребление тех и других относительно одного и того же содержания: *Страсти на этой защите разыгрались действительно шекспировские* и *Страсти на этой защите разыгрались поистине (подлинно...) шекспировские*. В первом случае подтверждается ранее высказанная в тексте (возможно, диалоге) мысль; во втором – смысл "подтверждение ранее сказанного" отсутствует, *шекспировские страсти* упоминаются в тексте впервые, *поистине* же побуждает вспомнить о них как об эталоне страстей и соотносит описываемое с этим "эталонном".

И если *действительно* можно характеризовать в терминах "реальности" (фактов, событий, происшествий, конкретных и, быть может, уникальных свойств), то его экспрессивные варианты *поистине*, *истинно*, *подлинно*, *воистину* заставляют говорить о справедливости оценок: обобщение, заложенное в семантике этих модификаторов утверждения, актуализирует оценочную координату, определяя тем самым рассмотрение описываемого не в плане реальности, а в плане адекватности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Апресян Ю Д Лексикографические портреты (на примере глагола *быть*) // НТИ. Сер. 2. 1992. № 3.
2. Арутюнова Н Д Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
3. Арутюнова Н Д Речеповеденческие акты и истинность // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
4. Баранов А Н , Паунгян В А . Рахилина Е В Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М., 1993.
5. Успенский Б А Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.) М., 1994.
6. Яковлева Е С О природе языковой гиперболы (на примере употребления БУКВАЛЬНО в модальном значении) // Русский язык за рубежом. 1988. № 6.
7. Яковлева Е С Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.

КОММУНИКАТИВНЫЙ СТАТУС ВЫРАЖЕНИЙ СО СЛОВОМ ПРАВДА*

Рассмотрим выражения истинностной оценки со словом *правда*: *Ты правда так думаешь?*; *Видела Лику, она правда выходит замуж*; *Он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попал*; *Я, сказать правду, послал уже за каретою и напросил гостей*; *Продукты есть все, правда дорогие*.

При сравнении двух вводных выражений *правда сказать* и *правду сказать* можно наблюдать следующие различия. *Правду сказать* близко по значению к *правда сказать*, но содержит в себе значение условия, т.е. равно *если правду сказать*. Кроме того, *правду сказать* может служить темой предложения, значит, имеет более высокий коммуникативный статус, чем безударное *правда сказать*. Таким образом, при анализе семантики и прагматики вводных слов и наречий весьма важным оказывается вопрос о коммуникативном статусе и его манифестации. Рассмотрим примеры высказываний, которые отражают различные коммуникативные намерения говорящего. В анализируемых ниже примерах различно соотношение диктума – сообщения – и его истинностной оценки – модуса.

1. В предложении *Лица выходит замуж, и это правда* содержится эксплицитная истинностная оценка, она имеет форму полноценной пропозиции в составе сложносочиненного предложения. Лексема *правда* со значением истинностной оценки служит ремой. Коммуникативный статус модального компонента совпадает со статусом сообщения о положении дел. Модальность здесь выражена эксплицитно (ср. [5–7]) – отдельной лексемой со значением истинностной оценки, и модус первого из сочиненных предложений становится диктумом второго. Рассматриваемый модальный фрагмент имеет статус диктальной ремы высказывания.

Вопрос о различии модальных и диктальных рем обсуждается в работе С.В. Кодзасова: "вслед за Арутюновой, мы различаем два компонента значения предикатной группы: пропозициональное содержание (диктум) и верификативную "связку" (модус). Ремой может быть как пропозициональный, так и верификативный компонент смысла:

А. – *И как же поступил Ваня?* Б. – *Уехал.* А. – *Ваня уже уехал?* Б. – *Уехал.* В первом случае мы имеем дело с неопределенным множеством пропозициональных альтернатив, во втором – с выбором да/нет. Акцент верификативного (модального) утверждения (знак") реализуется с большей степенью просодического выделения, чем акцент пропозиционального (диктального) утверждения..." [4, 184].

2. В предложении *Лица правда (действительно, в самом деле) выходит*

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 93-06-10941 "Логический анализ языка".

замуж содержится наречие со значением истинностной оценки; его сферой действия служит включающая его пропозиция. (Обратим внимание на то, что слово *правда* многозначно: выделяется наречие *правда*, вводное слово *правда*, уступительное *правда* и др.) Наречие несет на себе фразовый (ре-матический) акцент и располагается перед сказуемым. Предложения, включающие наречие *правда*, принадлежат полемическому контексту и собственной истинностной оценки не имеют, так как служат речевыми действиями, а не утверждениями относительно положения дел в мире. Соответствующие отрицательные предложения отсутствуют, ср.: **Неверно, что Лика правда выходит замуж*. Операторное слово *правда* сообщает включающему его предложению следующую семантическую структуру (А – ассерция, а Р – презумпция): Р. *Лика выходит замуж*, А. *Это – правда*. Здесь модальный компонент значения имеет сильный, ассертивный, статус. Модальность, доминирующая над пропозицией, выводит такие предложения в разряд речевых действий, т.е. "дел" говорящего. Такое высказывание прежде всего обращает внимание на полемический задор говорящего, цель которого – удостоверить, а не просто сообщить.

Наречие *правда* и вводное выражение *правда сказать* служат противоположными полюсами шкалы сильного/слабого коммуникативного статуса: *правда* всегда ударно и служит операторным словом, определяющим семантическую структуру предложения, а *правда сказать* играет роль энклитики. Синонимы наречия *правда*, например слово *действительно*, могут выступать в безударной позиции (*История моя, действительно, не совсем обыкновенная*), для наречия *правда* такое энклитическое употребление невозможно.

Обсудим подробнее положение о различии модальных и диктальных рем. Очевидно, что в предложении *Лика правда выходит замуж* мы имеем дело с модальной ремой. При этом возникает вопрос о том, в каких случаях вообще возможна модальная рема. Для того чтобы коммуникативным фокусом высказывания – ремой – стал верификативный компонент значения, необходимо, чтобы все пропозициональное содержание – диктум – было известно заранее. Оно может быть буквально (дословно) известно из предтекста, как в вопросо-ответной паре (*Ваня уже уехал?*) – *Уехал*) или других контекстах (– *Говорят, Ваня уже уехал.* – *Уехал*), а также содержаться в презумпции предложений с операторными словами истинностной оценки – *правда, действительно, отнюдь, в самом деле*.

3. В примере *Если сказать правду (сказать правду, правду сказать, молвить), Лика выходит замуж* истинностная оценка имеет сниженный (презумптивный) коммуникативный статус, так как служит содержанием гипотетического условия и играет роль темы. Позиция модального компонента во фразе – преимущественно начальная, словоформа *правду* – ударная и отмечена интонацией незавершенности, маркирующей тему.

4. *Лика, правда сказать, замуж выходит и к вам на свидание не придет* – коммуникативный статус вводного выражения, которое расположено в позиции после темы (заударной, энклитической, позиции), подчеркнуто сниженный. Модальность получает ранг комментария к про-

позиции. План выражения иконически воспроизводит цели говорящего: модальность намеренно помещается на задний план.

Середина – это самая безударная часть предложения. Сюда попадают коммуникативно нерелевантные компоненты коммуникативной структуры предложения, что объясняет частое расположение вводных слов в этой энклитической позиции – на задворках коммуникативной структуры. Выражениям, тяготеющим к энклитической позиции в предложении, мы приписываем *парентетический коммуникативный статус*. Он может быть реализован и в иной линейной позиции, например в начальной, но с сохранением тех особых просодических свойств, которые характерны для энклитик. Интересно, что выражение *правду сказать* (условное) с более высоким коммуникативным статусом тяготеет к начальной, "тематической", позиции и реализуется с соответствующей интонацией (интонацией незавершенности).

Заметим, что два противоположных значения такого слова, как *очевидно*, – достоверности (*Очевидно, что треугольник ABC равнобедренный; То, что треугольник ABC равнобедренный, очевидно*) и сомнения в достоверности (*Ваня, очевидно, уехал*) – тяготеют к ударной и безударной позициям соответственно. Первое выступает в роли ремы, а второе – в роли парентезы.

Итак, при рассмотрении соотносительного коммуникативного веса модуса и диктума в предложении мы пришли к выводу, что выражение модуса обнаруживает по крайней мере три типа коммуникативного статуса: сильный, слабый и нейтральный. Сильный – это статус, представленный модальной ремой, т.е. такой, как у слова *правда* в предложении *Лика правда выходит замуж*. Слабый, парентетический, статус – у выражения *правда сказать*. Это выражение ни при каких условиях не может быть носителем фразовых акцентов, т.е. выступать в роли темы или ремы. Оказывается, что многие из вводных слов, для которых наиболее характерна энклитическая позиция, могут тем не менее оказаться в роли как тем, так и рем, ср.: *Бог, во-первых, все-таки творец, а моралист – во-вторых*. Здесь слово *во-вторых* служит ремой. Для выражения *правда сказать* такое употребление невозможно. Имеет смысл разделить нейтральный статус на два – коммуникативно более слабый, тематический, и более сильный, статус диктальной ремы.

Приверженность некоторых выражений, подобных *правда сказать*, к роли парентезы может дать ответ на важный вопрос, поставленный в работе А.Н. Баранова и И.М. Кобозевой [3] и вслед за ними в статье Ю.Д. Апресяна [1]. Авторы указанных работ заметили, что вводные слова *вероятно, конечно, пожалуй* могут употребляться в качестве положительного ответа на модальный вопрос: – *Он устал?* – *Вероятно (конечно, пожалуй, похоже)*; – *Я говорю: Весна,* – *говорю.* – *Она говорит: Похоже*. Между тем другие слова – *чего доброго и верно* – в качестве ответных реплик не выступают. При этом *верно* служит хотя и архаичным, но синонимом *вероятно*. Понятие коммуникативного статуса вводных слов объясняет такое различие.

Как мы фактически показали выше, многие из слов и выражений, которые чаще всего употребляются в качестве парентез, могут тем не менее служить темами и ремами, ср. пример со словом *во-вторых*. Такие слова, как *вероятно, похоже, конечно, во-первых, кстати*, обладают подвижным коммуникативным статусом, т.е. их коммуникативный статус может меняться. Другие выражения – *правда сказать, чего доброго, верно* – могут выступать только в роли парентез. Они всегда безударны и в роли модальных рем, естественно, не выступают. Между тем для ответа на вопрос предполагается именно такая функция. Это и объясняет то, что слово *вероятно* может употребляться в качестве ответа на вопрос, а его синоним *верно* – нет.

Нельзя не обратить внимания на другое значение слова *верно*, которое, наоборот, как раз предназначено для выражения согласия в качестве диалогической реплики: – *Не могу продать коня, пока дети считают его морским коньком. Надо подождать, пока он станет обычной лошадейю.* – *В е р н о*, – поддержал его судья, – *нельзя отбирать у детей их фантазии.* Два значения слова *верно* различаются так же, как и два значения слова *очевидно*, – это значение гипотезы (недоверности) и значение верификации. Одно имеет статус парентезы, другое – статус ремы.

Интересно зафиксировать три из многочисленных значений слова *правда* – значение наречия, рассмотренное выше и имеющее статус модальной ремы, вводное слово со значением верификации (*Он, правда, в туз из пистолета в пяти сажнях попал; Оказалось у него, правда, были неприятности*), имеющее статус диктальной ремы, и уступительное *правда*, имеющее парентетический статус (*Продукты есть все, правда дорогие*).

Итак, у слов *верно, очевидно, правда* различие коммуникативных статусов свидетельствует о существенной дифференциации значений. И разные коммуникативные статусы жестко закрепились за соответствующими подзначениями. У других слов – *действительно, кажется, во-первых* – варьирование коммуникативного статуса не нарушает единства лексемы. Таким образом, понятие коммуникативного статуса может иметь важное значение для лексикографического описания и семантической типологии (ср. [2]). Получается так, что парентетический коммуникативный статус сводит значение верификации к значению недоверности, гипотезы или уступительному: *Предположение о том, что треугольник ABC равнобедренный, верно* – *Ты, верно, устал; Он, конечно, большой ученый* – *Он, конечно, большой ученый, но человек скверный* (пример подсказан Т.М. Николаевой); *Правда, что Лика выходит замуж?* – *Хороша Маша, правда не наша; То, что он устал, очевидно* – *Он, очевидно, устал.* А.Д. Шмелев обратил наше внимание на два значения французского *sans doute* – 'без сомнения' и 'возможно', из которых первое – это буквальное значение выражения, но второе наиболее употребительно в современном французском.

Правда сказать, чего доброго, видно, верно (в значении гипотезы)

имеют "неподвижный" коммуникативный статус, и он занимает самую низкую точку на шкале коммуникативных статусов, а наречное *правда* обладает самым высоким коммуникативным статусом – оно может использоваться только в качестве модальной ремы. Другие вводные выражения – их большинство, – хотя и исполняют роль парентез, могут быть темами и ремами. Для выражений *должно быть, похоже, даже* роль темы (сентенциальной парентезы, по Кодзасову [4]) нехарактерна – в начальной тематической позиции они звучат неестественно, а для *отнюдь, действительно* и многих других рематизирующих слов роль темы невозможна. Для выражения *по всей видимости* роль темы весьма характерна, а синонимичное *видимо* в этой роли не выступает.

Итак, мы фактически показали, что развитие полисемии по линии "полнозначная лексема (выражение)–операторное слово (наречие, вводное слово)" связано с жестким закреплением за подзначениями определенного коммуникативного статуса. Верно и обратное: если у лексемы неподвижный коммуникативный статус, то это указывает на то, что у нее есть лексема-коррелят с тем же планом выражения, но с другим коммуникативным статусом, например с подвижным.

Парентетический коммуникативный статус составляет специфику модуса, но не исключен и при выражении диктума – парентетический коммуникативный статус имеют вводные (вставные) предложения: *Дубечня – так называлась наша первая станция – находилась в семнадцати верстах от города*. Статус парентезы могут иметь и обращения: *Ты слышишь, З и н?*

Итак, с точки зрения коммуникативных намерений говорящего можно выделить два признака для классификации составляющих: подвижный/неподвижный коммуникативный статус и шкала коммуникативных статусов – статус модальной ремы (высокий) – диктальной ремы – темы – парентезы (низкий коммуникативный статус).

ЛИТЕРАТУРА

1. Апресян Ю Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенциональности / Ин-т языкознания АН СССР. М., 1988.
2. Апресян Ю Д. Типы лексикографической информации об означаемом лексемы // Типология и грамматика. М.: Наука, 1990
3. Баранов А Н, Кобозева И М. Вводные слова в семантической структуре предложения // Системный анализ значимых единиц русского языка: Синтаксические структуры / Межвузовский сборник. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та. 1984.
4. Кодзасов С В. Интонация предложений с дискурсными словами: Группы: *една, действительно, вообще, совсем, прямо* // Путеводитель по дискурсным словам русского языка. М., 1993.
5. Рыбцева Н К. Ментальный модус: от лексики к грамматике // Логический анализ языка. Ментальные действия. М.: Наука, 1993.
6. Яковлева Е С. Согласование модусных характеристик в высказывании // Прагматика и проблемы интенциональности / Ин-т языкознания. М., 1988.
7. Яковлева Е С. Построение классификации показателей достоверности (на материале вводно-модальных слов) // НТИ. Сер. 2. 1989. № 9.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ РАБОТ ПО ПРОБЛЕМЕ "ИСТИНА"

Составил В.З. Демьянков

Приводимая ниже библиография не претендует на полноту охвата. Объем и состав ее определяются следующими обстоятельствами. В процессе нашего исследования была проработана довольно большая литература. Поместить обзор по указанной проблеме в рамках данного издания не представляется возможным: слишком велик его объем. Поэтому было решено оставить только список цитируемой литературы. Причем, в силу специфики данного издания, не имеет смысла отражать хорошо известные философские работы в данной области: исследования Аристотеля, Канта, Ницше, Рассела, Витгенштейна, Айера, Хинтикки и многих других и без того хорошо известны читателю. Мы сократили исходный список, заодно изъяв работы слишком частного характера, рассматривающие понятие истины как бы на "полях". Не указываем мы и многие работы одного и того же автора. Полученный в результате список мы классифицировали по тематическому принципу. Впрочем, эта классификация весьма приблизительна.

1. Истинность в логике естественного языка: основные проблемы и концепции

- Auwers J. Van der. Language and logic: A speculative and condition-theoretic study. Amsterdam: Philadelphia: Benjamins, 1985. 256 p.
- Benardete J.A. Metaphysics: The logical approach. Oxford; New York: Oxford Univ. press, 1989. 210 p.
- Boer S.E., Lycan W.G. A performatio in truth-conditional semantics // Linguistics and Philosophy. 1980. Vol. 4, N 1. P. 71-100.
- Burge T. Demonstrative constructions, reference and truth // Journal of Philosophy. 1974. Vol. 71. P. 205-223.
- Cooman H. Die Kohärenztheorie der Wahrheit: Eine kritische Darstellung der Theorie Reschers vor ihrem historischen Hintergrund. Frankfurt a. M., etc.: Lang, 1983. 258 S.
- Cresswell M.J. A highly impossible scene: The semantic of visual contradictions // Meaning, use, and interpretation of language. B.; N.Y.: Gruyter, 1983. P. 62-78.
- Davidson D. Inquiries into truth and interpretation. Oxford: Clarendon, 1984. 292 p.
- Dummett M.A.E. Truth and other enigmas. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. press, 1978. 470 p.
- Dummett M.A.E. Language and truth // Approaches to language. Oxford, etc.: Pergamon press, 1983. P. 95-125.
- Etchemendy J. Models, semantics and logical truth // Linguistics and Philosophy. 1988. Vol. 11, N 1. P. 91-106.
- Fine K. Vagueness, truth and logic // Synthese. 1974. Vol. 30. P. 265-300.
- Fodor J.D. In defense of the truth value gap // Presupposition. N.Y., etc.: Academic press, 1979. P. 199-224.
- Franzen W. Die Bedeutung von 'wahr' und 'Wahrheit': Analysen zum Wahrheitsbegriff und zu einigen neueren Wahrheitstheorien. Freiburg; München: Alber, 1982. 292 S.
- Herzberger H.G. Dimensions of truth // Journal of Philosophical Logic. Dordrecht, 1973. Vol. 2. P. 536-556.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 93-06-10941 "Логический анализ языка".

- Herzberger H.G.* True, false, etc. // *Canadian Journal of Philosophy*. 1980. Suppl.vol. 6. P. 1–14.
- Hochberg H.* Logic, ontology, and language: Essays on truth and reality. München; Wien: Philosophia, 1984. 448 p.
- Juhos B.* Die 'intensionale' Wahrheit und die zwei Arten des Aussagegebrauchs // *Kant-Studien*. 1967. Bd. 58. S. 173–186.
- Lehrer K.* Coherence and the truth connection: A reply to my critics // *The current state of the coherence theory: Critical essays on the epistemic theories of Keith Lehrer and Lawrence Bonjour, with replies*. Dordrecht, etc.: Kluwer, 1989. P. 253–275.
- LePore E.* Truth and meaning // *Truth and interpretation: Perspectives on the philosophy of Donald Davidson*. Oxford; New York: Blackwell, 1986. P. 3–26.
- Nef F.* Logique, langage et réalité. P.: Editions Universitaires, 1991. 142 p.
- Peacocke Ch.* Truth definitions and actual language // *Truth and meaning: Essays in semantics*. Oxford: Oxford Univ. press, 1976. P. 162–188.
- Pilot H.* Die Wahrheit der Selbstbestimmung: Zeitlogische Aspekte der personalen Identität // *Zeitbegriffe: Ergebnisse des interdisziplinären Symposiums "Zeitbegriff der Naturwissenschaften. Zeiterfahrung und Zeitbewusstsein"* (Kassel 1983). Freiburg; München: Alber, 1986. S. 139–183.
- Ryding E.* Austin on 'I know' and 'it is true' // *Philosophical essays: Dedicated to Gunnar Aspelin on the occasion of his sixty-fifth birthday the 23rd of September 1963*. Lund, 1963. P. 186–200.
- Walker R.C.S.* Regelbefolgung und die Kohärenztheorie der Wahrheit / Übers. aus dem Engl. // *Sprachspiel und Methode: Zum Stand der Wittgenstein-Diskussion*. B.; N.Y.: Gruyter, 1985. S. 27–46.
- Warnock G.J.* A problem about truth // *Truth*. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice-Hall, 1964. P. 54–67.
- Wiggins D.* Truth and interpretation // *Sprache, Logik und Philosophie: Akten des vierten internationalen Wittgenstein Symposiums 28. August bis 2. September 1978, Kirchberg am Wechsel (Österreich)*. Wien: Holder-Pichler-Tempsky, 1980. P. 36–50.

2. Истина в философии языка

- Atlas J.D.* How linguistics matters to philosophy: Presupposition, truth and meaning // *Presupposition*. N.Y., etc.: Academic press, 1979. P. 265–281.
- Becker W.* Wahrheit und sprachliche Handlung: Untersuchungen zur sprachphilosophischen Wahrheitstheorie. Freiburg; München: Alber, 1988. 367 S.
- Borsche T.* Was etwas ist: Fragen nach der Wahrheit der Bedeutung bei Platon, Augustin, Nikolaus von Kues und Nietzsche. München: Fink, 1992. 336 S.
- Doyle J.* A truth maintenance system // *Artificial Intelligence*. 1979. Vol. 12. P. 231–272.
- Enskat R.* Wahrheit und Entdeckung: Logische und erkenntnistheoretische Untersuchungen über Aussagen und Aussagenkontexte. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1986. 430 S.
- Fleischer M.* Wahrheit und Wahrheitsgrund: Zum Wahrheitsproblem und zu seiner Geschichte. B.; N.Y.: Gruyter, 1984. 285 S.
- Lagree J.* Sens et vérité: Philosophie et théologie chez L. Meyer et Spinoza // *Studia spinoziana*. Central theme: Spinoza's early writings. Würzburg: Königshausen and Neumann, 1989. Vol. 4. P. 74–91.
- Loar B.* Truth beyond all verification // *Michael Dummett: Contributions to philosophy*. Dordrecht, etc.: Nijhoff, 1987. P. 81–116.
- Puntel L.B.* Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie: Eine kritisch-systematische Darstellung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978.
- Scheit H.* Wahrheit – Diskurs – Demokratie: Studien zur 'Konsensustheorie der Wahrheit'. Freiburg (Breisgau); München: Alber, 1987. 493 S.
- Schmid Noerr G.* Wahrheit, Macht und die Sprache der Philosophie: Zu Horkheimers sprachphilosophischen Reflexionen in seinen nachgelassenen Schriften 1939 bis 1946 // *Max Horkheimer heute: Werk und Wirkung*. Frankfurt a. M.: Fischer, 1986. S. 349–370.

3. Истина в религии

- Adler M.J.* Truth in religion: The plurality of religions and the unity of truths: An essay in the philosophy of religion. N.Y.: Macmillan; Toronto: Collier Macmillan; N.Y., etc.: Maxwell Macmillan, 1990. 162 p.

4. Истинность в художественном творчестве

- Bruck J. From Aristotelian mimesis to 'bourgeois' realism // *Poetics*. 1982. Vol. 11, N 3. P. 189–202.
- Bruns G.L. Heidegger's estrangements: Language, truth, and poetry in the later writings. New Haven; London: Yale Univ. press, 1989. 233 p.
- Cebik L.B. Fictional narrative and truth: An epistemic analysis. Lanham; New York; London: University press of America, 1984. 250 p.
- Colomb G.G. Designs of truth: The poetics of the Augustan mock-epic. University Park (Penn.): The Pennsylvania State Univ. press, 1992. 228 p.
- Curie G. Fictional truth // *Philosophical Studies*. 1986. Vol. 50, N 2. P. 195–212.
- Hinman L.M. Nietzsche, metaphor, and truth // *Philosophy and Phenomenological Research*. 1982. Vol. 43, N 2. P. 179–199.
- Lewis D.K. Truth in fiction // *American Philosophical Quarterly*. 1978. Vol. 15. P. 37–46.
- Reiss T.J. The uncertainty of analysis: Problems in truth, meaning, and culture. Ithaca; London: Cornell University press, 1988. 299 p.
- Speth R. Wahrheit und Ästhetik: Untersuchungen zum Frühwerk Walter Benjamins. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1991. 318 S.

5. Лингвистические проблемы истины

- Boguslawski A. On decision making in semantics // *Probleme der Satzsemantik*, I. B., 1978. S. 25–63.
- Bohinger D.L. Truth is a linguistic question // *Language*. Baltimore, 1973. Vol. 49, N 3. P. 539–550.
- Coleman L., Kay P. Prototype semantics: The English word LIE // *Language*. Baltimore, 1981. Vol. 57, N 1. P. 26–44.
- Ducrot O. Sémantique et vérité: Un deuxième type de rencontre // *Recherches Linguistiques de Vincennes* (numéro confié à J.C. Anscombe). P.: Université de Paris VIII, 1987. Vol. 16. P. 53–63.
- Falkenberg G. Lügen: Grundzüge einer Theorie sprachlicher Täuschung. Tübingen, 1980.
- Frisk H. 'Wahrheit' und 'Lüge' in den indogermanischen Sprachen: Einige morphologische Beobachtungen. Göteborg, 1935.
- Godart-Wendling B. La vérité et le menteur: Les paradoxes sui-falsificateurs et la sémantique des langues naturelles. P.: CNRS, 1990. 266 p.
- Greimas A.J. Du sens: II. Essais sémiotiques. P.: Seuil, 1983. 254 p.
- Gupta A. The meaning of truth // *New directions in semantics*. L.: Academic press, 1987. P. 453–480.
- Hallett G.L. Language and truth. New Haven; London: Yale Univ. press, 1988. 234 p.
- Kamp H. A theory of truth and semantic representation // *Formal methods in the study of language*. Amsterdam, 1981. P. 277–322.
- Keenan E.L. Facing the truth: Some advantages of direct interpretation // *Linguistics and Philosophy*. 1983. Vol. 6, N 3. P. 335–371.
- Kent R.C. (Рецензия) // *Language*. Baltimore, 1937. Vol. 13, N 4. P. 323–324. — Рец. на кн.: Frisk H. 'Wahrheit' und 'Lüge' in den indogermanischen Sprachen: Einige morphologische Beobachtungen. — Göteborg, 1935.
- Lakoff G. Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago; London: University of Chicago, 1987. 614 p.
- Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago; London: The University of Chicago, 1980. 242 p.
- Löhner S. Wahr neben Falsch: Duale Operatoren als die Quantoren natürlicher Sprache. Tübingen: Niemeyer, 1990. 229 S.
- Martin R.M. Truth and denotation: A study in semantical theory. Chicago: University of Chicago press, 1958.
- Sacks H. Everyone has to lie // *Sociocultural dimensions of language use*. N.Y., 1975. P. 57–79.
- Sadock J.M. Truth and approximations // *Proceedings of Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*. Berkeley (California), 1977. Vol. 3. P. 430–439.
- Sommers F. On the concept of truth in natural languages // *Review of Metaphysics*. 1969. Vol. 23. P. 259–286.

Stampe D.W. Meaning and truth in the theory of speech acts // *Speech acts*. N.Y., etc.: Academic press, 1975. P. 1-39.

Thomason R.H. Necessity, quotation, and truth: An indexical theory // *Language in focus: Foundations, methods and systems: Essays in memory of Yehoshua Bar-Hillel*. Dordrecht; Boston: Reidel, 1976. P. 119-138.

Travis Ch. The true and the false: The domain of the pragmatics. Amsterdam: Benjamins, 1981. 164 p.

Vincent J.M., Castelfranchi C. On the art of deception: How to lie while saying the truth // Possibilities and limitations of pragmatics: Proceedings of the Conference on pragmatics. Urbino, July 8-14, 1979. Amsterdam: Benjamins, 1981. P. 749-777.

Zillig W. Zur Frage der Wahrheitsfähigkeit bewertender Äusserungen in Alltagsgesprächen // *Arbeiten zur Konversationsanalyse*. Tübingen: Niemeyer, 1979. S. 94-110.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Н.Д. Арутюнова

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРИЗНАКА В РУССКОМ ДИСКУРСЕ*

В предваряющих эту книгу замечаниях обращалось внимание на специфические трудности верификации естественных языковых высказываний, вызванные неполнотой и приблизительностью содержащейся в них информации. В заключительной статье будет более подробно рассмотрен вопрос о семантической неопределенности признаков слов в русском языке.

Категория определенности/неопределенности традиционно рассматривается в рамках теории референции (дейксиса и анафоры), т.е. в связи с отношением к действительности именных компонентов предложения. Однако показатели неопределенности могут относиться также к разным видам непредметных значений, выраженных прилагательными (*Дело было какое-то запутанное*), предикативами (*На душе было как-то беспокойно*), наречиями (*Он как-то странно посмотрел на меня*), пропозициями (*Что-то у меня ум за разум заходит*), а также номинализациями – шире – именами с непредметным значением и сочетаниями *что-то* с прилагательными (*Тут вышло какое-то недоразумение*; *В нем было что-то странное*). В последнем случае различие между неопределенностью референции имени и неопределенностью признака ослабевает или вовсе стирается.

В русском языке, как показывают приведенные примеры, неопределенность признакового значения маркируется *то*-местоимениями.

Признаковые слова естественно тяготеют к позиции предиката (или ремы). Вместе с ними употребляются в предикате также неопределенные местоимения (НМ) и прилагательные.

Положение НМ *какой-то* в предикате создает известное противоречие. Оно заключается в том, что основная функция этого НМ состоит в выделении из класса некоторого неидентифицированного члена, тогда как основная функция предиката состоит во включении в класс предмета, обозначенного в субъекте. Это противоречие снимается различием в уровне принадлежности НМ. В предикате *какой-то* относится к семантике имени, признаковому значению. Это было отмечено в работе [2, 57]. НМ выделяет из класса признаков некоторую неохарактеризованную разновидность, в которую и вводится предмет речи, в то время как в субъектной позиции НМ выполняет синтаксическую (точнее, прагматическую) функцию: она указывает на неизвестность говорящему самого предмета речи.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, инициативный проект 93-06-10941 "Логический анализ языка"

Частица *-то* часто рассматривается как тематизатор. Между тем не менее яркой является ее рематизирующая функция, ср.: *Мнительность мешала ему ладить с людьми* и *Какая-то мнительность мешала ему ладить с людьми*. Во втором предложении НМ придает имени статус ремы. Интересно, что частица *-то*, первичной функцией которой является дейксис, образует в русском языке наиболее многочисленную и наиболее употребительную группу НМ.

Неопределенность в отличие от определенности, вообще говоря, более связана с семантикой – сферой значения, а не референции, с признаками, а не предметами, а следовательно, и с первичной для признаков слов позицией предиката. Эта связь неочевидна, поскольку она обычно не выражается специальными маркерами. В русском же языке она отмечена *то*-местоимениями, обретшими способность сочетаться с прилагательными.

Замкнутость НМ прилагательным становится очевидной при синтаксической перестройке сказуемого (шире – ремы) высказывания, образованного именным словосочетанием. Если рема расщепляется, то НМ оказывается оторванным от имени и остается как бы "наедине" с прилагательным: *Он был какой-то странный человек* → *Человек он был какой-то странный*, *У него возникали какие-то нестрогие, размягченные мысли* → *Мысли у него возникали какие-то нестрогие, размягченные* (Чехов). Следующим шагом в обособлении сочетания НМ с прилагательным является устранение имени: *Человек он был какой-то странный* → *Он был какой-то странный*. Например: *Я тогда была какая-то странная, воображала себя артисткой* (Чехов); *Вы какой-то странный... Я вовсе не хотела вам сказать чтонибудь такое* (Достоевский). Употребление НМ *какой-то* в примерах этого типа иногда относят к числу идиоматичных [6, 210].

Отрыв от имени происходит и тогда, когда НМ вклинивается между ним и определением. При этом НМ может занимать место как в пре-, так и в постпозиции к прилагательному: *У женщин на одежду память какая-то сверхъестественная* (С. Довлатов); *Да, – согласился Пахитонов, – щепетильное какое-то происшествие* (В. Пьепух). Во втором примере НМ стоит непосредственно перед именем, но находится в синтаксической зависимости от предшествующего ему прилагательного. Об этом свидетельствует просодика. Потенциальная пауза не может отделить НМ от прилагательного: **щепетильное / какое-то происшествие*.

Связь НМ с прилагательным приобретает характер вторичного, или "отраженного", согласования: местоименное прилагательное согласуется с качественным, которое в свою очередь согласовано с определяемым именем, ср.: *какой-то странный голос* (*У него был какой-то странный голос; Голос у него был какой-то странный*) и *какой-то странный голос* (*Послышался какой-то странный голос; Какой-то странный голос прокричал в телефон что-то непонятное*).

Находясь в синтаксической зависимости от прилагательного, НМ выполняет адвербиальную функцию, т.е. является знаком вторичного при-

нака – признака признака. Соотносительность неопределенного прилагательного *какой-то* и наречия *как-то* становится очевидной при замене полной формы прилагательного на краткую, ср.: *Она была какой-то суетливой* и *Она была как-то суетлива*.

В языке XIX в. недоопределенность признака, выраженного прилагательным, могла передаваться также НМ *что-то*: *Ее находят что-то странной, Провинциальной и жеманной, И что-то бледной и худой, А впрочем очень недурной* (Пушкин). В современном языке *что-то* тяготеет к пропозиции: *Ты что-то* (=почему-то) *бледна*. Это было отмечено в интересном исследовании Т.М. Николаевой, которая считает, что НМ *какой-то* в предложениях типа *Какой-то хлеб несвежий сегодня!*; *Какой-то Петя неразговорчивый стал!*, согласуясь с именем, также "входит в ситуацию в целом" [5, 55]. О местоимении *какой-то* см. также [2; 8]. Библиография по местоимениям содержится в работе [7].

Как отмечалось, частица *-то* указывает на выделение некоторого не поддающегося идентификации признака из класса признаков. Если признак не допускает варьирования и поэтому не образует класса, НМ не может быть употреблено: **Юбка была какая-то черная (белая)*. Однако как только цвет утрачивает четкие границы, растягиваясь в спектр, появление НМ возможно: *юбка была какая-то грязно-белая*. Например: *Поодаль, в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат* (Гоголь). Неопределенность визуально воспринимаемого признака указывает на его неэталонность, стертость границ внутри спектра.

НМ в текстах характеризующего содержания не всегда подлежат экспликации. Адресат не ждет, что недоопределенность будет снята. Во многих случаях НМ не соотносительны с вопросами.

Отсутствие вопросов к модификаторам признаков и признаков признаков не должно удивлять. Ощутить вторичный признак легче, чем его вербализовать. Признаки высокой степени абстракции воспринимаются чувством, но редко поддаются конкретизации. Нюанс не входит в юридическую стандартной семантики. Он не образует идентифицируемого значения. Его присутствие маркируется знаками неопределенности. Не случайно качественные наречия, выражающие вторичные признаки, определяются преимущественно интенсификаторами, а не квалификаторами: *очень трудно, немного утомительно* и т.п. Качественные наречия в позиции перед другими наречиями часто получают градуирующее значение: *ужасно весело, страшно неудобно*.

Неопределенность референции имени и недоопределенность признака – особенно вторичного – имеет разные причины.

Неопределенная референция может быть вызвана незнанием, умалчиванием, устранением избыточных сведений, дипломатическими ходами, стилистическими приемами. Ее в общем случае легко снять: *какой-то человек*, если он был идентифицирован, становится *Иваном Петровичем* или *отцом Ольги*. Эпистемическая лакуна заменяется конкретным знанием.

Недоопределенность признаков вызвана ограниченностью семантических ресурсов языка или неумением ими пользоваться. Ее трудно устранить. Чтобы индивидуализировать признак, необходимо тонкое знание языка и владение художественной техникой, позволяющей частично восполнять семантические лакуны за счет тропов и иных стилистических приемов.

Употребление НМ свойственно как людям, неискусным в пользовании языком, так и поэтам, для которых разрыв между "субстратом" (реальным или сконструированным) и его семантическим аналогом изначально велик (*Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?..*). О неопределенности в поэтическом языке см. [3; 4]. (Неопределенность признака, выражаемая интересующими нас сочетаниями НМ с признаковыми словами в указанных работах не рассматривается.)

И в том и в другом случае говорящий привлекает внимание к скрытым компонентам ситуации – почувствованным, но не поддавшимся анализу, проявившимся, но не осмысленным. Например: *И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже не доставало в ней, или что-то было лишнее – он и сам бы не мог сказать, что именно, но что-то мешало ему чувствовать как прежде* (Чехов).

Ниже мы остановимся на двух характерных для НМ, относящихся к непредметному значению контекстах. Оба они связаны с отходом от нормы. На эту связь обратила внимание Т.М. Николаева. Анализируя предложения, в которых *что-то* и *какой-то* относятся к высказыванию в целом, Т.М. Николаева писала, что ими "передается по сути одно значение: не с о о т в е т с т в и я, отклонения от некоторой нормы, от позитивного сценария событий" [5, 55].

Всякого рода девиации, непредвиденное развитие событий и непредсказуемые действия человека составляют богатый материал для лексики [1]. В интересующих нас сейчас контекстах мы сталкиваемся с обратной ситуацией: девиации в развитии событий скрывают неопознанные компоненты. Человек не может их определить, а следовательно, и назвать. Он не ведает причин случайного. Их как бы вообще не существует. Случай на то и случай, что его можно бояться, на него можно надеяться, но его нельзя предвидеть и поэтому нельзя избежать.

Сообщения о спонтанном развитии событий, в которые человек вовлечен помимо или вопреки своей воле, регулярно включают НМ: *как-то не получилось, как-то само собой вышло, как-то не заладилось, как-то вдруг вырвалось, как-то все произошло само собой, как-то не довелось* и т.п. Например: *Он не видел ее ни разу: как-то не случилось* (Чехов); *Веришь ли, старик, не могу, как-то не получается* (С. Довлатов).

Неведомая причина порождает непредвиденное течение событий и может блокировать планы человека. Поэтому сообщения о неуправляемых событиях часто содержат отрицание. Любопытно отметить, что в неотрицательных контекстах НМ *как-то* обычно прочитывается в темпоральном значении, а в отрицательных – в причинном, ср.: *Как-то случилось (довелось) нам встретиться* и *Как-то не случилось (не довелось) нам встретиться*.

Значение спонтанности может интерпретироваться либо в терминах естественного хода событий, либо как стихия, ломающая порядок и сметающая преграды. Соответственно может меняться и оценка происшедшего. И в том и в другом случае значения непроизвольности и каузальной неопределенности находятся в постоянном взаимодействии: *В городе он пообедал, погулял по саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича* (Чехов); *Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собой* (Гоголь).

Другой характерный для НМ контекст также связан с нарушением стереотипа.

НМ регулярно сочетаются с прилагательными и наречиями, обозначающими отклонение от нормы, но его не конкретизирующими, такими, как *странный, чудной, таинственный, загадочный, непонятный, необъяснимый, непостижимый, невероятный, особый, особенный, специфический, необыкновенный, необычный, необычайный, непривычный, нелепый, несуразный, неопределенный* и т.п. Неопределенность значения задает наличие вариантов, а НМ делает из них условный выбор. Например: *Еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приду* (Чехов); *Все они были с Зиной в какой-то таинственной связи* (В. Набоков); *Может, в наших переименованных генах зарождается какой-то особый разум* (М. Харитонов); *Выражение чудной какой-то беспомощности бегло озарило его черты* (В. Набоков); *Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет* (Гоголь).

Сочетания НМ с прилагательными, указывающими на соответствие стандарту, неупотребительны: **какой-то понятный (объяснимый, обычный)*.

Поскольку отход от нормы большей частью расценивается как явление негативное, для НМ характерны отрицательные (в оценочном смысле) контексты: *Он внушал мне какой-то непонятный страх и отвращение, желание как-то от него отвязаться* (В. Войнович); *Это был какой-то кошмарный театр абсурда* (Вяч. В. Иванов); *Вездесущая сырость сказывалась... в каком-то по-свински резком, терзающем слух, рваном вопле рожков* (В. Набоков).

Позитивные контексты избегают НМ, особенно в тех случаях, когда соответствие норме исключает варьирование: **какой-то здоровый, *какой-то верный (правильный), *какой-то правдивый (истинный)*. Появление негативной коннотации и/или возможности варьирования признака снимает запрет: *Какой-то здоровый цинизм помогал нам избегать громких слов* (С. Довлатов). Из двух отмеченных "факторов влияния" более сильным оказывается оценка. В сочетании *какая-то миловидная (хорошенькая) девушка* НМ может быть отнесено только к референту имени; ср. невозможность изменения порядка слов: **миловидная какая-то девушка* или **Девушка она была какая-то миловидная*. Сочетание *какая-то непривлекательная (нрзничливая, неухоженная) девушка* может иметь

двойное прочтение. Речь может идти о неопределенной референции имени (какая-то девушка) и о неопределенности признака (какая-то вся неужоженная). В последнем случае возможно изменение порядка слов: *Вся она была какая-то непривлекательная (неужоженная)*. Заметим попутно, что частым спутником НМ, относящихся к признаку, являются местоимения всеобщности: *Весь он был какой-то встревоженный; Улица была вся какая-то замусоренная, грязная*. Для русского дискурса характерен "триумvirат" неопределенности, всеобщности и стихийности: *Все как-то не получалось; Дела его все как-то не налаживались; Ему все как-то было не до детей; Все как-то уладилось само собой*.

Употребление НМ в позитивных контекстах встречается редко и преимущественно в тех случаях, когда признаковое значение выражено целостным определительным сочетанием, т.е. совместно именем и его атрибутами: *А что за прелесть была в его речи, в какой-то особой плавности и строгости слога* (В. Набоков); *Он уловил какую-то дивно знакомую, золотую, летучую линию, тотчас исчезающую навсегда* (В. Набоков); *И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства* (Гоголь). В последнем примере контекст окрашен отрицательным оттенком.

Присутствие НМ способно вносить в положительный контекст негативную ноту: *И бури немолчному вою / С какой-то радостью внимает* (Лермонтов). "Какая-то радость" в отличие от просто радости указывает на такую разновидность этого чувства, которая согласуется с описываемой аномальной ситуацией: вой бури не вызывает "обычной" радости, но может вызвать *какую-то радость*.

Итак, употреблению НМ при признаковом значении благоприятствуют следующие условия: 1) вариативность признака; 2) его отклонение от нормы; 3) неопределенность значения характеризуемого прилагательного; 4) негативный контекст; 5) в некоторых случаях наличие отрицания; 6) для НМ, относящихся к пропозиции, непредсказуемость, спонтанность, развития событий.

Обилие НМ, относящихся к признаковым значениям, составляет важную характеристику русского дискурса – разговорной речи и письменного текста, которую можно определить как свойство открытости. НМ – это знаки невыраженных или невыразимых смысловых компонентов: нескрытых причин событий, неясных мотивов поступков, неопределимых и неопределенных вариантов признаков, следы действия неведомых сил. НМ – это своего рода пунктир, знаки молчания и умолчания, незаполненные клетки, семантические пробелы, маркеры разрыва между интуитивным постижением мира и возможностями вербализации, наконец, знаки непроницаемости некоторых сфер бытия, в частности человеческой личности ("другого"). Правда человека и правда о человеке ускользают от наблюдателя и особенно от близких людей. Это своего рода "неверифицируемая правда". В.В. Набоков отказался от замысла книги об отце. Он писал: "В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами, дымка, тайна, загадочная недоговорен-

ность, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек был овеян чем-то еще неизвестным, но что, может быть, было в нем самым-самым настоящим... Тайне его я не могу подыскать имени".

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н.Д. Аномалия и язык: К проблеме языковой "картины мира" // ВЯ. 1987. № 3.
2. Ермакова О.П. Местоимение *какой-то* // НДВШ. Филол. науки. 1986. № 1.
3. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
4. Ковтунова И.И. Принцип неполной определенности и формы его грамматического выражения в поэтическом языке // Очерки истории языка русской поэзии XX в. М., 1993.
5. Николаева Т.М. Функции частиц в высказывании. М., 1985.
6. Падучева Е.В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985.
7. Русские местоимения: семантика и прагматика. Владимир, 1989.
8. Шелякин М.А. О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке // Учен. зап. Тартус. ун-та. 1978. Вып. 442.

Н.Д., Н.К., В.Н. и многим другим

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Проблему поиска истины мы будем рассматривать в рамках общего вопроса о роли женщины в речевой деятельности мужчины. В нашей прошлой работе мы отмечали, что воздействие женщины на речевую деятельность мужчины носит диалектически противоречивый характер¹. Женщина, с одной стороны, всячески стимулирует речевую деятельность мужчины, с другой – постоянно стремится ее подавить. Мы рассмотрели в прошлый раз вторую часть этой проблемы, теперь обратимся к ее первому аспекту. Следует подчеркнуть принципиальное различие подходов. В прошлый раз нам нужно было показать универсальность такого явления, как подавляющее воздействие женщины на речевую деятельность мужчины, и мы совершили облет во времени – от Ромула до наших дней – и в пространстве – от Атлантики до Урала. Теперь наша задача иная: мы должны добраться до истины, и с этой целью будем руководствоваться известными латинскими эвристическими вопросами: *quis? quid? cur? quomodo? quando? ubi?*, которые на русско-киплингowskiй язык переводятся: *как? и почему? кто? что? когда? и где?* К ним мы добавим основной вопрос полицейского дознания: *cui prodest?* или *cui bono?* – *кому это выгодно?*

Что касается первого вопроса: *кто?* – то надо прямо сказать, что любая женщина способна стимулировать речевую деятельность мужчины. Создается впечатление, что стоит мужчине увидеть даму или только подумать о ней, как в нем мгновенно пробуждается речевая интенция. Это не зависит ничуть от качеств дамы. Более того, чем мужчина меньше знаком с дамой, тем великолепнее его речевой акт, и самые замечательные речевые акты мужчины нередко стимулируются неизвестной дамой, "далекой принцессой".

Что касается вопросов *quid?* и *quomodo?* (*что?* и *как?*), то это зависит от множества факторов, которые невозможно здесь все охватить, в том числе и от национальных особенностей. Предположим, что в одну и ту же брюнетку (имеется в виду не онтологическое, а качественное тождество) влюбились француз и англичанин. Француз будет изливать свои чувства так:

Скорей погаснет в небе звездный хор
И станет море каменной пустыней,
Скорей не будет солища в тверди синей,
Не озарит луна земной простор;

¹ Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994. С. 178–183.

Скорей падут громады снежных гор,
Мир превратится в хаос форм и линий,
Чем назову я рыжую богиней
Иль к синеокой преклоню свой взор.

Я карих глаз живым огнем пылаю,
Я серых глаз и видеть не желаю,
Я враг смертельный золотых кудрей.

Я и в гробу, холодный и безгласный,
Не позабуду этот блеск прекрасный
Двух карих глаз, двух солнц души моей.

(пер. В. Левика)

Ну а англичанин? Что скажет англичанин? Он скажет как раз противоположное:

My mistress' eyes are nothing of the sun...

‘Глаза моей повелительницы ничего не имеют от солнца...’

Или в переводе Маршака:

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий.
Особенного света на челе...

В своем "Сентиментальном путешествии" Лоренс Стерн так изображал различные национальных характеров французов и англичан. «Я спросил у французского парикмахера, -- рассказывает Стерн, -- прочен ли парик, который он мне предлагает. И французский парикмахер ответил: "Месье, вы можете опустить этот парик в океан, и он не разлезется". Английский парикмахер, -- комментирует Стерн, -- сказал бы: "Сэр, вы можете опустить этот парик в ведро с водой, и он не разлезется". Результат один и тот же, но французский парикмахер должен погружать свой парик в океан». Мы видим, что поэты поступают так же, как парикмахеры: Ронсар опускает свою брюнетку в океан, а Шекспир выливает на свою смуглую леди сонетов ведро холодной воды.

А женщина? Как она реагирует на этот поток речевой деятельности мужчины? Здесь можно установить целую типологию реакций. Сначала, правда, отметим, что общая типология определяет: два пересекающихся, независимых один от другого признака образуют четыре класса (две конъюнкции и две дизъюнкции), тогда как если один признак зависит от другого, то возможны только три класса (две конъюнкции и только одна дизъюнкция). В нашем случае мы имеем дело с двумя признаками, из которых один подчинен другому, и возможны, следовательно, три типа реакций:

Женщина не воспринимает и не отвечает. И тогда ее доля – недоумение.

Женщина воспринимает, но не отвечает. И тогда ее доля – сожаление.

Женщина воспринимает и отвечает. И тогда возникает вопрос, для чего она это делает. Именно в этом случае нам придется углубиться в поиски истины.

Первый случай – женщина не воспринимает и не отвечает – может быть проиллюстрирован знаменитым "Сонетом Арвера". Феликс Арвер – второстепенный французский литератор прошлого века. От всего его творчества остался только один сонет. Но зато этот сонет включается в хрестоматию, и хотя у него есть свое название – "*Un Secret*" ("Тайна"), – его обычно называют "Сонет Арвера":

Одной я тайной жив, один секрет лелею:
Нетленную любовь, пронзившую меня.
Неизлечима боль, ее ношу в себе я,
От той, кем был сражен, скрывая и тая.

Я без нее, увы, не проживу и дня.
Я вечно одинок, хоть вечно рядом с нею,
Незамечаемый, признаться не сумею,
Пройду за ней, себя молчанием казня.

А тихий стон любви летит за нею следом,
Но для нее, увы, невнятен он, неведом,
Хотя душой она прекрасна и нежна.

Суровый свой обет нарушить не посмея,
Лишь спросит, слыша стих, пронизанный весь ею:
"Кто эта женщина?" И не поймет она².

(пер. А. Сергеева)

Второй случай – женщина воспринимает, но не отвечает – отражен в известном сонете Ронсара:

Когда, старушкою, ты будешь прясть одна,
В тиши у камелька свой вечер коротая,
Мою строфу споешь и молвишь ты, мечтая:
"Ронсар меня воспел в былые времена".

И, славным именем моим поражена,
Тебя благословит прислужница любая, –
Страхнув вечерний сон, усталость забывая,
Бессмертную хвалу провозгласит она.

Я буду средь долин, где нежатся поэты,
Страстей забвенье пить из волн холодной Леты,
Ты будешь у огня, в бессоннице ночной,

Тоскуя, вспоминать моей любви моления
И гордый свой отказ. Живи, лови мгновенья
И розы бытия спешి срывать весной.

(пер. В. Левика)

² "Quelle est donc cette femme?" et ne comprendra pas.

Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie – 'Срывайте уже сегодня розы жизни' – эта фраза стала поговоркой во французском языке.

Мы подходим к третьему типу реакции, главному в нашем исследовании: женщина воспринимает речевой акт мужчины и отвечает, она даже стимулирует его. И возникает вопрос *сиг?* – зачем она это делает? Первый ответ, который может прийти в голову, это то, что женщина стремится через вторую сигнальную систему мужчины воздействовать на первую. Но материал не подтверждает этой гипотезы.

Мы отмечали уже ранее, что если мужчины являются создателями эпоса, то женщина – первооткрывательница лирической поэзии.

Лирическая поэзия вышла из свадебных песен, где жених и невеста, называемые братом и сестрой или царем и царицей, обменивались любовными стихами. И чаще всего первую реплику подавала девушка: юноша лишь отвечал ей. Мы видим это уже в Древнем Египте; одно из древнейших стихотворений начинается словами:

Любовь к тебе вошла ко мне и в плоть и в кровь
И с ними, как вино с водой, смешалась,
Как с пряною приправой – померанец
Иль с молоком – душистый мед.
О, поспеши к Сестре своей,
Как на ристалище – летящий конь,
Как бык, стремглав бегущий к яслям.

(пер. В. Потаповой)

Кулинарные метафоры адресанта, сравнение адресата с быком и конем не оставляют сомнения в том, что адресат – юноша. И только в следующем куплете жених берет слово.

Приблизимся к нашей эпохе на несколько столетий. "Песнь песней" царя Соломона начинается фразой:

Пусть уста его меня поцелуют!
Ибо лучше вина твои ласки!
Из-за добрых твоих умищений
Прозрачный елей – твоё имя, –
Потому тебя девушки любят.
Влеку меня! С тобой побежим мы!
Ввел царь меня в свои покои!

(пер. И. Дьяконова)

Несмотря на местоименный перебой, свойственный древним текстам, нет сомнения, что автор этого высказывания – девушка. Юноша включается в речевую деятельность только в третьей части. Впрочем, мы и так знаем, что первый сорвал яблоко.

В "Песни песней" женщина использует косвенные средства обращения к мужчине: третье лицо вместо второго, обозначение действия субъекта через заинтересованную часть тела. Но, приблизившись на 2000 лет, мы увидим самые прямые способы номинации, как, например, в восемнадцатом сонете Луизы Лабе, знаменитой французской поэтессы, которой поэты считали за честь посвящать свои стихотворения:

Baise m'encor, rebaise moi et baise...

Пусть те, кто знает французский язык, не приходят в ужас от этих слов. В XVI в. это значило лишь:

Еще целуй меня, целуй и не жалея,
Прошу тебя, целуй и страстно и влюбленно.
Прошу тебя, целуй еще сильнее, до стога,
В ответ целую я нежней и горячей.
А, ты устал? В моих объятиях сумей
Вновь целоваться так, как я – воспламененно.
Целуясь без конца, без отдыха, бессонно,
Мы наслаждаемся, не замечая дней...

(пер. Ю. Денисова)

"Когда говорят пушки, музы безмолвствуют" – гласит пословица. Когда задействована первая сигнальная система, вторая может отдохнуть. Сказала же ведь известная поэтесса Римма Казакова:

Бесконечными веками,
Есть на то причина,
Разговаривал руками
Любящий мужчина.

Так что дело вовсе не в этом. Для того чтобы отыскать истину и определить, для чего, в конце концов, женщина стимулирует речевую деятельность мужчины в ее высших формах, нам придется снова обратиться к Ронсару, чья жизнь и творчество были настоящей энциклопедией чувств, но не к его собственным стихам, а к стихам о нем.

Когда Ронсар был глубоким, почти уже шестидесятилетним стариком и стоял у гробового входа, как сказал бы один поэт, или перед пастью гроба, как сказал бы другой, он влюбился в молодую красавицу Элен де Сюржер. Этому факту посвящен сонет французского поэта Пьера де Нойяка, в нем мы и находим разгадку интересующей нас проблемы:

Почувствовав, что он стал немощен и стар,
Что славы пустота его обременила,
Устав от суетных страстей, свою могилу
Нетронутым цветком решил убрать Ронсар.
Елене де Сюржер он предназначил в дар
И музу, и души помолодевшей силы.
В стихах, прославивших красавицу, хранила
Последняя любовь всей прежней страсти жар.
Из Тюильри они нередко убегали,
Гуляя по лугам и о любви болтали,
Спасаящей порой от смерти имена.
Поэт грустил: "Я стар и смерти ожидаю,
Она ж юна и так прекрасна", а она
Лишь улыбалась, о своем бессмертии зная³.

(пер. А. Сергеева)

Таким образом мы подходим к истине: женщина вдохновляет мужчину

³ Mais elle, souriant se sachant immortelle.

на блистательные речевые акты даже не ради любви, но для того, чтобы обрести бессмертие.

Но на этом наше исследование не может быть завершено, поскольку возникают три вопроса. Первый: знает ли мужчина, для чего женщина подвигает его на речевую деятельность в ее высших формах. Надо сказать, что мужчина, даже влюбленный, не так глуп, как выглядит. Он все понимает: зачем женщина заставляет его полюбить ее и вдохновляет его на речевые акты. Об этом свидетельствуют стихи самого Ронсара.

Елена Сюржер, о которой шла речь выше, по отношению к поэту была порядочной "динамисткой". Но поэт отлично видел, что она "крутит ему динаму", и понимал, зачем она это делает. В одном из своих сонетов он сетовал:

Когда в ее груди пустыня снеговая
И, как броней, льдом холодный дух одет,
Когда я дорог ей лишь тем, что я поэт,
К чему безумствую, в мученьях изнывая?
(пер. В. Левика)

В подлиннике сказано еще более определенно: 'Когда она любит меня только ради того, чтобы получать мои песни...' Вместе с тем Ронсар отлично понимал, что его песни могут дать Елене. Однажды он преподнес ей *semprevivens* – вечнозеленое растение, сопроводив его такими словами:

Чтобы из рода в род и до конца вселенной
Запомнил мир, что вы повелевали мной,
Что кровь и жизнь моя служили вам одной,
Я ныне приношу вам этот лавр нетленный.
Пребудет сотни лет листва его ярка, –
Все добродетели воспев в одной Елене,
Поэта верного всесильная рука
Вас сохранит живой для тысяч поколений.
Вам, как Лауре, жить и восхищать века,
Покуда чтут сердца живущий в слове гений.
(пер. В. Левика)

По-французски сказано проще и как-то определеннее: 'По крайней мере, пока будут жить перо и книга'.

Итак, мужчина ясно понимает, что от него хотят. И здесь возникает уже второй вопрос: как он на это реагирует? Анализ материала показывает, что и тут возможны различные типы реакций. Мы остановимся на трех: в одном случае основные неприятности достаются мужчине, в другом – женщине, в третьем оба приходят к полюбовному соглашению.

Первое происходит, когда женщина оказывает на речевую деятельность мужчины одновременно и стимулирующее, и сковывающее воздействие. Мужчина знает, что от него требуется речевой акт, но он лишь ценой мучительных усилий доводит его до конца. Яркий пример такой ситуации дает знаменитый сонет Феликса Карпио. Пример этот тем более разителен, что Феликс Карпио обладал уникальной речевой потенцией, это был Казанова литературы. Если от Шекспира осталось всего 37 пьес, причем принадлежность многих из них его перу подвергается сомнению, то Феликс Карпио написал 2200 пьес в стихах, а кроме того, пухлый

пасторальный роман, недавно вышедший у нас в "Памятниках", целый ворох новелл, поэм и стихотворений. О нем говорили, что за одну ночь он был способен создать пьесу в пяти актах и все стихами. Всего он оставил человечеству 21 000 000 стихов. И вот этот Феликс Карлио, которого чаще и не вполне точно называют Лопе де Вега, пришел в неопишное затруднение, когда какая-то Виоланта потребовала у него сонета.

Un soneto me manda hacer Violante,
y en mi vida me he visto en tal aprieto

‘Сонета у меня требует Виоланта, никогда в жизни я не был в таком затруднении’. Прочитаем перевод Жуковского:

За нежный поцелуй ты требуешь сонета,
Но штука ль быть творцом четырнадцати строк
На две лишь четки рифм? Скажи сама Лилета:
"А разве поцелуй безделка?" Дай мне срок!

Четыре есть стиха, осталось три куплета.
О Феб! о добрый Феб! не будь ко мне жесток,
Хотя немножечко парнасского мне света!
Еще строфа! Смелей! Уж берег недалек!

Но вот уж и устал! О мука, о досада!
Здесь, Лила, – поцелуй! тут рифма и – надсада!
Как быть? Но бог помог! еще готов терпеть!

Еще б один – и все! пишу! хоть до упада!
Вот!.. Вот! почти совсем!.. О радость, о награда!
Мой, Лила, поцелуй, и вот тебе сонет!

Второй вариант ситуации – когда, в конце концов, страдает женщина – может быть показан на примере Пьера Корнеля. В старости Корнель увлекся одной молодой особой. (Это нередко случается с гениями: мы видели, что такое приключилось с Ронсаром, это же постигло Гете и Свифта и вот теперь Корнеля.) Но молодая маркиза предпочла старому поэту какого-то молодого д'Артаньяна, и он разразился своими знаменитыми "Стансами к маркизе":

Маркиза, я смешон пред Вами –
Старик в морщинах, в седине;
Но согласитесь, что с годами
Вы станете подобны мне.

Страшны времен метаморфозы,
Увянет все, что расцвело, –
Поблекнут также Ваши розы,
Как сморщилось мое чело.

Наш день уходит без возврата
Путем всеобщим бытия,
Таким, как Вы, я был когда-то,
Вы станете такой, как я.

Но уберет от разрушенья
Я некий дар – он не пройдет,
Мне с ним не страшно лет теченье,
Его и время не берет!

Да, Ваши чары несравненны, –
Но те, что мало ценит свет,
Одни пребудут неизменны,
Переживут и Ваш расцвет.

Они спасут, быть может, славу
Меня очаровавших глаз
И через сотни лет по праву
Заставят говорить о Вас;

Среди грядущих поколений,
Где я признание обрету,
Лишь из моих стихотворений
Узнают Вашу красоту.

И пусть морщины некрасивы,
Маркиза милая моя,
Но старцу угождать должны Вы,
Когда он сотворен, как я.

(пер. М. Квятковской)

И мы видим, что старик отомстил маркизе страшной мстостью: он не упомянул ее имени в стихах. Если бы он сказал хотя бы: "Стансы к маркизе такой-то", то ее имя сохранилось бы на века. Ведь сказала же выдающаяся женщина нашего времени О.С. Ахманова: "Пусть хвалят, пусть ругают, лишь бы не замалчивали". Но поэт навечно замолчал маркизу, и она пропала, будто вовсе не бывала.

Но это все XVII в., золотой век испанской и французской литературы. Современный мужчина не мучается сам и не мстит женщине; в условиях рыночных отношений он просто предлагает даме бартерную сделку. Вот стихотворение аргентинского поэта Бальдомеро Фернандеса Морено. Оно называется "Одной сеньоре бальзаковских лет". Что касается термина "бальзаковский возраст", то определяемые им рамки постоянно расширяются. В эпоху Бальзака это была женщина тридцати лет. Но уже Сельвинский писал:

Бальзак воспел тридцатилетнюю,
А я бы женщину – за сорок:
Она горит красою летнею,
Но взгляд ее осенне зорек...

И для каждого мужчины этот возраст определяется его собственным. Мне кажется, например, что женщина бальзаковского возраста – это примерно между шестидесятью и шестидесятью пятью годами. Итак:

Одной сеньоре бальзаковских лет

Вы храбро вступили, сеньора, в единоборство с годами.
В вашей упряжке ходят солнце, воздух, вода.
Утром вместо молитвы крутите вы ногами,
Овощи, фрукты и овощи – вот и вся ваша еда.

Пускай вам шьет туалеты Рафаэль портняжного дела,
Пускай закованы в каучук вы с головы до ног.
Снова не станет мраморным уже размякшее тело,
Время не пересмотрит сполна отсчитанный срок.

На шею кораллы и жемчуг навесили вы напрасно.
Поверьте, они не скроют жалобных ваших морщин.
Только одно искусство времени не подвластно,
Только оно вашу прелесть векам передаст без седин.

Простые дешевые краски, пятна тени и света,
Умелой рукой художника брошенные на холст.
Всего лишь четыре слова, но найденные поэтом...
Секрет сохранения юности, как видите, очень прост.

Целуйте меня, сеньора! Не медля, целуйте смело!
Я этих слов хозяин, и только за вами дело.

(пер. В. Столбова)

И теперь нам остается только ответить на самый последний вопрос: *Cui prodest?* – Кому это выгодно? От того, что женщина стимулирует речевую деятельность мужчины, выигрывают трое.

Выигрывает женщина, так как она обретает подлинное бессмертие.

Выигрывает мужчина, так как благодаря вдохновению, полученному

им от женщины, он также становится бессмертным. Пушкин говорил о женщине:

Довольно в гордости моей
Я мыслить буду с умилением:
Я славой был обязан ей –
А может быть, и вдохновеньем.

И наконец, выигрывает человечество, которое получает образцы высоких чувств и высоких слов.

В.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	3
--------------------	---

ИСТИНА И ИСТИНЫ

Н.Д. АРУТЮНОВА. Истина и этика.....	7
В.Г. ГАК. Истина и люди.....	24
И.Б. ЛЕВОНТИНА. "Звездное небо над головой".....	32
А.Б. ПЕНЬКОВСКИЙ. Тимиологические оценки и их выражение в целях уклоняющегося от истины умаления значимости.....	36
Ю.С. СТЕПАНОВ. "Бог есть любовь", "Любовь есть бог". Отношения тождества – константа мировой культуры.....	41
Т.В. ТОПОРОВА. Древнегерманские представления о праве и правде.....	52
А.Д. ШМЕЛЕВ. <i>Правда vs. истина</i> в диахроническом аспекте (Краткая заметка)	55

ИСТИНА И ИСТИННОЕ

Т.Б. АЛИСОВА. Концепт истины у Данте.....	58
Г.В. ГРИНЕНКО. Магия и логика истинных имен	64
М.А. ДМИТРОВСКАЯ. Эволюция понятий "истина" и "смысл" в творчестве А. Платонова	69
Х. КУССЕ (Германия). Истина и проповедование. "Живое слово" архиепископа Амвросия (Ключарева, 1820–1901) и соотношение между гомилетикой и риторикой.....	78
С.Е. НИКИТИНА. Представление об истине в русских конфессиональных культурах.....	85
Е.В. ПАДУЧЕВА. Разрушение иллюзии реальности как поэтический прием.....	93

А.И. ПОЛТОРАЦКИЙ. Слово <i>truth</i> в произведениях Шекспира (Риторический дискурс).....	102
С.М. ТОЛСТАЯ. Магия обмана и чуда в народной культуре	109
А.Д. ШМЕЛЕВ. Суждения о вымышленном мире: референция, истинность, прагматика	115
ЧАН ВАН КО. Единство "я" и "явь" как истина (Постановка проблемы).....	122

ИСТИНА И ИСТИННОСТЬ

Т.В. БУЛЫГИНА, А.Д. ШМЕЛЕВ. "Правда факта" и "правда больших обобщений"	126
ДЕНИ ПАЙАР (Франция). О двух аспектах истинности в высказываниях с дискурсивными словами.....	133
Н.К. РЯБЦЕВА. Истинность в субъективно-модальном контексте.....	139
Е.Д. СМЕРНОВА. Истинность и природа логического знания	151
И.Б. ШАТУНОВСКИЙ. Коммуникативные типы высказываний, описывающих действительность.....	158
Е.С. ЯКОВЛЕВА. О семантике экспрессивных модификаторов утверждения.....	165
Т.Е. ЯНКО. Коммуникативный статус выражений со словом <i>правда</i>	173
Избранная библиография зарубежных работ по проблеме "Истина". Сост. В.З. ДЕМЬЯНКОВ	178

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Н.Д. АРУТЮНОВА. Неопределенность признака в русском дискурсе	182
---	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ: ЛИНГВИСТЫ ТОЖЕ ШУТЯТ

В поисках истины	189
-------------------------------	-----

CONTENTS

Editorial.....	3
----------------	---

TRUTH AND TRUTHS

ARUTIUNOVA, Nina. Verity and ethics	7
GAK, Vladimir. Truth and ho ans.....	24
LA'VONTINA, Irina. "A starry sky above"	32
PENKOVSKY, Alexandr. Timiological evaluations and their expression in intentional deviation from the truth.....	36
STEPANOV, Yury. "God is love", "Love is God". Relations of identity as a constant of world culture	41
TOPOROVA, Tatyana. Ancient German concepts of law and truth	52
SHMELEV, Alexey. <i>Pravda</i> vs. <i>istina</i> in historical aspect	55

THE TRUTH AND THE TRUE

ALISOVA, Tatyana. Dante's concept of verity	58
GRINENKO, Galina. The magic and logic of true names.....	64
DMITROVSKAYA, Maria. The concepts of "truth" and "sense" and their evolution in A. Platonov's works	69
KUSSE, Holger (Germany). Truth and preaching. "The living word" of archbishop Amvrosy (Klucharev, 1820–1901) and the relation between homiletics and rhetoric	78
NIKITINA, Serafima. The concept of truth in Russian confessional cultures.....	85
PADUCHEVA, Elena. The destruction of the illusion of reality as a poetic device.....	93
POLTORATSKY, Alexandr. The word <i>truth</i> in Shakespeare's plays (Rhetorical discourse).....	102

TOLSTAYA, Svetlana. The magic of deception and miracle in Slavic folk tradition.....	109
SHMELEV, Alexey. Fictional discourse: reference, truth, pragmatics.....	115
CHAN VAN KO. The unity of yang and yin as the truth.....	122

THE TRUTH AND THE TRUTH-VALUE

BULYGINA, Tatyana, SHMELEV, Alexey. "The factual truth" and "the truth of great generalizations".....	126
PAILLARD, Denis (France). On two aspects of truth in utterances with discourse markers	133
RIABTSEVA, Nadezhda. Assertions and their modal connotations.....	139
SMIRNOVA, Elena. The truth-value and logical knowledge	151
SHATUNOVSKY, Illya. Communicative types of descriptive utterances.....	158
YAKOVLEVA, Katerina. On the semantics of expressive modifiers of an assertion	165
YANKO, Tatyana. The communicative status of expressions with the Russian word <i>pravda</i>	173
Selected bibliography. DEMYANKOV, Valery.....	178

POSTSCRIPTUM

ARUTIUNOVA, Nina. The indeterminacy of non-referential words in Russian discourse	182
--	------------

ANNEX: JUST FOR FUN

IN SEARCH OF TRUTH.....	189
--------------------------------	------------

Logical Analysis of Language. Truth and truth-value in culture and language.

The book treats a vast range of problems associated with the concepts of verity and truth-value in natural languages, different systems of knowledge (logic, philosophy) and different forms of culture (literatures, folklore, locutions). The concept of verity is considered in the context of ethical, juridical, cognitive and religious categories. Much attention is paid to the semantics of falsehood.

For linguists, philologists, logicians, philosophers, culturologists.

Научное издание

ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА

ИСТИНА И ИСТИННОСТЬ
В КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКЕ

*Утверждено к печати
Институтом языкознания РАН*

Заведующая редакцией "Наука-культура" *А И Кучинская*
Редактор издательства *В С Матюхина*
Художественный редактор *Н Н Михайлова*
Технический редактор *Т В Жмелькова*
Корректор *Н И Харламова*

Набор выполнен в издательстве
на компьютерной технике

ИБ № 159

Л.Р. № 020297 от 27 XI.1991 г.

Подписано к печати 24.02.95
Формат 60 × 90 1/16. Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печ.л. 13,0. Усл.кр.-отт. 13,3. Уч.-изд.л. 14,9
Тип. зак. **73,**

Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

Московская типография № 3 РАН
107143, Москва, Открытое шоссе, 28

МАТЕРИАЛЫ ПРОБЛЕМНОЙ ГРУППЫ

"ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА"

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИЙ 1991–1995 гг.

Конференции проходят, но темы их остаются в поле зрения исследователей. Поэтому мы сочли целесообразным опубликовать в этом выпуске тематические разработки последних пяти конференций, проведенных проблемной группой "Логический анализ языка" в 1991–1995 гг. Организаторы конференций видели свою задачу не в решении тех или других научных вопросов, а в том, чтобы обратить на них внимание исследователей.

Предлагавшаяся будущим участникам конференции проблематика получала в докладах далеко не полное освещение. Поэтому, делая эту публикацию, мы надеемся стимулировать дальнейшие исследования ряда важных и интересных логико-лингвистических проблем.

МОДЕЛИ ДЕЙСТВИЯ

1. "Действие" в ряду других типов предикатов: процесс, деятельность, состояние, свойство и др.

2. Виды действий: физические, социальные, ментальные, речевые (в том числе перформативы); межличностные, обменные, творческие (созидательные, продуктивные); профессиональные, деструктивные, превентивные, благоприятствующие, исполнительские (артистические, спортивные).

3. Контролируемость действий: сознательные и автоматические действия, спонтанные реакции, воздержание от действия (при каких условиях оно может быть квалифицировано как действие?).

4. Целенаправленность и целесообразность действия: мотивы, замыслы, намерения, стимулы, результат, побочный эффект, следствие и пр.

5. Участники действия: агентивные и безагентивные, объектные и безобъектные, адресованные и неадресованные действия; проблема актантов и их представление в грамматических и логических моделях. Действия и личная сфера. Конверсия действия.

6. Исполнение действия: способ, "умение", программа, оружие и пр.

7. Протекание действия: начало, фазы, точка осуществления, окончание. Условия успешности действия.

8. Действие в разных жизненных контекстах. Действие в контексте борьбы. Сила действия и сила сопротивления. Действия "в интересах", действия "во вред", действия "ради". Действие в контексте игры. Действие как игровой ход. Выбор хода. "Фактивные" действия (блеф). Действие с точки зрения общей стратегии и тактики борьбы, игры, поведения, деятельности. Действие как часть целого.

9. Последовательность (цепочка) действий и принципы ее представления (описания). Отношения между действиями (каузальные, темпоральные). Принципы организации действий (сценарии, инструкции, программы). Их зависимость от цели. Автономность действия в рамках последовательности действий. Действие и счетность. Границы действий и границы значений. "Картинки" действий. Место действий среди других типов предикатов в связном тексте. Синкопирование "промежуточных действий". Конъюнкции и дизъюнкции предикатов действия.

10. Отрицание при предикатах действия. Внешнее и внутреннее отрицание.

11. Способы интенсификации и характеристики предикатов действия. Соотношение атрибутов действия, агенса и объекта.

12. Действие в его отношении к оси времени. Пространственная локализация действий. Узуальные и актуальные действия. Мгновенные действия и проблема точечности.

13. Действие и поступок. Поступок и поведение. Иллокуция адресованного поступка (действия). Интерпретация личных и социальных действий.

14. Аспекты действия. Существенные свойства действия: принципы номинации действий (по цели, способу осуществления, объекту и пр.). Выбор номинации в разных прагматических ситуациях.Descriptions и интерпретации действий.

15. Юридическая номенклатура и квалификация действий. Проблема нормативности

(нормы действий). Деонтические модальности (*разрешено, запрещено, обязательно*) и их отношение к алетическим модальностям (*возможно, невозможно, необходимо*). Единичные действия (логические индивиды) и деонтическая предикация. Квалификация действия как причины события. Импликации деонтических модальностей. Обязывающие условия и обязательность действия (проблема комиссива). Деонтические операторы и сфера их действия. Действия, имеющие и не имеющие деонтического статуса. Ответственность за действие.

16. Принципы оценки разных видов действия. Оценочные номинации и их экстенсинал.

17. Действие в семантической системе имен. Проблема номинализаций. Действие – событие – факт. Семантическая структура имен действий и их дефиниции.

18. Семантический аспект действий. Ритуальные действия. Обряд и его символика. Церемониал и этикет.

В лингвистике проблема действия изучалась преимущественно в связи с описанием семантической структуры и грамматических категорий глагола. Задача конференции состоит в выяснении отношения между жизненным субстратом действий и его интерпретацией в разных языках, в разных речевых ситуациях, в разных типах текстов и в разных логических системах.

Конференция по данной проблеме состоялась в мае 1991 г. Материалы конференции опубликованы в книге "Логический анализ языка: Модели действия". М.: "Наука", 1992.

МЕНТАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. **Структура ментального поля:** рациональная сфера психики: ее место в микрокосмосе. Локализация мышления (проблема метонимии: *в уме, в голове, на душе* и пр.). Взаимодействие мышления с другими областями и элементами психики: эмоциями, волей, утилитарной оценкой, этическими критериями, желаниями и пр. "Рацио"-имена: *ум, рассудок, интеллект* и пр.

2. **Логика ментальных действий.** Логические правила, операции и операторы. Естественноязыковая семантика и истинность.

3. **Семантика предикатов ментального действия и ментальных способностей.** Предикаты смешанной семантики (*надеяться, опасаться* и т.п.). Вторичные ментальные значения (*схватывать, видеть* и др.). Активный и пассивный аспекты значения ментальных предикатов (*думать, думаться*). Конкретная основа ментальных значений (этимология).

4. **От ментального действия к практическому:** анализ ситуации и программа действий. Постверификация прогноза. Ментальные характеристики человека и его действий. Норма и аномалия в ментальной сфере: *ум / глупость / разум / безумие* и пр.

5. **Синтаксис ментальных предикатов:** валентности, структура пропозиции. Цели и мотивы ментальных действий. Результат ментального действия, его отчуждение.

6. **Имена ментальных актов и их результаты:** *мысль, догадка, суждение, предположение* и пр.). Отношения "человек – мысль", "мысль – пропозиция": экспликативные отношения, анафора и пр. Предикаты ментальных имен: проблема ключевых метафор.

7. **Последовательность ментальных действий.** Виды рассуждений: теоретическое, практическое, аксиологическое, этическое. Их "перевод" в текст. Степень заданности его развития.

8. **Ментальный акт и диалог:** коммуникативный аспект ментальной деятельности. Ответное действие. Отношение между ментальными стимулами и ментальными реакциями. Утверждение и отрицание. Предикаты ментального воздействия: *убедить, озадачить*

9. **Рациональность и вера. Концепт интуиция.**

10. **Интеллектуальные игры.** Задачки и загадки, каламбуры и парадоксы. Артистический аспект ментальных действий. Артистизм мысли и речи: афоризмы и сентенции.

Конференция по данной проблеме состоялась в мае 1992 г. Материалы конференции опубликованы в книге "Логический анализ языка: Ментальные действия". М.: "Наука", 1993.

ЯЗЫК РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Структура семантического поля имен и предикатов речевых действий (РД). Общие и специфические принципы моделирования речевых, неречевых и ментальных действий. Нерасчлененные значения, ср.: оскорбить словами – оскорбить действием. Речевые и игровые действия: тактики и сценарии речевых игр (например, в ситуации дознания). Принципы номинации РД (по цели, форме, месту в диалоге, контролируемости).

прагматическим свойствам). Контекстуальные синонимы предикатов РД ("заметить", "вставить" и т.п.). Перифрастические номинации РД ("отдать приказ", "сделать замечание" и пр.).

Движущие силы (стимулы) РД в сопоставлении с неречевыми действиями и ментальными актами. Мотив и цель (иллокутивная сила) РД. Прямые и косвенные, ближние и дальние цели РД. Виды адресации РД. Речевые реакции. Степень их предсказуемости. Регламентация и клиширование РД. Законные и санкционируемые РД. РД в контексте личного поведения. РД – поступок. Социализация РД (протест, требование и т.п.). Обезличенные РД: лозунг, декрет и пр.

Проблема "слов и дел". Виды обязывающих (коммиссивных) РД. РД и интенциональные состояния. Магические речевые действия: заклинания, профетика, "говорение языками". Интерпретация РД.

РД в контексте разных жанров общения (фатической коммуникации, обмена мнениями, "выяснения отношений" и пр.).

2. Структура семантического поля имен и предикатов речевой деятельности, ее специфика в сравнении с другими формами социальной активности. Официальные и неофициальные, монологические и диалогические, адресованные и неадресованные формы активности. Номинация разных видов речевой деятельности. Основные семы, входящие в значения имен речевой деятельности, ср.: *дискуссия, полемика, обсуждение, переговоры, разговор* и др.

Конференция по данной проблеме состоялась в мае 1993 г. Материалы конференции опубликованы в книге "Логический анализ языка: Язык речевых действий". М.: "Наука", 1994.

ИСТИНА И ИСТИННОСТЬ

1. ИСТИННОСТЬ В ЛОГИКЕ И ЭПИСТЕМОЛОГИИ.

1. Определения логической истины. Теории соответствия и когерентности. Истинность как свойство и истинность как отношение. Какой объект характеризуется свойством истинности – суждение, высказывание, пропозиция, предикат, мысль, утверждение? Каковы термины отношений истинности: субъект и предикат, пропозиция и положение дел, суждение и модель мира, предмет и понятие, утверждение и факт?

Формулировка условий истинности. Концепция А. Тарского. Двухзначные и многозначные логические системы. Виды логических истин. Парадокс Лжеца и методы его разрешения. Пресуппозиция существования и истинностные провалы. "Пресыщенные" оценки.

Закон взаимозаменяемости корелативных имен с сохранением истинности (закон Лейбница) в свете современных теорий квантификации. Логическая эквивалентность высказываний. Взаимозаменяемость высказываний. Материальная импликация.

Неклассические теории истинности. Прагматическая концепция Ч.С. Пирса. Переход от алетической модальности к деонтической. Принципы анализа языка морали. Язык и истина: проблема зависимости истины от способа ее представления и языка, на котором она выражена.

2. Истинность и знание. Пределы знания и пределы доказуемости истины. Знание о внутреннем мире. Анализ концепции К. Поппера. Истина и здравый смысл. Конвенциональные истины.

II. ИСТИНА В МЕТАФИЗИКЕ, РЕЛИГИИ И ИДЕОЛОГИИ.

1. Истина в контексте разных философских систем Запада и Востока от античности до наших дней. Истина и эстетика. Образное мышление и истинность. Истинность и чувственные данные.

2. Истина и вера. Развитие религиозных концепций истины. Истина и этика. Отношения между ИСТИНОЙ, ДОБРОМ и КРАСОТОЙ. Статус моральных истин. Познание истины: проблема иррационального знания. Иносказание (притча, миф, пророчества) и истина. Путь к истине. Истина и страдание.

Этимология "слов истины" и контексты их употребления в священных текстах. Истина в Ветхом и Новом Завете.

3. Истина в контексте исторических, социологических и идеологических концепций.

III. ИСТИННОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ.

1. Концепты истины и лжи. Структура концептов; их варьирование; проблема дефиниций; поле слов истины и лжи. Этимология и история развития значений. Семантические и прагматические коннотации слов истины и лжи. Истинностная оценка и речевые действия. Семантическая двойственность предикатов речевых действий. Взаимодействие истинностных и этических оценок. Истинность и категория определенности/неопределенности.

2. Истинностная оценка (ИО). Выражение ИО – положительной (*верно, правда, достоверно* и пр.) и отрицательной (*ложь, неправда, неверно* и т.п.). Семантическое варьирование ИО; отрицание и противопоставление в контексте ИО, сфера действия ИО. Истинность и искренность; понятие искренности; экстенционал понятия и его прагматические коннотации.

3. Алетическая модальность и способы ее выражения. Первичная (инициальная) и вторичная ИО. Квазиистинностные оценки, экстенционал ИО, его расширение за счет житейских максим, неверифицируемых и аксиологических суждений и пр. Выбор ИО в зависимости от содержания суждения.

4. ИО и коммуникация. Максима качества, отступления от нее; ИО косвенных речевых актов, ИО и коммуникативные цели. Прагматические цели и перлокутивный эффект ИО. ИО и пропозициональные установки: мнение, уверенность, знание, вера, сомнение и др. Место компонента ИО в значении предикатов речевых действий (*лагать, клеветать, выдумывать* и т.п.). Мотивировка ИО; принятие и снятие ответственности за истинность сообщения.

5. Виды отклонений от истины: преувеличение, преуменьшение, смягчение. Эмоциональность, неполнота информации, смещение истины и лжи и т.п. Структура и прагматика акта умолчания; причины и цели отклонений от истины. Истинностная и этическая оценки речеповеденческих актов.

6. ИО в контексте разных жанров общения: информативном диалоге, обмене мнениями, дискуссии, "выяснении отношений", фатической коммуникации, на экзамене и пр.

7. Истинностная оценка текста, ее методы и пределы, ИО теоретического и практического рассуждения, судебных заключений, свидетельских показаний, высказываний о будущем, пророчеств, исповедей, признаний, инсказаний, мемуаров, (авто)биографий, "литературных портретов", "версий" и пр. Истинность и смысл: ИО и семантическая неконгруэнтность текста, абсурд, фигуральная речь и др.

8. Истина и человеческая деятельность: научная и информационная, социальная борьба и детективный сыск, разведывательная и следственная, исторические разыскания и проблема реконструкций. Лексика "игр с истиной" (высокий и низкий стили). Язык истины и правды. Истина и риторика.

PS. Подробнее о проблематике истинности в естественном языке см. в кн.: "Логический анализ языка". Вып. 4: Культурные концепты. М.: "Наука", 1991; "Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М.: "Наука", 1993.

Конференция по данной проблеме состоялась в мае 1994 г. Материалы конференции публикуются в настоящем выпуске ежегодника "Логический анализ языка".

ЯЗЫК И ВРЕМЯ

Общие предпосылки

Фактор времени имеет для языка – его прагматики, структуры и семантики – кардинальное значение. Отношение языка и времени двойственно.

Язык реализуется в звуковой речи, протекающей во времени. Этим обусловлены линейность и необратимость речевых произведений, влияющие на порождение и восприятие речи. Линейность речи определяет формирование в языке фонологических и грамматических дистриктивных средств. Так, развертывание речи во времени исключает возможность замещения одной позиции двумя единицами одновременно. Благодаря этому в языке развиваются парадигматически организованные дифференциальные признаки. Фактор линейности речи формирует также синтагматические отношения, придающие дистриктивность порядку следования единиц языка.

Временная последовательность непосредственно участвует в создании фонологических систем: ею определяется позиционное варьирование фонем, ритм, интонация, паузы и пр.

Фактор времени, таким образом, активно воздействует на природу языка, занимая относительно языка внешнее (метауровневое) положение.

Вместе с тем язык описывает действительность, которая, подобно речи, обладает параметром времени. Он поэтому располагает богатым и разнообразным арсеналом внутренних средств – для обозначения разных аспектов категории времени. Время проявляет себя через предметное и событийное "наполнение" мира. Поэтому темпоральные признаки входят в семантику многих имен предметов и событий, а также их атрибутов.

Итак, язык связан со временем внешними и внутренними отношениями. Они действуют совместно в процессе реализации языка в речи. Так, время осуществления речевого акта (внешний фактор) служит точкой отсчета при временной локализации описываемых событий (внутренний фактор). Но они могут приходиться между собой в противоречие. Такая ситуация характерна для автореферентных высказываний (перформативов), реализующих то действие, которое они обозначают. Осуществляющая действие речь необходимо продолжена. Это процесс; но само действие моделируется как лишенное длительности: оно занимает точку на временной оси происходящего. Метаязыковое (внешнее) время не совпадает с внутриязыковым (ср. в этой связи сформулированный Ю.Д. Апресяном "парадокс точно-длительного вида" для перформативных глаголов).

Комплекс вопросов, связанных с отношением между языком и временем, велик и разнообразен. Проблематика конференции ориентирована преимущественно на способы языковой интерпретации категории времени, прежде всего на те из них, которые имеют философскую значимость и отражают специфику национального менталитета.

Комплексы проблем

1. Время и его "наполнители": процессы, состояния, изменения, действия, события и т.п. Их темпоральные характеристики.

2. Специфика отражения в языке свойств времени: линейности, цикличности, необратимости, непрерывности и пр. Продолженность и точность времени. Отвлечение событий от временной оси.

3. Время и мир человека. Темпоральные характеристики внешней и внутренней жизни человека. Ее периодизация в разных культурах. "Слова времени": *время, срок, период, эпоха, эра, мгновение* и др. Семантика "слов времени" в этимологическом и историческом аспектах. Ценностные характеристики времени. Атрибуты и предикаты "слов времени". Отношение "человек – время". Фразеология, метафорика и поговорки, связанные с понятием времени.

Взаимодействие временных и пространственных смыслов при обозначении времени. Лексика, производная от понятия и слов времени (*древний, давний, прощальный, своевременный* и др.). Выражение определенности, неопределенности и приблизительности времени.

4. Время и объективный мир (Природа). Принципы членения планетарного времени в разных культурах: времена года и времена суток. Коннотация слов объективного времени при их вхождении в мир человека.

5. Проблема точки отсчета времени при формировании высказывания. Время речевого акта и время денотативной ситуации.

6. Время и обобщение. Выход за рамки временного пространства. Время и вечность в религиозных, философских и логических системах.

7. Временные логики. Используемые в них операторы. Логические модели грамматических времен. Аристотелевская проблема логического статуса утверждений о будущих случайных событиях. "Главный аргумент" Диодора Кроноса и создание А. Прайером временной логики. Семантика возможных миров для временных логик. Нужны ли окрестностные семантики для временных логик? Отношение между временной, модальной и деонтической логиками.

8. Темпоральная структура разных видов дискурса. Художественное время. Коннотации "слов времени" в поэтическом тексте.

Конференция по данной проблеме намечена на май 1995 г. Материалы конференции предполагается опубликовать в очередном, девятом, выпуске ежегодника "Логический анализ языка".

Руководитель проблемной группы
член-корреспондент РАН Н.Д. Арутюнова